

А. ЛАВИНЦЕВ

ТРОН И ЛЮБОВЬ



Александр Иванович Лавинцев

# Трон и любовь ; На закате любви

Эта книга — о страстях царя Петра, его верных и неверных женах, любовницах, интригах, изменах...

Автор довольно свободно и субъективно трактует русскую историю тех далеких лет. Однако это не историческое исследование, а роман о любви и ненависти, о верности и ревности, где история — только фон, на котором разворачиваются интереснейшие, захватывающие события, полные драматизма. Это — история Великой Любви Великого Человека.

# Содержание

#1 . . . . .	0009
ТРОН И ЛЮБОВЬ . . . . .	0010
#1 . . . . .	0010
I В царском кружале . . . . .	0010
II Семейное дело . . . . .	0014
III Стрельцы-молодцы . . . . .	0020
IV Уголок Европы . . . . .	0025
V На совещании . . . . .	0028
VI Кукуевские замыслы . . . . .	0034
VII В пасторском доме . . . . .	0042
VIII Гость Кукуевской слободы . . . . .	0047
IX Боязливая голубка . . . . .	0051
X Оборотень . . . . .	0055
XI Анхен . . . . .	0061
XII Ночной переполох . . . . .	0067
XIII Робкое признание . . . . .	0076
XIV Из-за «оборотня» . . . . .	0082
XV Царевна-богатырша . . . . .	0087
XVI На все готовый . . . . .	0093
XVII Надорванная мощь . . . . .	0099
XVIII Неразгоревшийся пожар . . . . .	0107
XIX Ночные гости . . . . .	0116
XX Смущенный царь . . . . .	0119
XXI Бегство . . . . .	0125
XXII Потухший пожар . . . . .	0132

XXIII Розыск с пристрастием . . . . .	0138
XXIV Допрос . . . . .	0144
XXV Дыба . . . . .	0148
XXVI От ужаса к счастью . . . . .	0154
XXVII Среди сомнений . . . . .	0161
XXVIII На Красной площади . . . . .	0166
XXIX Казнь души . . . . .	0172
XXX Неукротимая . . . . .	0178
XXXI После кровавой вспышки . . . . .	0183
XXXII В старом по-новому . . . . .	0187
XXXIII Начало . . . . .	0193
XXXIV Кукуевские немчики . . . . .	0196
XXXV Прелестница Кукуя . . . . .	0199
XXXVI Брошенный вызов . . . . .	0203
XXXVII Москва в Кукуе . . . . .	0209
XXXVIII Венценосный гость . . . . .	0215
XXXIX Москвичи и европейцы . . . . .	0219
XL Бок о бок . . . . .	0225
XLI Грозная вспышка . . . . .	0235
XLII Нелюбимая жена . . . . .	0242
XLIII Сестрица-утешительница . . . . .	0246
XLIV Первые шаги . . . . .	0251
XLV Победители . . . . .	0256
XLVI Неукротимая . . . . .	0259
XLVII Пламя под пеплом . . . . .	0263
XLVIII Затухший пожар . . . . .	0266
XLIX После расправы . . . . .	0271
L Расправа и с живыми, и с мертвыми . . .	0276

LI За рубеж . . . . .	0280
LII Милославское семя . . . . .	0289
LIII Возвращение царя . . . . .	0295
LIV Последняя беседа . . . . .	0300
LV Разрыв . . . . .	0307
LVI Кровавая заря . . . . .	0314
НА ЗАКАТЕ ЛЮБВИ . . . . .	0319
#1 . . . . .	0319
I Полет событий . . . . .	0319
II Друг другу равные . . . . .	0323
III Мариенбургская невеста . . . . .	0331
IV Овдовевшая новобрачная . . . . .	0339
V Солдатская добыча . . . . .	0344
VI На развалинах . . . . .	0347
VII Старый знакомый . . . . .	0353
VIII Новый властелин . . . . .	0357
IX Высокий гость . . . . .	0362
X С глазу на глаз . . . . .	0367
XI Перекрещенка . . . . .	0374
XII На пути к счастью . . . . .	0381
XIII Тайные враги . . . . .	0388
XIV По ступеням к выси . . . . .	0395
XV Поиск на Орешек . . . . .	0400
XVI Под грохот пушек . . . . .	0405
XVII Помраченная радость . . . . .	0411
XVIII Удар в самое сердце . . . . .	0418
XIX Возвращение царя . . . . .	0423
XX Вино и женщины . . . . .	0430

XXI Новая звезда . . . . .	0440
XXII В трудах без отдыха . . . . .	0445
XXIII Тайные думы фаворита . . . . .	0448
XXIV Прусский посланник . . . . .	0455
XXV Последняя вспышка . . . . .	0463
XXVI Собирающиеся тучи . . . . .	0473
XXVII «Матка Катеринушка» . . . . .	0478
XXVIII Бриллианты царицы . . . . .	0482
XXIX Конец прелестницы Кукуя . . . . .	0487
XXX Отверженная жена . . . . .	0493
XXXI Майор Глебов . . . . .	0497
XXXII Несчастный царевич . . . . .	0502
XXXIII В своей крови . . . . .	0511
XXXIV При дворе преобразователя . . . . .	0516
XXXV Постоянно в страхе . . . . .	0521
XXXVI На первых следах . . . . .	0526
XXXVII Муки ревнивца . . . . .	0532
XXXVIII Страшное дело . . . . .	0538
XXXIX Ассамблея . . . . .	0545
XL Коварная просьба . . . . .	0550
XLI Тяжелое испытание . . . . .	0555
XLII Налетевшая буря . . . . .	0562
XLIII Во имя «справедливости» . . . . .	0572
XLIV Неудачное покушение . . . . .	0577
XLV Кровавый конец любви царя . . . . .	0583
XLVI Нежданный гость . . . . .	0590
XLVII Старые знакомцы . . . . .	0600
XLVIII Друзья детства . . . . .	0605



**А. Лавинцев  
Трон и любовь  
На закате любви**



*Исторические романы*



# ТРОН И ЛЮБОВЬ

## I

### В царском кружале

**З**а окнами — легкий день, в царском кружале душно. Гудят сонные мухи. Народа не густо: дырявы нынче карманы...

За отдельным столом в самом дальнем и темном углу, не притрагиваясь к жбану с пенной брагой, сидели два известных московских стрелца. Парни молодые: бороды у них маленькие, шелковистые, усы еще не щетинились. Подстриженные под горшок волосы на головах мягкие, хоть и неухоженные. Кафтаны на молодцах порваны, в заплатках, колпаки засалены, видно, служат они хозяевам утиральниками. Зато завески-пищали, скромно стоящие в углу со своими сошниками, начищены, украшены нарезками, на берендейках-ремнях — серебряные набивки, такие же набивки и на кровельцах. Ножны кривых сабель искусно разделаны, а на ядрах кистеней такие замысловатые узоры, что этим страш-

# ТРОН И ЛЮБОВЬ



ным оружием можно залюбоваться. Видно, лихие эти ребята немало гордились своим оружием, берегли его и теперь постоянно на него с любовью взглядывали.

На стрельцов, на их пищали тревожно-зорко посматривал целовальник из-за стойки: что-то нынче сотворят эти двое, не раз уже батагами простроченные в стрелецком приказе за разбойные дела, за всяческое поношение приставов и подъячих. А заводила вот тот, сухой да чернявый, дьявол нерусский! Васька Кочет. Зол, увертлив и ловок. А уж хите-е-ер!.. Другой-то — увалень Середа Телепень, забывший свое имя настоящее — Федька. Типичный русак, русак к тому же московский: плотный, коренастый, в грудь хоть бревном бей, в плечах кося сажень, руки длинные, оглоблю сломают. Лицо глупое, добродушное, ленивое, в голубых глазах ни искорки, зато черные глаза Кочета поблескивали горячо.

Целовальник плюнул в сердцах: чего они то и дело перешептываются между собой и пальцем не притрагиваются к жбану с любимой хмельной брагой?

— Чего это они? — наконец не вытерпев,

спросил он у подручного. — Ежели так-то гостить у нас будут, так и оклада не внесешь, идти на правезж придется...

— Вишь, ждут! — отозвался верткий подручный.

— Кого еще?

— А тут ополдень Анкудин Потапыч забегал. Боярина Каренина старший холоп и его сыновей дядька-пестун...

— Так что ж ему от этих-то, — слегка кивнул целовальник в сторону стрельцов, — понадобилось?

— Не знаю. Только больно Анкудин Потапыч наказывал, как придут Кочет да Телепень, задержать их до него, вино и угощенье им выставить да последить притом, чтобы в порядке были...

— Ишь, какие господа важные!

## II

### Семейное дело

Вкружало, слегка хлопнув дверью, шустро вошел небогато одетый худощавый старик. Мал ростом, глазки умные и живые. Старик с порога заметил стрельцов, приветливо улыбнулся им. Потом, скинув колпак, истово помолился на прикрытую икону, поклонился целовальнику (как-то особенно низко, словно заискивая пред ним) и уже после этого бочком продвинулся к поднявшимся парням. Присаживаясь, заговорил певуче:

— Здоровы будьте, удальцы-молодцы! Эй, Евстигнеич! — захолопал он в ладоши. — Дайка-сь сюда что там у тебя покрепче есть... Вот и я, старик, с молодежью хлебну малую толику, вспомню годы, когда сам таким же был.

— Да ты, Анкудин Потапыч, — перебил его Кочет, — сперва про дело скажи, а выпить-то мы успеем, за нами не гонится никто...

— У-у, какой горячий! — засмеялся старик. — Всегда ли ты так до дела-то охоч?

— Да уж там, когда охоч, когда нет, про то я

сам ведаю, — нахмурился Кочет, — а ты зубов-то не заговаривай. Выкладывай, на что мы тебе понадобились. Да не ври смотри! Все равно не поверим!

— Уж и «не ври»! — притворно обиделся старик. — Врать я и не собирался!

— Постой, — опять перебил его Кочет, — я к тому тебе такое слово сказал, чтобы ты вихляться не вздумал. Если нуждаешься в услуге нашей, так между нами все начистоту должно быть. Заранее тебе, Потапыч, говорю: на подвох какой-либо там мы не пойдем, на убийство тоже.

— Полно, полно ты, полно! — так и замалхал на него руками Потапыч. — Что ты, Господь с тобою! Разве мы с боярином решимся на такое дело?

— Ну, помалкивай! — оборвал его Кочет. — Знаем мы, на что ваша боярская братия готова...

— Молчи! — даже в ужас пришел Потапыч. — Негоже мне такие речи слушать.

— Так вот ты и не слушай, а говори про дело-то.

Потапыч помялся, хлебнул из ковша и, со-

бравшись с духом, начал:

— Вот оно что, сердешные: не об убийстве моя речь пойдет. Богом клянусь, ничего такого ни у боярина, ни у меня и в голове не было.

— Так чего же ты мямлишь-то?

— Да дело-то совсем особенное, семейное, можно сказать, дело; вот оттого и язык прилипаает к гортани... Радости никакой говорить нет, а плакать хочется... А тут еще ты цыкаешь...

— Семейное дело? Слышь, Телепень? — ткнул Кочет в бок приятеля.

— Ну, слышу, — лениво отозвался тот, потягивая из ковша брагу, — мне-то что? Я-то ведь не боярин... Вот когда их бить позовут, так со всем моим удовольствием.

Кочет махнул рукой и, повернувшись к Потапычу, сказал:

— Семейное, говоришь, дело? Ну, докладывай, в чем оно у вас будет.

— А вот в чем... Ведомо вам, поди, что боярин-то мой Родион Лукич на Москве наезжий... Еще при Тишайшем царе Алексее Михайловиче в молодости услан он был в украинные города на цареву службу и правил ту

службу не за страх, а за совесть, сил и живота своего не щадя. А потом, как помер блаженной памяти Тишайший да пошли при его сынке новые порядки, и не понадобилась Москве боярина моего верная служба. Известное дело, разобиделся он и отъехал в свою вотчину. Таить не буду, отъезжая, думал, что вспомнят его да позовут. Ан нет! Недаром говорится: «С глаз долой, из сердца вон». Так и с моим боярином вышло. Жил он, жил, видит, никто не зовет, а тут сынки у него поднялись — Михайло да Павел Родионычи. Я их пестовал и на коне ездить учил, пицаль да саблю в руках держать приучил, да вышла беда в том, что не один я около них был...

— Как ты не один? — спросил Кочет, заинтересованный рассказом старика. — Кто же еще?

— Да ты постой, не перебивай... дай время, все скажу. — И Потапыч, здорово хлебнув из ковша, продолжал свой рассказ — Матушка-то боярыня наша Анисья Сергеевна — дай ей, Господи, царство небесное в селении праведных, со святыми упокой ее душеньку! — добрая была, сам-то боярин во гневе куда как

лют... Когда скончалась она, сынки-то только что из младенеческого возраста вышли, родила она напоследях боярину дочку, Зою Родионовну — красавица теперь писаная боярышня! — а после родов и преставилась... Остались дети малые полукруглыми сиротами... Материнский глаз — алмаз, а отцовское попечение уж известно какое... Притом же боярин Родион Лукич по кончине боярыни своей в соку мужчина остался... Поселил он у себя в хоромах немчинку молодую, якобы для обучения деток всяким иноземным наукам, а немчинка-то сбежала, да не одна, а со всем своим приплодом: парочка — барашек да ярочка...

— А куда сбежала-то? — хмыкнул Кочет.

— Куда ж, как не на Москву, а отсюда где ж ей укрыться, как не в Кукуй-слободе. Ведь там все эти чужеземные поганцы ютятся да табачищем своим проклятым московские святыни окуривают.

— А у них там, в Кукуй-слободе, весело, — поднял голову Телепень, — я оттуда не ушел бы...

— Кабы тамошние парни тебе за своих девок боков не намяли, — перебил его Кочет и

обернулся к Потапычу — Так в чем же наше-то дело будет?

— А ты погоди, до всего черед дойдет, — отозвался старик. — Или слушать прискучило?

— А то, — признался стрелец, — вот жду, когда ты до самого толку доберешься.

— Сейчас все как на ладони выложу... Только попу на духу нишкните про то, что я вам сейчас скажу, — понизил старик голос до шепота. — Все тут у вас на Москве думают, что наш боярин воеводства искать наехал, так нет же, нет! Приворожила, знать, его немчинка проклятая. Уж чего-чего он не делал, а грызла его лютая тоска... Еще бы! И по ней-то, подлой, ноет сердце, и о ее приплоде душа болит, вот и не вытерпел боярин мой, собрался и прикатил. А тут опять беда: сынки-то, Мишенька да Павлушенька, как на Москве огляделись, сразу на Кукуй-слободу путь нашли. Видали уж их там. Чтобы они немчинку искали, этого я думать не могу: не знают они, куда она сбежала, да и мы-то тоже этого не знаем, а так догадки наши об этом... Только теперь что же выходит? Боярин-то Родион Лукич так

бы вот к поганцам и полетел...

— Чего же ему не полететь? — опять встал свое слово Телепень. — Боярин Василий Васильевич Голицын куда повыше его, а бывать в Кукуй-слободе не брезгует...

### III

## Стрельцы-молодцы

**П**отапыч ничего не сказал в ответ Телепню, только зло сверкнул глазами в его сторону, обиженный таким не особенно лестным отзывом стрельца о его боярине.

— Так вот, говорю я, — продолжал он, — боярин мой так бы и полетел в Кукуй-слободу, да боится там со своими ребятами встретиться. Ведь они-то ничего не знают о стыде да о грехе его... Вот и надумал боярин мой, чтобы поискали немчинку в Кукуй-слободе такие верные люди, на которых положиться можно было бы, а после ему доложили бы, как, что, где. Тогда-то он уже сам надумает, что ему дальше делать.

— Так чего же твой боярин от нас желает? — спросил Кочет. — Чтобы мы эту нем-

чинку разыскали?

— Это бы уж совсем хорошо было, — ответил Потапыч, — только нужно знать, есть ли она там или нет. Ведь говорю же, что этого мы и сами толком не знаем...

— Так, так, — покачал головой стрелец, — вот оно дело-то какое! Как ты, Телепень, о нем думаешь?

— А мне что же? Поискать, так поискать, — последовал ленивый ответ. — Уж ежели думать, так ты, Кочет, думай, а я за тобой пойду...

— Вы не думайте, — вставил свое слово Потапыч, — боярин мой за казной не постоит... жалованье великое получите... Казны-то у него много...

— Еще бы, — усмехнулся Кочет, — на воеводстве был...

— Ну-ну, чего там! — заворчал Потапыч. — Не вашего ума дело... Говори-ка лучше: берегесь вы разведать, живет ли немчинка в Кукуй-слободе?

— Отчего ж не взяться-то, ежели жалованье хорошее будет, — усмехнулся Кочет. — По два рубля на брата, да угощенье твое!

Потапыч даже взвизгнул, услышав условия Кочета. Два рубля! За службу пустяшную?!

— Ишь заломил! — взволнованно воскликнул он. — Пожалуй, дело так у нас не сойдется.

Целовальник наострил ухо, старик приутих.

— Не сойдется, и не надо, — равнодушно ответил молодой стрелец.

Но торг все-таки начался. Потапыч взопреп, торговался до слез, божился, клялся всеми святыми, каких только знал, но стрельцы непреклонно стояли на своем. Делать было нечего, в конце концов старик согласился, и ударили по рукам.

— Вот теперь и выпить можно! — заявил Кочет, до того не прикасавшийся к ковшу. — Ставь, что ли, хмельного, за скорую удачу выпьем.

Однако теперь Потапыч заторопился домой. Он приказал выставить стрельцам брагу, а сам за шапку было взялся, да не таковы молодцы, чтобы его без задатка выпускать. Как ни вертелся старый холоп, а задаток им выдал и за угощение все сполна заплатил, и

только тогда с миром был отпущен из кружала.

Оставшись одни, стрельцы потребовали себе еще браги и повели уже степенный разговор о том, как им выполнить поручение.

— Плевое это дело совсем, как я обмозговал его, — усмехнулся Кочет. — Ежели выйдет нам удача, так нынешней ночью, может, с ним покончим.

— Да ну? — удивился Телепень, тяжелая голова.

— Верно слово... Мишеньку да Павлушеньку Карениных мы с тобой знаем. Так ведь?

— Знаем, — басом отозвался Телепень, — я лишь про то не хотел при Потапыче сказывать...

— Так вот, ежели они и зачастили в Кукуй-слободу, так неспроста. Вернее верного, что они боярскую разлапушку уже давно разыскали. Парни-то взрослые, смекают, в чем дело. Да потом все-таки, хоть и приبلудные, а там у них братишка с сестренкой. У нее, у немчинки этой, они и толкуются... Вот пойдём мы с тобой ночью да будем в избы

люторские по окнам заглядывать: где эти молодцы окажутся, там и немчинка боярская. Вот тебе и все. Верно?

— Верно-то верно! — согласился Телепень. — А ежели бока взмылят?

Кочет тихонько засмеялся, поглядывая на товарища:

— Чего им сделается, бокам твоим? — и прогнал улыбку. — Сегодня ночью!

— Ла-адно...

Хоть куда пойдет Телепень за Кочетом. Одно ему не больно нравилось: зачем Кочет заспешил и надумал идти ночью. Ленъ было выходить из кружала, тепло в нем, тихо. Но раз уговор был закончен, исполнить его нужно.

## IV

### Уголок Европы

Господи, как же славно, как тихо и чинно в Кукуй-слободе! Зачем, для чего в грубой, распрями раздираемой Московии этот опрятный городок? Какой великан взял его с прирейнской долины и переставил сюда, на Яузское урочище, на зависть и злобу всей Руси?

В центре Кукуя небольшая, в готическом стиле церковь, конечно, лютеранская — католиков среди кукуевцев совсем мало. Вокруг церкви раскинулась опрятная площадь.

Здесь по воскресным дням у входа в Божий храм собирались почти все обитатели слободы. По окончании службы они, как и у себя на родине, любили постоять да побеседовать об общественных делах; было совсем не тесно, было тихо и благопристойно. Внутри церковь тоже весьма опрятна, кафедра просторна и украшена замысловатою резьбою, а пастор — симпатичный, представительный старик — говорил такие проповеди, что слушатели будто забывали, что они не на своей далекой ро-

дине, а под боком у чуждой, непонятной им, грозной столицы варваров. Просветленные, расходились кукуевцы.

От церкви по чистым прямым улочкам, не очень широким, но все-таки достаточным, чтобы разъехаться двум подводам, расходились по своим небольшим домам (в каждом помещалось только одно семейство) весьма своеобразной архитектуры: узкие по фасаду, с остроконечными цветной черепицы крышами. Только у тех домов, которые выходили на площадь, были окна в лицевом фасаде, да и то в этих окнах вделаны прочные решетки; у большинства же домов на улицы выходили глухие стены с одной массивной дверью и рядом почти незаметных отверстий-бойниц. У таких домов лицевой фасад выходил во внутренний двор, на котором обыкновенно разбивался сад, цветник.

Каждый дом — небольшая крепость, вполне пригодная для защиты при нападении. Кукуевцы были и осторожны, и предусмотрительны. Они знали, что московская чернь, и в особенности буйные стрельцы, относятся к ним недружелюбно и в случае любой гили

(народной вспышки) им придется самим себя отстаивать.

А пока они дружно жили, работали, торговали. Весело болтались на ветру жестяные рыбины, сапоги иль шляпы — все, что можно было приобрести в доме.

В архитектуре иных домов чувствовались и местные московские веяния: коньки были с причудливой резьбой, ставни у больших окон тоже.

Только дом старого пастора был выдержан в строгом германском стиле.

— О! — говорили кукуевцы и выразительно поднимали глаза к небу. — Это такой хозяин!

Хорошим хозяином считался здесь Джемс Патрик Гордон, «Петр Иваныч», как звали русские шотландского выходца, бывшего, так сказать, «первым человеком» в слободе. О, он такой образованный человек, он в большой чести у всесильного князя Василия Голицына. У него сама неукротимая царевна Софья спрашивала советов.

Красив и обширен в Кукуе дом богача-винооторговца Иоганна Монса.

Среди самых видных поселенцев Кукуя и австрийский агент Плейер, образованный швейцарец Лефорт, другой Гордон, Александр, оставивший после себя своим лучшим памятником историю этих лет, инженеры француз Марло и голландец Иаков Янсен, большие знатоки военного и пушкарского дела, Адам Вейде, Иаков Брюсс. В последнее время, по особенным причинам, вдруг выдвинулся в знатные люди совсем скромный корабельный мастер, а лучше сказать, корабельный плотник, Франц Тиммерман...

## V

### На совещании

В один из праздничных дней по призыву Джемса Гордона все видные и влиятельные лица Кукуя собрались в его доме. Собрались споро, с тревогой в душе: Гордон без крайности никогда не беспокоил народ, значит, у него было что-нибудь особенно важное, требующее не только общего обсуждения, но и общего согласия. А это, в свою очередь, означало, что кукуевцам грозила серьезная

опасность. Поэтому у всех собравшихся к Гордону были напряженно-серьезные лица, на которых отражалась тревога.

Как и всегда, Гордон не стал томить своих гостей и после того, как все разместились в зальце его богатого дома, закурили трубки и принялись за объемистые кружки с пивом, заговорил по-немецки, с небольшим акцентом:

— Друзья мои, я созвал вас не для веселья, а для того, чтобы выяснить наше положение. У меня имеются весьма тревожные сведения относительно недалекого будущего, настолько тревожные, что я не счел себя вправе не поделиться с вами.

— Что же такое ожидается? — робко спросил Лефорт. — Уж опять не злоумышляют ли на молодого царя Петра?

— Похоже на то, мой дорогой друг, — ответил Гордон. — Царевна-правительница хочет одним разом изменить все положение. Петр молод, порывист и неукротим так же, как и его сестра София. Московиты говорят, что в одной берлоге два медведя не уживаются, а тут... Ужасно! Брат и сестра одинаковы по ха-

рактеру... Один стремится к власти, другая защищает то, что у нее в руках... Кто возьмет верх, известно одному только Господу!.. — Гордон немного помолчал и потом продолжал с заметным подъемом: — Не сегодня завтра на Москве должны произойти события... кровавые, скажу я, друзья мои, события... Две силы вступят в решительный спор, и от того, которая из них одолеет, зависит будущее множества людей, целого государства... Мы не можем быть равнодушны к предстоящим событиям, для этого я и решился созвать вас.

— Да, — отозвался сумрачный Вейде, — наши мушкетеры и алебарды бесспорно могут дать перевес той стороне, на которую мы станем, а я и герр Брюсс знаем толк в этих вещах... Но кто же будет участвовать в ожидаемых вами, герр Гордон, кровавых событиях? Московская сволочь сильна, когда она в массе, и ничтожна под напором организованной силы. Стрелецкий сброд — такая же сволочь, как и московская чернь... Все они способны только на бессмысленные неистовства. Вот почему я совершенно не боюсь ни за себя, ни за нашу колонию.

— И я также, — легко усмехнулся Гордон, — но я, мой уважаемый герр Вейде, и не говорю об этом; я говорю только о том, какова будет наша роль в предстоящих событиях, на чью сторону мы станем.

— Но не будет ли это вмешательством во внутренние дела Московии? — осторожно заметил Плейер. — Ведь мы здесь чужие. Как мы можем в подобной борьбе принимать ту или иную сторону?

— Я люблю царя Петра, — приподнялся Лефорт, — но думаю так же, как и Плейер.

— А я верую, — восторженно воскликнул пастор, — что будет так, как угодно Небу. Что мы такое? Жалкая трава, ничтожные былинки! Небо пошлет ветер, и он сдует нас без следа. Но вместе с тем, создавая человека, Господь Творец вдунул в него душу свободную, и я думаю, что мы, прежде чем постановить решение, должны всесторонне обсудить это дело.

— Я думаю так же, — с улыбкой проговорил Гордон, — и потому предлагаю вам высказаться... Пусть каждый скажет, что он думает, и тогда...

Однако желающих говорить не было. Хотя в Кукуевской слободе понимали, что надвигаются грозные события, заявление Гордона застало всех врасплох, и никто не решался принять на себя ответственность.

— Если никто не желает сказать свое мнение, — проговорил наконец Гордон, — то да будет позволено сделать это мне... Прошу снисхождения и терпения, так как моя речь будет несколько продолжительна.

Гордон откашлялся, поправился в кресле и заговорил сперва ровно и спокойно, но потом все более и более возвышая голос: да, он совершенно согласен с Плейером — они здесь, в Московии, совсем чужие, в самом сердце народа, совсем им чуждого и по духу, и по крови, и по обычаям, и по вере... Да, этот народ смотрит на чужаков, как на занозу в своем теле... Но разве там, откуда все пришли сюда, на родине, они не чужие теперь? Разве они не сами покинули те места, где жили и успокоились на земле их предки? И разве слезы не польются из глаз того, кто покинет эту полудикую и буйную страну? И разве кто-либо потерял надежду вернуться назад в родные ме-

ста?

— Да, он прав! — перебил оратора один из слушателей. — Нам нет возврата...

— На родине не будет хуже, чем здесь... — сказал другой.

— Тс... Послушаем, что скажет господин Гордон дальше...

Все опять стихло.

— Отчего же мы все ушли оттуда? — задал вопрос Гордон. — Ведь родина и поныне дорога нам, воспоминания о ней — самые радостные для нас.... Что же это значит? Мы изменили своей стране, своему народу? Нет, тысячу раз нет! На родине на нашу долю не хватало счастья, и мы отправились за ним на сторону... Да, да, так это. И мы нашли свое счастье среди чужих, Господь был достаточно милостив к нам. Можем ли мы возвратиться? Я полагаю, что нет... Мы отстали от своего народа, который ушел далеко вперед, мы в родных нам странах будем более чужими, чем здесь, и потому я уверен, что немногие решатся на возвращение... Да и к чему? Там тесно, всюду избыток населения, в состоянии ли будет прокормить все рты. Куда же кинуться нам? В

Новом Свете пионерам приходится вести страшную борьбу за существование. Конквистадоры на южном американском материке беспощадно истребляют аборигенов, а германцы не способны на это.

— Это — совершенная правда, — раздался голос одного из собравшихся, — господин Гордон подметил верно: тевтоны не насильники, их удел — мирный труд, а не кровопролитие.

## VI

### Кукуевские замыслы

**П**атрик Гордон улыбнулся говорившему и продолжал:

— Для германцев нужна страна, где только нарождается культура, чтобы, придя в нее, они помогли населению развиваться. Чтобы создать себе главенствующее положение и упрочить его за собой, мы должны завоевать страну, но не оружием, не кровью, а совершенно мирным путем. Я уверен, вы догадываетесь, что такой страной для Германии является необъятная, все ширящаяся в своих пределах Московия. Завоевать ее оружием нель-

зя. Недавно еще Польша и, Швеция сделали эту попытку и русские легко отбились от натиска внешних врагов. Москва после тяжелого разорения оправилась быстро и стала еще могущественнее, чем прежде. Стало быть, завоевание может быть только мирное. Но как сделать это?

— Да, да, — закричало несколько слушателей, — как?

— Не воевать же Кукую с Москвой!

— Мы бессильны... Что мы можем поделать?

— О, чего не добьется энергичный человек! — воскликнул с порывом Гордон, поднимаясь. — Для него нет решительно ничего невозможного... Московское государство культурно, по крайней мере в своих средних и высших слоях, но его культура совсем иная, чем европейская. Восток Европы и запад Азии сеяли в этой стране семена культуры, так нужно дальнейшее ее развитие направить в такую сторону, чтобы она пошла тем же путем, как и европейская культура. Иначе Москва скоро очутится впереди всех. В самобытности культуры, в оригинальности про-

гресса — ее сила, и эту силу нужно ослабить, сломить во что бы то ни стало. Направленная вдогонку Европы, Россия никогда не сравняется с нею, всегда будет отставать, а, пока она будет отставать, колонизаторы и их потомки всегда будут во главе, будут в московском государстве господами.

Слова Гордона произвели сильнейшее впечатление на слушателей.

— Он открывает нам глаза на наше великое будущее! — воскликнул пастор.

Отдохнувши, оратор продолжал:

— Да, говорю я, настоящий момент — самый удобный для того, чтобы начать великое мирное завоевание. И честь начать его выпадает на нашу долю, мы — авангард великой европейской армии в открываемой для новой нашей культуры стране.

Гордон смолк. Раздались возгласы одобрения. Гордон хлебнул пива, затянулся трубкой и продолжал уже совсем пророчески-вдохновенным тоном.

— Смотрите, что творится вокруг нас. Царевна Софья и князь Василий Голицын не допустят ломки, потому что не желают ее. Они

достаточно разумны, чтобы понять, что русские никогда не станут европейцами, что от России останется одно географическое название, если она сойдет со своего прежнего пути. Но против них выступает царь Петр.

Он молод, его сердце полно ненависти ко всему прежнему. Как и вся молодежь, он жаждет новизны. Прежние формы давят его, его детство несчастно, юность не красна. Ошибка правительницы в том, что она в тисках держала своего меньшого брата. Слишком много крови и трупов видел он в свою недолгую жизнь. В его глазах политика его предков сливалась в одно дикое, кровавое неистовство. И молодой царь способен сломить отцовскую старину, если ему помогут в этом. И все те, кто будет с ним, станут первыми для него людьми. Отчего же не стать ими нам? Зачем упускать то, что само дается нам в руки? Молодой царь Петр запросто бывает у нас в слободе, многие из нас имеют честь быть его друзьями, некоторые же — учителями... Окружите же молодого царя своею ласкою, заботою, в опасную минуту встанем с оружием на его сторону, поможем ему, всеми

силами поможем... И мы забыты не будем, мы сохраним почетные места, а стало быть, и господство над Россией для тех, кто будет следовать за нами. Россия — страна азиатская, страна рабов; неужели же европейцам не быть в ней господами?

Гордон в изнеможении откинулся на спинку кресла и слабым голосом проговорил:

— Вот, господа, что я был намерен сказать вам. Решайте теперь сами, чью сторону мы должны принять в предстоящих великих событиях.

С минуту все молчали.

— Царя Петра, Петра! — пылко воскликнул Франц Лефорт, вскакивая со своего места. — Долой правительницу!

Он не успел еще докончить, как кругом все задвигались, зашумели, заговорили.

— Петра, царя Петра! Долой правительницу! — только и слышалось в течение нескольких мгновений.

Гордон сделал рукой повелительный жест и, когда шум и крики смолкли, спросил:

— Это, господа, — ваше решение?

— Единогласное! — последовал общий от-

вет.

— Смотрите же, я не насилую вашей совести, ваших убеждений, вы были вполне свободны в своем решении.

— Да, да... Вполне!

— Кому вы поручаете вести все это дело? Помните, что вы должны будете беспрекословно повиноваться своему избраннику.

— Вам, вам, Гордон! Вы опытни в ратном деле, — раздались опять крики, — вы знаете всех бояр, вас знают в московских войсках, вы лучше всех осведомлены, что делается во дворцах... Гордон, Гордон...

— Благодарю вас за доверие и принимаю ваше поручение, господа, — поклонился Гордон собравшимся. — Можете верить, что я приложу все силы, чтобы выполнить ваш план во всем его объеме, но вы все должны помогать мне. Главное, молодой царь... Пусть он станет своим между нами... Принесите общему святому делу жертвы, отрешитесь, если будет нужно, от самолюбия. Узы дружбы и благодарности спаяйте пламенем любви, и тогда наша победа будет несомненна.

— Не бойтесь за нас, Гордон, — подошел к

нему Лефорт, — вы указали нам путь, и мы не сойдем с него.

— Верю, — пожал протянутую им руку старый шотландец, — верю всем! Господа, великий долг должен быть исполнен до конца. — Говоря так, он отер слезы, навернувшиеся на его глаза, и закончил — Этого ждет от вас Европа.

Со всех сторон к нему протянулись для прощального пожатия руки. Участники собрания быстро расходились; последним подошел к Гордону пастор.

— Я понял вас, — проговорил он, и его глаза загорелись, — вы вступаете на совершение великого подвига, и на этом пути я до своего конца пойду вместе с вами.

— И мы победим! — воскликнул Гордон.

— И ради этого подвига, — не слушая его, продолжал пастор, — я принесу величайшую в моем положении жертву: я совершу грех, который лишит мою душу вечного спасения...

— О чем вы говорите, преподобный отец? — встревожился Гордон. — Скажите подробнее... Прошу вас...

— Да, скажу! Вы говорили о пламени люб-

ви, которое должно спаять узы дружбы и благодарности?

— Говорил, что же?

— Я понял, о каком пламени любви вы сказали... Греховное пламя! Молодой царь часто бывает у меня, я просвещаю его ум разными науками, которыми умудрил меня Небесный Отец...

— Да, знаю... вы легко можете повлиять на царя...

— Он заходит ко мне, а у меня живет сиротка Елена Фадемрехт.

И, не сказав Гордону более ни одного слова, пастор, что-то бормоча, пошел к выходу в сени.

— Да, — усмехнулся вслед ему шотландец, — фрейлейн Лена очень недурна. Из этого может быть толк... Посмотрим...

## VII

### В пасторском доме

Небольшой уютный домик пастора на церковной площади весь увит плющом, так что его фасад издали казался зеленой стеной. Окна в нем створчатые, а не подъемные, ставни распахивались на две половинки. Когда темнело, эти ставни закрывались и комнаты внутри освещались, но не русскими свечами, а особенного устройства масляными лампами, при умелой заправке дававшими порядочный свет. На площадь выходили только парадные комнаты жилища, его же рабочий кабинет смотрел на двор, в красиво разбитый сад, в котором любил проводить часы своего отдыха старый служитель церкви.

Кабинет пастора был обставлен, как все кабинеты ученых людей того времени. Посредине стоял просторный стол с чернильницей, на которой лежали гусиные перья и небольшой ножичек. В простенке помещался другой небольшой столик. В углу стоял невысокий аналой с лежавшим на нем евангелием. Дру-

гой угол был задернут занавеской.

У одной стены стоял большой шкаф с книгами, у другой — такой же большой шкаф с различными склянками, банками, колбами, мензурками, ступками и всевозможными медикаментами. Все было просто, чисто и опрятно.

Был конец июля 1689 года, осень уже чувствовалась и в рано наступившей темноте, и, в прохладе вечеров, но это была отрадная после дневного зноя прохлада. Надворные окна были открыты, кое-где слышались тихий говор, смех, где-то пела скрипка. Кукуй-слобода затихала рано, но засыпала в сравнении с Москвой поздновато.

В эту-то темную ночь и пробирались, минуя заставы и рогатки в Кукуй-слободе, стрелецкие сорванцы Кочет и Телепень. Оба они были порядочно навеселе, и дело, за которое они взялись, казалось им совсем пустяшным, тем более что они сразу же натолкнулись на следы молодых Карениных: у Телепня на Кукуе было немало знакомцев и приятелей. Оказалось, что Михаила и Павла действительно частенько видели в слободе и знали,

куда и к кому они ходили. Все было так, как рассказывал стрельцам Анкудин Потапыч. Сыновья боярина Каренина бывали у почтенной, уважаемой всеми в слободе дамы, Юлии Шарлоты фон Фогель, одиноко, но вполне независимо жившей в наемном домике с двумя подростками-детьми. Боярские сыновья, по рассказам, относились к Юлии Фогель, как любящие дети к матери, и она, в свою очередь, была матерински добра с обоими юношами.

— Ишь ты, выходит, что не наврал нам старик, — глубокомысленно произнес Кочет, — правду сказал...

— С чего ему врать-то, — согласился Телепень, — значит, завтра доложим все как следует, и чтобы сейчас рубли на бочку...

— Погоди ты с рублями! — приосанился его рассудительный товарищ. — Дай хоть дом найти.

— А то не найти, что ли? — захвастался Телепень. — Я тот дом знаю, видал... Вот только темно да земля с чего-то, прах ее побери, под ногами пляшет! — И, как бы желая доказать справедливость своих слов, Телепень так кач-

нулся, что едва не свалил с ног своего друга.

— Вот в том-то и все дело, что земля заплясала, — чуть слышно засмеялся более трезвый Кочет, — а еще чужой дом в немчинской слободе по приметам искать собираешься.

— А что же, не найду, что ли?

— Может, и найдешь, да он-то у тебя изпод носа убежит... Что тогда, не догонишь ведь?

Телепень подумал было сперва разобидеться на насмешку приятеля, но потом решил, что на ночь глядя ссориться не стоит, и совершенно неожиданно брякнул:

— А я спать лягу!

— Это как же так, спать? — опешил Кочет. — Где?

— А вот в канаву. Дождя давно не было, сухо. До утра просплюсь и найду тогда твой поклятый дом. Уж об утро он у меня не убежит... Я тогда поймаю его, не выпущу...

Кочет не на шутку растерялся.

— А я-то как же? — спросил он.

— А ты уж как знаешь... Поди да погуляй маленько до утрачка. А то знаешь что, братейник? Где это мы? А! Около кирки ихней...

попов дом, стало быть, близко... Да, так и есть... около него стоим... Хочешь, к ихнему попу в сад заберемся? Там у него сл-а-авная беседочка есть... в ней и завалимся. Важно до утра поспим. Хочешь, что ли, братейник?

Совсем не улыбалось Кочету болтаться до утра, да еще без силача Телепня по улицам незнакомой слободы. Здесь, на улочках, пока тихо, но мало ли на кого ночью можно нарваться. Немцы и со стрельцами не особенно церемонились, и немецкие кулаки дубасили так же больно, как и русские. Предложение друга даже понравилось стрельцу. Ведь что ж в самом деле? До утра в сад из дома никто не выйдет, а как забрезжит рассвет, и убраться можно.

— А ты ладно придумал, — проговорил он, — даром, что Телепень.

— Вот тебе и Телепень! Открыта калиточка, открыта! Шагай, родимый! Да тише ты, неумытая твоя рожа!

Стрельцы прошмыгнули в калитку. На них так и пахнуло ароматом теплого, полного цветов сада. Кочет приостановился на мгновение, огляделся. Было тихо, ни души кругом,

одно из окон распахнуто. Это было окно пасторского кабинета.

— Стой, — прошептал Кочет, — видишь?..

И присел, вцепившись Телепню в плечо.

На светлой занавеске были видны две тени — одна была неподвижная, другая же двигалась, шевелилась.

В этот вечер пастора не было дома, а к нему пожаловал гость, правда, не редкий, но всегда являвшийся в вечернюю пору.

## VIII

### Гость Кукуевской слободы

Это был юный царь московский Петр Алексеевич.

Еще пригож собою был он в ту пору своей жизни. Ему шел всего только восемнадцатый годок. Бела была, не загубела еще кожа на его лице, и не покрылись его руки сплошными мозолями. Мягки были его черные волосы, и нежный первый шелковистый пушок покрывал подбородок. Правда, крупны и резки черты его лица, широк нос, высок и выпукл лоб, но все лицо в полном соответствии

с крупной не по летам фигурой. Огневой энергией сверкали его большие навывкате глаза, все движения были порывисты, как будто юный богатырь постоянно стремился куда-то вперед. На нем был синий простой кафтан, а под ним — шитая рубаха, подпоясанная узорчатым поясом. Не стеснявшая движений одежда открывала высокую грудь — глубоко, взволнованно дышал он, слыша стук легких каблучков. Кусал в нетерпении губы.

Присела с поклоном молоденькая воспитанница пастора Елена Фадемрехт. Он протянул руку:

— Здравствуйте, фрейлейн Елена. Как поживаете?

Острый его взгляд уловил едва заметное смущение на хорошеньком личике девушки. Что с ней? Кто обидел сироту, которую пастор приютил, когда она была совсем крошечная? Приютил, воспитал как родную дочь. Он был привязан к ней по-отцовски, души в Елене не чаял, берег ее, холил и ее-то наметил жертвой...

Опытен старый пастор, знал он человеческую душу. Знал, как велика власть женщи-

ны над мужчиной. Многое знал он, одного не ведал старик — любви, считая ее грехом сатанинским...

— Что с вами, Елена? — ласково спрашивал поздний гость, заглядывая ласково в глаза.

Не страшен с виду, а почему-то болит ее сердечко, чует тревогу. Вот и пастор в последние дни стал делать намеки, невольно заставлявшие ее краснеть. Она не совсем понимала их, но инстинкт подсказывал ей, что в этих намеках таится для нее какая-то опасность. Пастор чего-то ждал от нее, какой-то услуги, какой-то великой жертвы ради «блага множества обездоленных, лишенных милой родины людей, близких ей и по духу, и по крови, и по религии». Пастор то перечислял ей могучих, славных женщин, не останавливавшихся ни пред каким самопожертвованием, когда дело шло о счастье великого родного народа; он живо рассказал ей историю библейских Юдифи и Олоферна, восхищался подвигом еврейки и тут же переходил к царю Петру, расхваливал его, говоря, что, если бы около него была своя Юдифь, тысячи и сотни тысяч благо-

словляли бы ее.

Голос его трепетал, когда пастор говорил о той роли, которую должны были сыграть в истории России иностранные выходцы, и вдруг прямо и четко втолковывал румяной хохотушке, что таких людей, как молодой царь Петр, крепче всего можно сковать цепями женской любви, — любящий человек-де сделает все, чего ни захочет любимая женщина.

Елена слушала, краснела, но старалась, легкая душа, не вникать в скрытый смысл, и сердечко ее сжималось, и уже несвободно было оно, юное это сердечко... Вот чего не принял в расчет старый пастор Кукуевской слободы, знаток человеческих душ... Верил он в свою мудрость, верил в девичью глупость и податливость, видя, как весело и непринужденно обращалась девушка с царем московским. Потирая руки, улыбался, часто уходил из дома вечерами, запаздывал с возвращением, когда, по его расчетам, гость-венценосец должен был быть у него.

Так было и в этот темный июльский вечер...

## IX

### Боязливая голубка

— Здравствуйте, царь, здравствуйте! — приветствовала Елена Петра. — Давно не были у нас в слободе... Словно и позабыли совсем...

— Нет, фрейлейн Лена, нет, — ласково отвечал гость, пожимая маленькие ручки девушки, — я никогда не забываю своих друзей.

Они говорили по-немецки; Петр медленно произносил слова, старательно подыскивая их в своей памяти, прежде чем сказать, но в общем его речь была правильна, хотя и несколько книжна. Он, разговаривая с Еленой, старался сдерживать свой ломкий грубоватый голос, и только его глаза так и взблескивали яркими огоньками.

— Это хорошо, что вы не забываете своих друзей, — защебетала девушка, — а врагов как? Тоже не забываете?

Лицо молодого царя потемнело, изогнутые дугой брови сдвинулись.

— Смотря кого! — глухо ответил он. —

Иных и на своем смертном одре не забуду!

— Какой вы! Ведь это не по-христиански, — высвободила свои руки девушка. — Но я не хочу верить, чтобы вы были злой... Нет, нет! Вы — добрый. Господь велел любить своих врагов...

— То был Господь, — по-прежнему глухо проговорил Петр, — а мы — простые люди. В мудрых же изречениях, которые я вычитал в книгах вашего благодетеля, прямо сказано, что человек человеку — волк. Эх, фрейлейн Лена, если бы могли только заглянуть в душу мне и увидеть, что там делается, испугались бы вы!..

— Разве? — даже отступила немного Елена.

Петр присел к столу и так ударил по нему кулаком, что все ходуном заходило.

— Чего «разве»? — запальчиво и грубо выкрикнул он. — Кипит все там, словно печь разожженная. — И слегка хлопнул себя по высокой груди. — Да! А как же этому не быть? Разве вокруг меня друзья? Враги лютые! Все... Вот сестра Софья... От одного отца мы с ней, а нет большего врага для меня, чем она! Сидит

она теперь, поди, со своим Васькой Голицыным и придумывает, как бы меня с белого света извести!

Губы его побледнели, сжались кулаки.

— Полноте, царь, полноте, — остановила его девушка испуганно. — Вы сегодня мрачно настроены. И еще такой разговор затеяли... Ну его! Знаете, я очень рада, что моего благодетеля дома нет...

— И я тоже, — сознался Петр, странно глянув.

Сердце Елены захолонуло.

«Что он задумал? — промелькнула тревожная мысль. — К чему он это сказал?»

Она же одна во всем доме с этим молодым своевольником, о выходках которого давно ходили недобрые слухи. Женился, да не остепенился. Господи, спаси...

— Я по крайней мере прочту еще раз анатомию, — закончил Петр, сощурившись, и Елена почувствовала, как чуть отлегло от сердца. — И то, вожусь с этими потешными и книги совсем забросил.

— И прекрасно! — слишком громко воскликнула Елена, обрадованная и в то же вре-

мя с чисто женской непоследовательностью задетая за живое равнодушием к ней молодого царя. — Усаживайтесь за свои книги, и если только вы будете прилежны, то я обещаю вам сюрприз.

— Какой? — по-мальчишески встрепенулся Петр.

— Будьте терпеливы, и вы увидите сами, какой мой сюрприз! — весело засмеялась девушка. — Садитесь же за книги, огонь горит ярко, и ваши глаза передадут вам всю мудрость, какая в них есть. Учитесь, царь! Из вас, если бы вы не были царем, вышел бы прекрасный студент!

И, прежде чем Петр успел что-либо сказать, Елена с веселым смехом выбежала из пасторского кабинета.

# Х

## Оборотень

Оставшись один, Петр не сразу принялся за книги. Взволнованный нежданным разговором о друзьях и врагах, он несколько раз тяжело прошелся по комнате.

— Милая резвая хохотушка, — заговорил негромко сам с собой, — право, приятно словом перемолвиться с такой, не то что наши московские тетери и кувалды... «Лапушка» да «разлапушка» — только одно и знают, а дальше этого никуда... Целуй ее, ласкай, дрожи от страсти, а спроси что-нибудь — про пирог с морковью услышишь... Матушка, матушка! Зачем ты меня с Авдотьей сковала?.. Жизнь моя по-другому потекла бы, если бы иная около меня была! Эх! Да что тут! Порву я все путы, вырвусь на вольную волюшку. Не удержат им орла на привязи. И уж загуляю тогда, так загуляю, что сам Грозный царь в своей гробнице костями от удивления застучит! Только бы моих потешных поднять — никакие Софьины стрельцы против них не выдер-

жат. Покажу всему миру, кто я!

Голос его зазвенел. И прекрасен, и страшен был царь в эти мгновения. Горели его глаза, ноздри раздувались, вздрагивали губы, высоко вздымалась богатырская грудь.

Наконец, поборов себя могучим усилием воли, Петр взялся за книгу. Ветер теребил занавески на окне, ветки шуршали глухо. Царь насторожился: до его чуткого слуха донесся отдаленный говор, и ему показалось, что голоса все приближаются и что скрипнула приворотная калитка. Страх холодком пробежал по спине. Петр выглянул во двор. Было темно, веяло прохладой, из пасторского сада лился аромат цветов. В саду стояла ночная тишина, слышался только шелест листьев под легким налетевшим ветерком.

— Причудилось, надо быть, мне, — промолвил царь, — никого там нет. — Да и кому быть? Сестра Софья сюда своих соглядатаев послать не осмелится... Ох, сестра, сестра! — он нахмурился, вспомнив про правительницу, но, опять подавив в себе закипавшее чувство, махнул рукой и подошел к завешенному углу.

Отдернул занавеску, за ней оказался прекрасно собранный человеческий костяк, установленный во весь рост на широкой подножке. Глазные и носовые впадины зияли на его белой кости. Беззубый рот был раздвинут, и казалось, что эта страшная мертвая голова улыбается царю, кости-руки были протянуты вперед, словно скелет хотел обнять Петра.

— Не шути, брат, — пробормотал государь и, взяв костяк, перенес его к столу. Сел сам и развернул одну из книг. Перелистав несколько страниц и найдя нужное ему место, он поднял и укрепил подставкой одну из рук скелета так, что она приняла нужное положение, повозился с его костяной ногою, стал повторять урок, вприщурочку глядя на скелет, лишь изредка заглядывая в учебник:

— Сие есть локтевая кость, сие — лучевая, сие — голень, вот малая берцовая, вот копчиковый отросток...

Царь увлекся. Время летело незаметно. Наконец, закончив, Петр, придав скелету прежнее положение, поставил костяк пред глазами, а сам закурил трубку с длинным чубуком: напряженно работавший мозг требовал

взбодрения.

Петр курил истово, и клубы табачного дыма носились над его головой, окутывая и его, и стоявший пред ним скелет — мрачноватая картина! Но венценосный ученик не обращал на это внимания. По временам он отрывался от книги, склонялся к скелету, трогал его, поворачивал, похрустывал косточками, давно уже высушенными, и чудилось: слушает, понимает его безмолвный приятель...

А ветки за окнами шевельнулись сильнее. Стрельцы Кочет и Телепень промелькнули в калиточку пасторского дома. Телепень бодрился, держался на ногах достаточно твердо, бормотал, себя успокаивая:

— А что, брат, ведь хорошо я придумал? Ведь верно, хорошо?

— Чего уже лучше! — насмешливо ответил Кочет. — Вот как хозяева надают в загорбок, совсем чудесно будет.

— Не надают... Мы и сами с усами... Сдачи дадим...

— Тише ты, видишь? — указал Кочет на отворенное окно, из которого выбивался неяркий свет. — Ведь не спят еще, проклятущие.

— Да, я и то вижу... А ведь беседка, что я наметил, прямо против окна...

— Думаешь, не увидят?

— Может, и ничего, а увидят — прогонят...

Ночуй в канаве... Эх ты, жизнь...

— Что же делать?

— А вот что! Переждем тут, под стеной...

Не до петухов же не спать будут. Угомонятся, тогда мы в беседку и проберемся.

— Дело, — согласился Кочет, — переждем!

Они притаились под стеной вблизи открытого окна; шум, вызванный ими, привлек внимание чуткого Петра, который настороженно стоял у занавески, стиснув рукоять ножа.

Шло время... Стрельцам давно уже надоело стоять и ждать, да и спать им хотелось, так что невтерпеж стало.

— У, полуночники! — с сердцем выбранился Кочет. — Ночь уже на дворе, а они не укладываются... А знаешь что, Телепень?

— Что?

— Давай поглядим, кто там такой полуночничает? Может, немчинская девка с хахалем милуется.

— Так мы их спугнем, — хохотнул, оживился Телепень. — Верно ты говоришь, давай!

Они подкрались, затаивая дыхание, к окну. Первым взобрался на узкую завалинку Кочет, заглянул и кубарем, без звука скатился вниз, кинулся в кусты. Что такое? Телепень постоял, подумал и, подумав, не говоря ни слова, сопя, полез к окну. Он увидел комнату в табачном дыму, мертвую улыбку скелета и глаза царя, глядящие на него.

Волосы дыбом поднялись под шапкой у парня, ослабели руки...

— Чур, меня чур! — вырвался из его груди дикий, отчаянный вопль. — Оборотень, антихрист!

Затопали по земле его сапоги, зашуршали у калитки кусты.

Петр сутулил плечи у окна...

# XI

## Анхен

Сумрачен был взгляд царя. Скулы его каменили. Заговор? Вспомнились очумелые глаза мордатого стрельца, его вопль. Царь покачал головой, хмыкнул. И вдруг весело, безудержно рассмеялся.

— И поделом негодникам! — бормотал он сквозь смех. — То-то я думаю, их душа в пятки ушла... Эх, людишки, — презрительно закончил он и, позабыв о приключении, снова принялся за прерванную было работу.

Но, должно быть, в этот вечер ему не суждено было заниматься науками: только что венценосный ученик хотел углубиться в книги, как у дверей послышались веселый девичий говор и смех.

Он приподнял голову и слегка улыбнулся.

— Ишь, — проговорил вполголоса, — одна стрекоза другую привела... Что же они сюда не идут? Чего там за дверями стрекотать?

Как бы в ответ дверь распахнулась и в кабинет пастора вбежала Елена, таща за руку

другую девушку.

— Иди, Анхен, не упрямься, — смеясь, сказала она, — молодой московский царь — не медведь и тебя не укусит.

Петр поднялся со стула и во все глаза смотрел на гостью, чувствуя, как вдруг загорается все его лицо. Пред ним была та самая неземная нимфа, которая рисовалась в его молодых грезах: не лупоглазая жирная московская «тетеха», нет, это была она — высокая, статная. Тяжелые золотистые косы змеями висели по плечам, голубые глаза смотрели гордо, но в то же время кротко. Щеки так и пылали ярким румянцем. Девушка была, видимо, смущена этой неожиданной для нее встречей, однако на ее лице не отражалось ни испуга, ни тревоги. Петр даже плохо слушал Елену от волнения. О чем это она?..

— Ваше царское величество, — с церемонным реверансом говорила Елена, — прошу вашего позволения представить вам мою подругу Анхен Монс.

Это имя было знакомо Петру. Он не слышал о Иоганне Монсе, богатом виноторговце. Ясно, что эта девушка — его дочь.

— Я рад знакомству с вами, фрейлейн, — проговорил он, протягивая девушке руку. — Слышал о вашем отце, а вот теперь вижу вас...

— Что ты так на него смотришь, Анхен? — оставляя в стороне всякую церемонность, воскликнула Елена. — Ты, может быть, удивляешься, что он так прост? Вероятно, тебе наговорили, что эти московские цари — какие-то божки... сидят на своих престолах, а им все кланяются... Так нет, видишь, вон он какой... Он у вас бывает запросто и даже не любит, когда его здесь называют царем. Ну, знакомьтесь же, разговаривайте... Я пойду по хозяйству! — И Елена убежала, оставив молодых людей одних.

Как всегда, на первых порах неожиданного знакомства чувствовалась неловкость. Очевидно, Петр произвел сильное впечатление на молодую девушку, ее зоркие глазки сразу заметили, что он тоже смотрит на нее с волнением. И разговор не клеится. Молодые люди задавали друг другу незначительные вопросы, отвечали на них, но смущение все-таки владело ими. Разговор то и дело прерыв-

вался...

Так прошло некоторое время.

Вдруг в кабинет вбежала Елена Фадеврехт. На этот раз она была взволнована и даже испугана чем-то.

— Государь, — заговорила, прерывисто дыша, — тут сейчас явился какой-то молодец, который желает видеть вас.

— Кто такой? — нахмурившись, спросил Петр.

— Не знаю, но он очень настойчив и говорит, что если не будет допущен к вам, то могут произойти для вас большие неприятности...

— Э-эх! — досадливо махнул рукой Петр, вспомнив вытаращенные глаза стрельца, — так вот всегда... Прознали, значит, мелкие шавки мой след... Вы, фрейлейн, ничего не слышали?

— Ничего! А что?

— Кричал тут под окнами кто-то.

— Мы были далеко, во внутренних покоях... Как будто я слышала какой-то крик... Не правда ли, Анхен?

— Да, — ответила Монс, — и мне показалось, что кто-то кричит... Но ведь это так часто здесь... Какие-нибудь пьяные стрельцы из Московии. Ох, простите, государь!

Появление нового лица прервало ее слова. Петр уставился круглыми глазами: кто таков?

Вошедший был еще совсем юноша, вернее, подросток, безбородый, с только что начинавшими пробиваться усами. Одет не по-простому: богатый кафтан, расшитые сапоги, опушенной колпак, который он держал в руках, показывали, что он принадлежит к знатному боярскому роду. В пасторский кабинет он скорее вбежал, чем вошел. Увидев царя, выпрямившегося во весь свой рост и смотревшего на него сверкающими от гнева глазами, смутился и испугался.

— Великий государь, — дрожащим голосом воскликнул он, преодолевая свой испуг, — помилуй... Не вели казнить, дозвожь слово вымолвить.

— Кто ты? — спросил Петр отрывисто. Его рука уже нащупала под кафтаном рукоять за поясного ножа. — Ну? Говори, кто?

И ноздри его заходили. Что вызвало гнев,

сам толком не понимал. Врываются тут всякие, как к ровне, не дают поговорить. Покопился на Анну, покусал губы в досаде.

— Ну, так что же? — опять спросил он. — Чего молчишь?

Юноша опустился на одно колено и, поникнув головой, произнес дрожащим голосом:

— Твоего боярина Каренина сын я, Павлом звать.

— Каренина? — нахмурил лоб Петр. — Что же я не слышал такого? Верно, к сестрице моей Софьюшке забегает, а то бы уж я слышал. Так чего тебе надобно, с чем явился?

Гнев его затухал. Петр повертел головой, дернул ворот.

— Позволь, великий государь, говорить с тобой, — поднял голову Павел. — Негоже, чтобы уши слышали, что я говорить тебе буду. Прикажи им уйти, — кивнул он в сторону девишек, с любопытством смотревших на них.

## XII

### Ночной переполох

**П**етр тоже взглянул на них, и девушки поняли этот взгляд как безмолвное приказание.

— И в самом деле, Лена, выйдем, — произнесла Анна Монс. — Прощайте, государь, — почтительно, но с достоинством поклонилась она молодому царю. — Будете еще в нашей слободе, не забудьте и нас своей милостью.

Она пошла к дверям, не пошла — поплыла лебедушкой.

Петр быстро перегнал ее, открыл перед ней дверь и, когда девушки проходили мимо него, проводил их низким поклоном.

Молодой Каренин стоял неподвижно на колене, косился на скелет. Царь потер подбородок.

— Ну, говори! — опустился он на табурет около скелета. — Что у тебя там такое? Какая еще тайна? Да встань! Не люблю я этих преклонений. Ну?!

Павел быстро поднялся и, подступив к Пет-

ру, торопливо заговорил:

— Не с добрыми вестями пришел я к тебе, великий государь! Задумали по твою жизнь людишки скверные и, прознав, что ты сюда, в Кукуй-слободу, наезжаешь, решили промыслить.

Петр вздрогнул, и его лицо потемнело еще более.

— Кто же такие? — мальчишеским голосом выкрикнул он. — Стрельцы небось?

Всплыло в памяти толстоносое лицо в окошке...

— Они, государь. Ведь ведомо тебе, что всякое зло на Руси от них идет. Поставили они засаду, чтоб захватить тебя, как только выйдешь за Кукуй-слободу на проезжую дорогу. Поберегись, государь! Умоляю тебя, поверь моим словам, не ездь сегодня отсюда.

— Ну, этому не бывать! — так и вспыхнул молодым задором Петр. — Чтобы я, царь московский, да злодеев испугался? Или забыл ты, что своего помазанника и Бог хранит.

— Так, государь, но ты будешь один, а их много.

— Пусть. Но ты-то, ты-то откуда знаешь

это?

Павел заметно смутился, а потом взволнованно ответил:

— Делай что хочешь, государь!.. Казни или милуй — твоя царская воля, но скрывать от тебя не буду. Есть у меня брат старший, Михайлой зовут; так вот он-то на тебя и наводит.

— Твой старший брат? — с удивлением посмотрел на Павла молодой царь. — Так что же ему сделал такого? За что на меня злом пышет? Ведь я ни вас, ни вашего отца никогда и в глаза не видал и никогда не слыхивал о вас... Или и твой брат руку моей сестры Софьюшки держит? Ну, говори же правду до конца, ежели начал.

Царь вскочил, пнул ногой табурет. Он видел, что смущение Павла разрасталось; лицо юноши покраснело, он стоял пред Петром, потупивши взор.

— Будь по-твоему, государь великий, — наконец сказал Каренин, — скажу тебе все, не потаив, а ты потом не гневайся. Частенько мы тут, на Кукуй-слободе, с братом бываем. Женщина тут живет одна, немчинка, а была она долгое время нам обоим вместо матери.

Привыкли мы к ней, как к родной, и вот, как батюшка на Москве поселился, мы первым своим делом решили разыскать ее; с тем и стали бывать здесь, в Немецкой слободе. Да, часто мы бывали, и приглянись брату, на его беду, здешняя девица одна. Просто сохнуть по ней стал, а тут вдруг показалось ему, что ты, государь, на эту девицу взглянул ласково... Вот и лишился разума мой большак.

— Кто эта девица? — в упор сверкающим взором посмотрел Петр на своего молодого собеседника. Кровь ударила ему в лицо. Ему показалось, что сейчас он услышит имя Анны, и гнев так и заклокотал в нем. Ишь, какие резвые молодцы! Ишь, как приловчились! Да как они смели, молокососы!

Царь уставился в лицо Каренину, прямо в глаза его. Глаза как у телка, ласковые... Тьфу!

— Говори же, проклятый! — надвинулся он на Павла. — Говори, что же эта девица ответила твоему брату?

— В том-то и дело, государь, — вздохнул молодой Каренин, — что и она полюбила его, а тут, говорю, ты появился между ними...

— Полюбила... а-а!.. — неистово вскрикнул

Петр, хватая Каренина за плечи. — Говори, говори, кто она такая? Имя ее! Ну?!

— Здешняя, пасторова, фрейлейн Лена, — не пытаюсь даже отбиваться, пролепетал перепуганный юноша. — Помилуй, государь! Ведь в сердце своем никто не волен!

Но Петр уже и сам отпустил его.

— Лена, Лена Фадеврехт, — повторял он в порыве безумной радости, — ха-ха!.. Эх, вы, телята молодые!.. Ну, а все-таки же, значит, скверное дело задумал твой брат, из-за чего бы то ни было на царя своего покушаться. Ну да ладно, посмотрим, что там будет, и по справедливости это дело рассудим.

— Чу, государь, — насторожился Павел. — Ты разве ничего не слышишь?

Петр прислушался.

— Шумят там, — равнодушно сказал он, о своем думая, — видно, пьяные дерутся.

— Нет, нет! — испуганно заговорил Павел. — Как бы не ворвались в слободу стрельцы, которые тебя поджидали... озорной народ, сам, поди, знаешь. Так и есть, ишь галдят... Государь, послушай ты меня, пойдем со мной! Слышишь? Ведь они сюда идут. Пой-

дем, пока еще можно!

— Мне, бежать? — выпрямился во весь свой огромный рост Петр. — Разве нет при мне сабли острой, ножа за поясом? Пусть идут! Я смогу отбиться.

— Ой, государь, в таком деле кто за что поручиться может? Ведь стрельцы пьяны... Молю тебя, государь, последуй за мной! Я всю слободу знаю, так укрою тебя, что никто не найдет!

Петр заколебался: много правды в словах Павла, но все-таки не решался последовать за ним.

— Государь! — вбежала перепуганная Елена. — Московские стрельцы возмутились, идут сюда... спасайтесь, государь!..

Губы Петра побелели, однако он сдержался: царь все-таки! И потом... что скажут эти милые девушки?..

— Не бойтесь, фрейлейн Лена, — успокаивал он девушек и себя самого. — Не надо бояться...

— Не за себя, государь, не за себя. Вы знаете, как они буйны. Нет возможности ни за что поручиться... Вспомните ваше детство.

Огонь факелов как бы дохнул ему в лицо. Вспомнился остро запах стрелецких сапог, запах их потных тел, орущих лиц. Все завертелось перед глазами Петра. Копья смотрят прямо на него... Летит дядя Нарышкин на копья, борода растрепана...

— Государь, государь! — дергает его за руку Елена.

Едва заставил себя улыбнуться. Ну, погодите, Федька Шакловитый да подьячий Шошин, да звери Милославские, да царевна-правительница Софья и ее «мил сердечный друг Вася», князь Голицын, Васильев сын. Сорвались звери с цепи, кровь почуяли...

Шум и галдеж все разрастались. Степennые, пожилые обитатели Кукуя заперлись в своих домах, за толстыми стенами. Что это? Откуда? Крики, вопли, топот, зловещие огни факелов на улицах, блеск копий. Откуда на тихих слободских улицах вдруг появилась пьяная стрелецкая ватага? Куда ворвутся первые убийцы? Молодежь с оружием выбегала на улицы, во тьму. Сбивалась в кучки, слушала.

— Изведем оборотня! — слышались

неистовые вопли. — Младшим царем прикинулся, черную смерть пуцает!

— Долой Нарышкиных! Перебьем всех, чтобы на семя не осталось!

— На копыа их! Милославские нам милы!

— Ищите оборотня, забьем его!

Крики, сливаясь в один общий гул, слышались все ближе и ближе. Петр решился на что-то ужасное. Это было видно по его лицу.

— Государь великий! — кинулся к нему Павел Карелин. — Доверься мне, я укрою тебя!

Царь не шевельнулся, только его рука все крепче и крепче сжимала рукоять ножа.

— Государь, — мягко сказала Анна, — безрассудство не есть геройство... Вы слышите, что кричат там? Вы будете убиты, прежде чем подспеют наши алебардисты. Я хочу, чтобы вы жили... Идемте!

Она смело схватила молодого царя за руку и повлекла за собой.

Петр не сопротивлялся, он покорно следовал за Анною, с восхищением глядя на нее, длинные ноги его цеплялись за ковры и пороги. Совсем мальчишка!

— Я буду прикрывать! — воскликнул по-

немецки Павел. — И мы уберезем его.

Дверь закрылась. Елена стала действовать: спешно погасила огонь в кабинете, спрятав пред этим скелет. Сердце молодой девушки билось: она прекрасно понимала, какая страшная опасность грозит пасторскому дому в эти мгновения, но раздумывать было уже некогда. В одну ночь могли сломаться многие судьбы — и малые, и великие. И виною тому — любовь боярского сына Михаила, что дерзок нравом, необуздан в порывах и горд духом. Он весь в отца. Боярин Родион Лукич тоже удержа не знал, когда попадал под власть какого-нибудь чувства — любви или ненависти. А полюбил юную Елену Фаде-мрехт Михаил и что ему теперь царь, что народ, что отец... Для него Петр теперь не помазанник Божий, не царь московский, а соперник в любви, ровня ему. А раз так — созывай, веди на Кукуй-слободу, спасай милую!

### XIII

## Робкое признание

Когда молодой царь и его юная спутница вышли из пасторского дома, сопровождаемые Павлом Карениным, на церковной площади уже кипела жестокая свалка. До оружия еще не дошло, дрались кулаками, хрустели скулы, страсти с каждым мгновением разрастались. Слободская молодежь и ворвавшиеся в слободу стрельцы шли стенка на стенку. С обеих сторон оглушительно орали. Слышались родные российские словечки.

— Ишь, сволочь подлая! — презрительно усмехнулся Петр. — Одного полка моих потешных хватит, чтобы разметать всю стрелецкую орду! Вот вызову их сюда...

— Тише, царь! — схватила Петра за руку Анна. — Вы так неосторожны...

Горяча ее рука, близки алые губы...

— Сердце кипит, фрейлейн Анхен...

— Верю, но нужно все-таки быть разумным! Идемте! — увлекала она его в темный переулок.

Там не было никого, и путь оказался совершенно свободным.

— О, фрейлейн! — шало воскликнул Петр. — Я счастлив, что вы обратили на меня внимание! Чем могу отплатить за услугу?

— Услуга небольшая, — весело рассмеялась Анна, — но если вы считаете, что я вам в чем-то помогла, то отплатите мне потом...

— Когда потом?

— Когда будете настоящим царем!

Эти слова были произнесены хоть и весело и ласково, но ударили Петра, словно кнут.

«Как! — вихрем пронеслось у него в мозгу. — Она не считает меня настоящим царем?... Кто же я тогда?»

Однако он подавил вспыхнувший было гнев и только пробормотал:

— Ни теперь, ни тогда, ни после я не забуду вас.

— Меня? — засмеялась Анна. — Только меня?

— Только вас! — ответил юный царь, и в его голосе задрожала страсть. И руки стиснули ее плечи, железные руки...

— Какой вы! — вспыхивая, проговорила

Аннушка. — Ну, посмотрим, так ли это и умеют ли цари говорить правду.

Она потихоньку выскользнула, пахнув на него запахом то ли трав, то ли духов...

Вдруг чья-то тень надвинулась.

— Вот он, вот оборотень проклятый! — раздался хриплый голос. — Он со смертью был и на Москву ее напускал. Стой-ка!

Это хитрый Кочет расстарался — нашел оборотня на спюю голову.

— На! — размахнулся Павел Каренин, и Васька, охнув, рухнул на землю, сбитый страшным ударом молодца.

— Бежим, государь! — крикнул Павел. — Это — передовой, за ним сейчас другие явятся.

Он ухватил царя за руку и, не обращая внимания на Анну, потащил его за собой.

— Идите, идите за ним, государь! — сказала девушка. — Я знаю его, он — человек верный. Обо мне не беспокойтесь, я здесь своя.

Петр, отдав себя в чужие руки, покорно последовал за молодым своим спутником.

— Это — Кочет, — отрывисто говорил Каренин. — Он видел тебя, Петр Алексеевич, когда

ты с костью занимался: с Телепнем он был, и всю эту ораву они на тебя навели, перепугались. Идем сюда вот!

Царь и Каренин свернули в новый переулок.

А вдали орали. На церковной площади драка разрасталась, закипал настоящий бой. В слободе ударили в набат, и, к своему ужасу, обитатели Кукуя слышали, что этому набату ответила чужая страшная Москва. Что-то будет, Господи?!

Елена Фадемрехт, вся дрожа от испуга, стояла у окна и смотрела на площадь. В это время сзади хлопнула дверь и кто-то вошел, вернее сказать — вбежал, в пасторский домик. Девушка обернулась, охнула. Позади нее стоял Михаил Каренин. Глаза его горели.

Знала его Елена, не раз они встречались, вели хорошие, дружеские беседы. Строен и статен молодой Каренин, нежны черты его лица, глубокой бездной были его черные глаза. Нравился он Елене, и ради него она пустилась на хитрость, отстраняя от себя всю ту честь и славу, которая, как рассчитывал пас-

тор, могла принадлежать ей, Юдифи Кукуевской слободы.

— Ты что? — Зачем ты здесь, Михаил? — воскликнула девушка. — Ты был среди озорников?

— Да, был среди них, Аленушка, — бессильно опуская руки, ответил юноша. — Я их сюда и навел... Не стерпело мое сердце.

Он был сильно смущен и, видимо, плохо соображал, что говорил.

— Чего твое сердце не стерпело? — подступая к нему, воскликнула Елена. — Чего, говори?

— Его я здесь увидел, его... разлучника моего.

— Кого «его»? Царя? Да отвечай же!

Она не дождалась ответа. Михаил Каренин стоял пред ней, поникнув своей красивой головой. Куда девался его задор. Застыл теленком.

— А, ты молчишь! — выкрикнула Елена. — Ты сам не знаешь, что и сказать... Знаю я вас, московских озорников! Только в свой кулак веруете... Кричит «люблю», а сам норовит кулаком в бок! Так мы здесь, в Немецкой слобо-

де, не такие. Как ты смел про меня дурное помыслить? Ваш царь молодой — у нас гость здесь, и мы, как гостю, рады ему... А ты ревновать. Да кто тебе такое право дал?

Голос Елены перешел в крик, лицо покраснелось, глаза так и сверкали.

— Прости, Аленушка! — робко вымолвил Михаил. — Все равно, что слепой я от любви моей к тебе...

— А, теперь «прости»! Московских буянов навел, такую драку устроил, а сам того знать не хочет, видеть не желает, что не ко мне, а к Анхен Монс ваш молодой царь льнет.

— Аленушка! — вскрикнул пылко юноша. — Да неужели это правда? Прости же, прости меня!

— Ступай, заслужи вперед мое прощение, — уже торжествующе крикнула Елена, показывая на дверь. — На глаза мои не показывайся, пока тебя царь Петр другом не назовет. Понимаешь? Добейся у него этого и тогда только назад ко мне приходи... Ступай, нечего тебе здесь делать больше!

И она вышла, сильно хлопнув дверью.

Михаил постоял, почесался в раздумье и,

опечаленный, побрел вон из пасторского дома.

В полутьме кто-то — то ли наш, то ли чужой — набежал на него, дохнул винищем:

— А-а, попался!

От души хлобыстнул его Михаил по зубам — улетел молодец в кусты и затих там.

— Эх, Аленушка, — пробормотал Михаил, горестно посапывая...

## XIV

### Из-за «оборотня»

**П**ривалясь к забору, стал размышлять Михаил, вспоминать весь нынешний проклятый день. Как слепой был, ничего дальше носа не видел. Чуть до беды не дошло. Ладно бы за великое дело, за царевну-правительницу поднялся, за род Милославских, за свой собственный род против Нарышкиных захудалых, что всегда ниже Карениных были... А то из-за слепоты своей попался, пьяных стрельцов поднял — так головы лишиться можно. Правда, кто теперь найдет виноватого? Все помнят отчаянные вопли Кочета и Телепня,

которые подтолкнули собравшихся близ пасторского дома стрельцов, а безумно-несвязные рассказы об «оборотне», принявшем царский вид и напускавшем на Москву лютую смерть, довершили начатое. Буйство вспыхнуло и вдруг разрослось, и теперь ему, зачинщику, впору унимать буянов.

Михаил, потряхивая головой, побрел к площади. Криков уже было поменьше. Драка затихала: алебардисты слободы сумели управиться с нетрезвыми буянами и разогнали их; звуки набата смолкли. Михаил стоял на площади, раздумывая, куда ему идти. Быстры у молодца кулаки, да неповоротлив ум.

Было темно, улицы уже успокаивались, кое-где еще мелькало багровое пламя смоляных факелов. Михаил Каренин, стоявший в раздумье, вдруг встрепенулся.

В темноте раздался лошадиный топот. Поэтому, как раздавались удары копыт, Михаил различил, что едут двое. Ему вспомнилось, что на дворе Фогель стоят две его лошади, и тут пришло в голову, что ему самое лучшее вернуться к этой доброй женщине и вместе с братом Павлом отправиться обратно на Моск-

ву. Там можно на покое обсудить все, что произошло, и как вести себя дальше.

Но едва он успел подумать это, как у самых его ушей раздался лошадиный храп, и в следующее мгновение он был сбит с ног грудью наткнувшейся на него лошади. Вскрикнув, Михаил упал.

— Кто ты? — спросили его.

Он узнал голос своего брата Павла, быстро вскочил на ноги, но всадники были уже далеко, и Каренин понял, что догонять их не стоит.

«С кем мог быть Павел? — думал он, пробираясь во тьме. — Уж не наших ли коней он угнал? Тогда как же мне вернуться?»

Эта мысль заставила его заспешить к дому воспитательницы, но дойти туда ему не удалось. Едва он отошел на несколько шагов, как был окружен толпою возбужденных людей в длиннополых кафтанах и остроконечных колпаках. Это была небольшая кучка рассеянных алебардистами стрельцов.

— Стой! — заорал один из них, хватая Михаила за ворот кафтана. — Что за человек? Наш аль немецкий?

Молодой Каренин, по голосу узнавший говорившего, ловким движением освободился из рук стрельца и даже успел дать ему легкого тумака.

— Чего лезешь, Еремка? — зыкнул он. — Иль не признал?

— Свой, свой! — заорали стрельцы, узнавая его. — А проклятого оборотня не видали?

— Какого еще оборотня?

— Да тут Нарышкиным царем прикидывался и черную смерть на Москву напускал.

Михаил, конечно, знал, в чем дело: не раз он видел у пастора человеческий костяк, но вновь зашевелившееся неприязненное чувство к молодому царю не позволило ему разубедить буянов.

— Выдумаете тоже! — пробормотал он. — Оборотень!

— Не веришь? Спроси Телепня и Кочета... Они собственными глазами все видели... А потом Кочет оборотня в проулке встретил. Хотел, перекрестясь, наотмашь двинуть, как по закону полагается, а тот толькодохнул на него, Кочет и свалился. Словно ветром сдуло...

Потом оборотень сразу утроился — вместо одного три их стало и из глаз исчезли.

— Голове да дьяку об этом беспрерывно рассказать надобно, — слышались голоса.

— Так идем, чего мешкать-то! — крикнул кто-то. — Вот опять немчины с алебардами на нас бегут!

Действительно, к стрельцам с воинственными криками приближались кучки кукуевских алебардистов.

Те уже по опыту знали, каковы будут последствия столкновения, и ударились наутек, увлекая за собой и Михаила.

Судьба как будто сама распорядилась братьями: младшего подтолкнула в сторону царя, старшего — к его гонителям.

## XV

### Царевна-богатырша

«Стрельцы, стрельцы!..» — пошло по Москве, и притихла столица, чувствуя страшное. Всякое приходилось испытывать москвичам: пожары, мор, потоки крови человеческой видели и теперь нутром чуяли — беды грядут. И вместе с тревогой в души москвичей проникал гнетущий страх. Вон опять своевольные стрельцы производили буйство в Кукуй-слободе, и никто, решительно никто, не может унять их.

Шептали по Москве всякое. Царь Петр, с детства припадочный, в Кукуй-слободе пропадает, табачище курит, вино с девками пьет. Жена его, красавица Евдокия Лопухина, слезы горькие льет, очи ясные туманит. А Софья-правительница с Голицыным совсем стыд потеряли. Быть беде великой. И стрельцам ее удержу нет. Любит она их, стрельцов-то и их главного воеводу, Федора Шакловитого, которому поручила вести стрелецкий приказ, и ни во что не считает население

Москвы.

— Боек царь Петр Алексеевич, — говорили всюду на Москве, — да он все-таки — царь, а царевна Софьюшка что ей бояре прикажут, то и творит. Бояре же народу всегда первые враги были, добра ждать от них нечего. Все гили ими устроены, чтобы народ прижимать.

Такие разговоры велись всюду, и только глухой не слышал их. Глухой иль влюбленный. Как Софья. Иль ее ближайший друг и советник, князь Василий Голицын, «оберегатель». Только, сказывают, и они московскую чернь слышали...

Как-то в первых числах августа Софья и Голицын сидели в одном из покоев большого дворца. Князь Василий Васильевич был невозмутимо спокоен, а на лице властной дочери Тишайшего царя будто бури похаживали, вспыхивали щеки, блестели глаза.

— Не могу я терпеть более! — жаловалась она. — Уж хоть один конец. А то как жить, когда ни в тех, ни в сех находишься и видишь, как подлые людишки только что в глаза над тобой не смеются?!

Князь Василий равнодушно взглянул на

нее.

— Это ты все ссору-то с братом забыть не можешь, свет Софьюшка? — спросил он. — Пустое это, оставь!

— Как я могу оставить? — опять заволновалась правительница. — Разве я мало работаю, мало тружусь, чтобы врагу свое место уступать? Нет, Васенька, вижу я теперь: на Москве нам двоим не быть. — Ее глаза метали молнии, голос становился хриплым. — Только ты один у меня и есть, — снова заговорила она, — только для тебя одного и живу я, а не то давно в обитель ушла бы... Да как я уйду, ежели знаю, что без меня тебя сейчас же со света сживут?.. И ничто-то его не берет! — с новой вспышкой гнева выкрикнула царевна-правительница. — Другой на его месте давно окачурился бы, а ему все ничего. Мало его в детстве винищем опаивали — выбрался!

— А если умрет он, — наставительно сказал красавец Г олицын, — то может большая смута быть, и мы с тобой, Софьюшка, тоже все потерять можем.

— Будто уж так его любят, нарышкинского царька? — горько усмехаясь, спросила Софья.

— Ну, там любят или нет, это — дело другое, а законным помазанником Божиим его считают.

— Пусть себе считают! Как хочу я, так тому и быть должно. Я правительницей буду! А если Петр умрет, а Иван останется, смуты никакой не выйдет.

— Но ведь и братец твой Иванушка не долговечен, — возразил было Голицын.

Глаза Софьи блеснули недобрыми огоньками.

— Будет жить, пока я того хочу! — крикнула она.

— А потом?

На мгновение вопрос как будто смутил правительницу, но она быстро оправилась и резко ответила:

— Что потом, то видно будет! То один Господь ведает!

Неожиданно распахнулись двери и вбежал, даже не доложив о себе сперва, высокий, мощного вида человек в богатом кафтане и шапке окольничего. Шакловитый, знаменитый стрелецкий вождь, правая рука правительницы во всех ее темных делах.

— Матушка-царевна, — быстро заговорил он, — прости, что ворвался и беседе твоей помешал! Дело такое, что никак ждать не может!

— Что такое? — резко спросила царевна. — Опять что-нибудь с братом младшим? Что он натворил?

— Он не он, а из-за него все. Мои стрельцы будоражат, как и сдержать их — придумать не могу...

— Что же еще такое приключилось?

На лице Софьи ясно отразилось любопытство и тревога. Поджал губы Голицын, сдвинул соболиные брови.

Шакловитый взглянул на нее, откашлялся и выразительно заговорил:

— Докладал я тебе, мать родимая, что по стрелецким караулам под вечер разъезжал тут боярин Лев Кириллович Нарышкин и хотел бить и мучить всячески моих стрельцов...

— Оставь! — крикнула на него царевна. — Нечего мне сказки говорить, правду докладывай! Будто я не знаю, что то не Нарышкин был, а твой же содруг, подьячий Шошин.

Шакловитый не смутился и дерзко смот-

рел на правительницу.

— В самом деле, Федя, — примирительно сказал князь Голицын, — об этом мы все знаем. Нет ли у тебя чего новенького?

— И новое есть, князь Василий Васильевич! — переводя на него свой взор, ответил Шакловитый. — Были тут мои молодцы в Кукуй-слободе и видели там молодого царя Петра Алексеевича... Не в обиду будь тебе сказано, матушка-царевна, видели они его там за таким делом, какое московскому царю вовсе не подобает...

— Что же, что такое? Опять в канаве валялся? — быстро спросила Софья.

— Нет, это что! К такому виду никому в Москве, а тем больше в Преображенском не привыкать стать!.. Видели брата твоего, Софья Алексеевна, — уже нагло и дерзко заговорил Шакловитый, — со смертью бок о бок. Ишь ты, чародействовал он! С сухими человеческими костями без кожи, крови и мяса разговор вел и на Москву смерть уговаривал идти и погулять там, сколько ей вздумается. Сперва-то ребята думали, что оборотень, а потом порешили, что от Нарышкиных все

## XVI

### На все готовый

Он остановился, как бы ожидая, что скажут в ответ на его речи Софья и Голицын. Правительница сидела понурившись, князь Василий Васильевич усмехнулся, насмешливо поглядел на Шакловитого и спросил:

— А ты сам-то, Федя, веришь этому? Веришь ли, что человек может с сухими костями другого человека беседу вести и от этих костей целому городу что-нибудь худое приключиться может?

— Прости меня, князь Василий Васильевич, — неприязненно взглядывая, ответил Шакловитый, — о том, что в царевых войсках происходит, я государыне нашей доклад делаю и ни одного слова о том не лгу, а верю я тому или нет, про то я сам знаю...

— Ты меня пойми, Федя! — остановил его князь. — Ведь это я все к тому сказал, что человеческий костяк ты и у меня в палатах видел. В той же самой Немецкой слободе он

мною куплен, и оба мы с тобой по нему разбирали, где у человека какая кость находится...

— Опять-таки, — нахально перебил его стрелецкий вождь, — про то я тебе ничего не говорю. Я лишь про то рассказываю, что в стрелецких приказах, караулах да слободах говорят. А что об этом говорят, так, ежели хочешь, сам послушай. Вот пойдем, проведу я тебя в любую слободу, ты и услышишь сам. А что царь Петр Алексеевич на Москву смерть насылал, так об этом все стрельцы во весь голос кричат и на Преображенское идти собираются. Как бы беды какой не вышло... — Он понизил голос. — Вот сегодняшнюю ночью около самых царских палат дважды избы загорались. А кто поджигал?.. Судом спрашивать будете — ничего не скажу, а ежели так побеседовать, по душам поговорить, так и это мне ведомо... А еще вам скажу: по всей дороге от Преображенского до Москвы нарышкинского царя караулят. Должен же я вам рассказать обо всем этом. Если беда случится, с кого спросится? Все с меня же! А я в ответе быть не хочу; как вы мне укажете, так и будет. Только одно мое последнее слово: не сдержат мне

стрельцов. Ну, там день-другой как-нибудь уговорю, а дальше мое слово бессильно будет, не слушают. Приказывай, матушка-царевна, как быть? Поставь вместо меня другого; может быть, он лучше со стрельцами управится, а мне не вмоготу.

Шакловитый замолчал. Софья передернула плечами, словно холодок топора почувствовала на шее. А вдруг?.. Кто спасет тогда? Федька первый отвернется. А этот? — боязливо взглядывала на своего фаворита. Красивое лицо Голицына по-прежнему было совершенно покойно и бесстрастно.

— Вот что, Федор, — сказала царевна, — больно ты великое дело нам доложил, как быть — не знаю. Нужно бояр созвать и с ними порешить, без них что я?

Голицын глянул на нее с ехидцей, но тут же опустил глаза.

— То-то, матушка! — восторженно воскликнул Шакловитый. — Да ты на народ свой напраслину взводишь! Все мы — твои рабы и дети, за тебя животы наши положим. Хотим мы, чтоб ты над нами была царицей, а Нарышкиных не желаем. Решись, слово ска-

жи — и все по-твоему будет.

— А Москва? — тихо спросила царевна.

— Что Москва? — выкрикнул Шаклович-тый. — Москву и в счет ставить нечего: Москва туда пойдет, на чьей стороне одоление будет. А Нарышкины? Что они сделать могут?

— Слышишь, сердечный друг, что говорит Федя? — обратилась к Голицыну Софья. — Не то ли самое и я тебе говорила? Нет более сил терпеть мне такую муку... Да и зачем терпеть ее? По отцу Петр — брат мне. Но что же это за родство? Ведь я ему ненавистна так же, как и он мне. Но пусть я и он... Что мы? — только смертные люди... Но за нами Русь... Если сдам я царство Петру, что из этого будет? Все он по-своему перевернет и переломает всю землю нашу так, что кусочка на кусочке целого в ней не останется. И ослабеет Москва, всякая смута разведется. А соседи кругом так и сторожат нас... И будет то, что уже не раз было: новое лихолетье настанет. Все на нас кинутся и будут наследие нашего брата, отца и деда растаскивать... Вот что будет, если Петр на царстве останется... Того ли ты хочешь? Или не

жалко тебе ни земли нашей, ни народа родимого?

Все это Софья проговорила с яростной пылкостью, похаживая по горнице. Голос у нее грубый, почти мужской, широкие плечи, высокая фигура. Произнося слова, Софья то и дело повышала тон. Ее грудь от волнения высоко-высоко подымалась, глаза сверкали.

Князь Василий Васильевич, к которому она обратилась, ничего не ответил ей; он только молча смотрел на любимую женщину, любуясь пылкостью и страстью, которые дедали красивым мужиковатое лицо Софьи.

Восторженными глазами следил за правительницей и Федор Шакловитый, сам взрывной и яростный, он хоть сейчас готов по ее приказу в огонь и на плаху.

— Матушка-царевна! — не вытерпел, пылко воскликнул он. — Великую правду ты сказать изволила! Сам Господь глаголет твоими устами. Дедовщиной только и держится святая Русь. Всякие новины — гибель для нее, и погибнет она, родимая, если твой брат на царстве будет! Чует это твое стрелецкое войско и не хочет, чтобы брат от Нарышкиной царем

был. Повели только — и спасем мы нашу родину от нового смутного времени... Все будет ладно, слово только скажи!

И он снова устремил на Софью свой пылающий взор.

Но царевна молчала: страшно было то слово, которого требовал от нее Федор Шакловитый, рискованный человек.

А мил дружок? Софья взглянула на Голицына: князь по-прежнему был бесстрастно спокоен. Хитер, красавчик, ох, хитер...

— Ступай, Федор, иди, — проговорила медленно правительница, потупляя взор, — а мы тут еще об этом подумаем, да я потом позову тебя.

Шакловитый в пояс поклонился Софье, отвесил почтительный поклон князю и вышел из покоев.

## XVII

### Надорванная мощь

После ухода Федора Шакловитого и царевна, и князь Василий долго и тяжело молчали. Обоих охватывали тревожные, мутившие их дух, лишавшие их покоя мысли.

— Ну, что ты скажешь, оберегатель? — подняла наконец опущенную голову неукротимая царевна. — Вот ушел Федя, а неведомо, что он нам назад принесет.

— А то скажу, Софьюшка, — мягко и даже нежно ответил князь Василий Васильевич, — что боюсь я, как бы беды не было.

— Беду ты провидишь? — воскликнула Софья. — Или боишься ты?

— Пожалуй, что и боюсь, Софьюшка, — по-прежнему ласково проговорил князь, — и как не бояться? Ведь против царя с пьяной сволочью идти мы с тобой задумали.

Царевна презрительно засмеялась.

— Не холопья ли кровь в тебе заговорила? — не сдерживаясь, воскликнула она.

Голицын побледнел, но переборол себя.

— А что же? — как будто совершенно спокойно отнесся он к явному оскорблению. — Ведь мы, бояре, все — холопы царей... Пока царей не было, мы ближние люди при великих князьях были, а потом блаженной памяти государь-царь Иван Васильевич воочию показал нам, что мы только — холопы. Так с тех пор и повелось... Служим мы своему господину и от него жалованье свое получаем. И не у одних нас так, — так везде. Зарубежные-то государства я знаю. Там то же самое. Тамошние-то вельможи — холопы еще хуже...

— А я-то как же ничего не боюсь? — перебила его рассуждения Софья Алексеевна. — Мне, кажись, больше всех бояться должно.

— Да по тому самому, Софьюшка, что ты Петру — сестра, а не холопка... Вы с ним равные. Одна кровь, одна плоть... Оба вы, как себя помнить начали, нами повелевали, а сами, кроме Бога, батюшки да матушки, никого не слушались.

— А вот люблю же я тебя... холопа! — воскликнула пылко Софья. — Вровень пред Богом стоим, хоть и не венчаны!

— Только пред Богом, Софьюшка, — мягко

возразил Голицын, — только пред Богом, а не пред людьми... А пред Ним, Многомилостивым, и царь, и смерд одинаковы. Пред людьми же, родимая, никогда вровень нам стать невозможно. Не так люди на земле устроились, чтобы все вровень стоять могли. Вот и теперь начнет Федя смуту, а что выйдет? Одни люди за тебя пойдут, другие — за царя Петра Алексеевича, третьи — ни к нам, ни к царю не примкнут, будут выжидать, кто верх возьмет. И беда будет, Софьюшка, ежели не нам верх останется.

— Не пугай, оберегатель, — холодно произнесла она.

— Не пугаю, а размышляю, царевна мудрая, — в тон ей ответил князь, — оба-то мы с тобой не столь уже молодые — вот у меня вся голова седая, — чтобы без размышления на случай один полагаться. Случай слеп, летает быстро, не всякому в руки дается. А посему, надеясь па лучшее, ожидай допрежь сего худа: лучшее само придет, а от худа оберегаться надобно.

Царевна ничего не сказала. Ее голова опустилась на грудь, пальцы рук судорожно пе-

ребирали складки богатой одежды.

— Вон, — произнес Голицын, — приднепровский гетман едет... Поистине, гость хуже татарина, а принять его надобно.

— Ах, что мне до Мазепы! — с внезапным порывом воскликнула Софья Алексеевна. — Что мне до нарышкинца!

О тебе, свет очей моих Васенька, думаю, за тебя страшусь... что с тобой-то будет, ежели наше дело удачи не найдет?

— Что будет, то и будет, — спокойно проговорил Голицын.

— Тебе хорошо: мудрый ты, — чуть не плакала неукротимая женщина, — а мне каково? Как придет на мысль, что прикажет тебя казнить брат мой, ежели верх его будет...

— Что же, — по-прежнему спокойно отозвался князь, умереть сумею... Мне ли плахи бояться, ежели она мне немало служб справила! Сам под топор лягу.

— И надорвется тогда сердце мое... Ты под топор, из меня дух вон... Столько ведь лет...

Волнение пересилило ее. Куда девались ее неукротимость, непоборимая мощь! Сказалась женщина, и слабая женщина, сжигаемая

страхом за того, кто дорог ее сердцу.

Она приникла своей большой черной головой к широкой груди князя Василия Васильевича и зарыдала, громко, безутешно.

Голицын даже вздрогнул от удивления. Он не раз видел Софью Алексеевну в слезах, но то были не жалкие слезы отчаяния, в тех слезах неукротимой царевны изливалась досада, находил себе облегчение гнев. Таких же слез князь Василий Васильевич еще не видывал.

— Полно, Софьюшка, полно! — гладил он по голове, как ребенка, плачущую царевну. — Перестань тревожить себя раньше времени... Кто там знает, что завтра будет... Может, все по-нашему выйдет, а ты убиваешься.

Царевна продолжала рыдать.

— Софьюшка! — вдруг воскликнул вне себя от удивления Голицын. — Да ты как будто и сама в затеянное не веруешь?

— Ах, — ответила она сквозь рыдания, — чует мое сердце недоброе...

Она вдруг отстранилась от князя и, как будто успокоившись немного, отерла слезы.

— Вот чего я более всего боялся! — медленно и торжественно проговорил оберега-

тель. — Мощный дух надорван, веры в удачу нет... Теперь и я завтрашнего утра страшусь.

— А все-таки, — со злобой воскликнула Софья Алексеевна, — что там ни будет, а до конца пойду... Князь Василий Васильевич...

— Что, царевна?

— Поклянись мне на том, что тебе дороже всего, поклянись.

— В чем клясться приказываешь?

— Исполнишь ты, ежели удачи нам не будет, то, о чем я тебя просить буду?

— Царевна! И без клятвы знаешь, что исполню я...

— Нет, ты все-таки поклянись... Что тебе дороже всего? Да не теперь, Васенька, а потом... потом, когда беда настигнет... — Она остановилась и вопросительно поглядела на Голицына. — Ну, чего же ты, Василий, молчишь? Отвечай, что тебе будет и в беде дороже всего?

Князь Василий Васильевич и на этот раз медлил с ответом.

— Трудное ты меня спрашиваешь, Софьюшка, что мне дороже всего... Хорошо, отвечаю тебе по всей совести: дороже всего была

мне любовь твоя... да! Как оглядываюсь я назад, на те годы, что уже прошли, и вижу я в их тумане одну звезду — твою, царевна ненаглядная, любовь... А что впереди? Ой, ты вот сразу сказала то, что я с самого начала на уме держу: плохо я верю в удачу нашу... По всем видимостям так выходит, что за брата твоего больше народа стоит, чем за нас с тобою... Так что же вернее всего ждет меня впереди? Может быть, плаха да топор, может быть, опала лютая, застенок, может быть... Так вот что я тебе скажу: в хомуте ли, на дыбе, на плахе ли под топором, в опале ли лютой, куда бы ни послал меня твой брат, нас одолевши, память о твоей... о нашей любви лучезарным солнцем всегда сиять мне будет. И умру я, счастливые наши дни вспоминая. Вот что мне дороже всего. И этим, ежели приказываешь ты, поклянусь я тебе на том, что исполню все по слову твоему.

Софья так и вздрагивала вся, слушая Голицына. На ее лице сияли и радость, и счастье, и восторг.

— Васенька! — воскликнула она, бросаясь к Голицыну и обнимая его. — Верю тебе!

Счастлива я твоим словом!

Она и плакала, и смеялась, по ее лицу опять струились слезы, но это были уже слезы восторга. Голицын тоже был взволнован. Его красивое лицо было грустно.

— Так скажи мне теперь, Софьюшка, — проговорил он, — какое ты дело мне наказываешь, ежели худое выйдет.

— А вот какое, Васенька, — воскликнула Софья Алексеевна, — помни, что поклялся ты мне и что я твою клятву приняла.

— Сказывай, царевна, не томи.

— Ежели худое выйдет, — страстно заговорила Софья, чуть откидываясь назад и зорко впиваясь глазами в лицо любимого, — и брат-нарышкинец надо мной верх возьмет, так должен ты, князь Василий Васильевич, поехать к нему с повинной и челом ему о его милости ударить и тем свою жизнь спасти...

— Что! — воскликнул Голицын. — Ты этого от меня требуешь?

— Требую этого, и поклялся ты мне, что исполнишь... Ты, ты мне всего дороже. Хочу, чтобы жив ты был. Я с ним, с братом Петром, пока не преставлюсь, бороться буду и, кто

знает, быть может, верх возьму еще... Так на что мне над врагом одоление, ежели тебя на белом свете не будет... Хочу, чтобы жив ты был. У брата есть кому и похлопотать за тебя: князь Борис — двоюродный братец тебе, а он у брата Петра в милости.

— Софьюшка! — только и вымолвил Василий Васильевич.

Он привлек к себе эту могучую женщину, и оба они зарыдали в объятиях друг друга...

## XVIII

### Неразгоревшийся пожар

**А** Федор Леонтьевич Шакловитый уже начал то дело, в успех которого почти не верили ни неукротимая царевна, ни Голицын.

Он вышел из царевниных покоев страшно взволнованный, с лицом, надменно поднятым, с прищуренными глазами. Не кланяясь никому, с высоко поднятой головой вышел из дворца. Там, у крыльца, его ждала свита — богато разодетые стрелецкие головы и дьяки стрелецкого приказа, мигом подвели танцующего коня. Не взглянув, Шакловитый вскочил

на него и нервно рванул за поводья. Видно было, что он волнуется, и все, бывшие с ним, успели заметить это.

— Эй, Шошин! — крикнул он, подзывая к себе одного из дьяков, — Поезжай рядом, поговорить надобно.

Шошин, сопровождаемый завистливыми взглядами, выдвинулся и поехал рядом с окольниковичим.

— Ну, что, как у тебя там? — кинул ему Шакловитый.

— Все готово, милостивец. Повсюду стрельцы так и кипят, горят прямо, трудненько будет пожар потушить.

— Ничего, потушим, — небрежно ответил Шакловитый. — Не впервой ведь! Да, вот что: пусть сегодня по двенадцатому удару с Ивана Великого соберутся молодцы на Лыков двор... да пусть с пищалями придут, все как следует. А другие пусть соберутся на Лубянке и ждут...

— Ой ли! — воскликнул Шошин. — Стало быть, несдобровать Нарышкиным?

— Выходит, что так! — коротко ответил Шакловитый и сильнее погнал лошадь...

Ровно в полночь на Лыковом дворе в Кремле замелькали среди темноты зловещие фигуры. Это сходились стрельцы по зову Шошина. Шли без чинов, и скоро их собралось около тысячи. Однако вели себя пока тихо, и в такой огромной толпе заведомо буйных не слышать было не только криков или песен, но даже и разговора. Огней было мало — мрак колыхался...

Вдруг у ворот Кремля раздался топот копыт мчавшейся но весь опор лошади.

— Ой, товарищи, — вполголоса воскликнул сотник Гладкий, — не соглядатаи ли явились? Пойду посмотрю.

Все снова затихли. У ворот слышались говор, брань, потом шум драки.

Вскоре появился Гладкий, таща за собой молодого человека в дворцовом кафтане.

Это был спальник царя Петра Плещеев, прискакавший и Москву из Преображенского.

— По-моему, молодцы, вышло! — выкрикивал Гладкий. — Нарышкинский соглядатай явился. Тащу его к отцу нашему Федору Леонтьичу, пусть делает с ним что хочет.

Гладкий и Плещеев скрылись в дворцовых

сенях; на Лыковом дворе опять все стихло.

Так прошло около часа. Вдруг на одном крыльце распахнулись двери, замелькали багряные огни смоляных факелов, и показался Шакловитый, разодетый, как на пир, вооруженный, как для битвы. Сзади него шли несколько бояр. Багровое пламя факелов озаряло их своим зловещим, светом. Лица людей были бледны, бояре словно шли на казнь.

— Эй, молодцы! — первым нарушая тишину, громко крикнул Шакловитый. — Знаете ли вы меня? Знаете ли, кто я такой?

— Как не знать, Федор Леонтьевич? — слышались отдельные голоса. — Отец ты наш милостивый, а мы все — послушные дети твои...

— А вот я посмотрю, какие вы послушные дети... Знаете ли вы, зачем сюда собраны?

— Доподлинно, милостивец, не знаем, — выдвинулся Шошин, — а только ежели ты нас зовешь, так, стало быть, служба какая-нибудь есть.

— Вот именно! — ответил стрелецкий вождь. — Даром среди ночи не стал бы я вас звать, знаю, что ночью всем спать нужно, а

не колобродить; верно, нужна ваша служба царевне Софье Алексеевне... Милостива она к вам по-прежнему и жаловать вас будет, как детей своих родимых... Отвечайте же: готовы вы послужить ей?

— Еще бы! Умереть за нее, пресветлую, рады.

Шакловитый приостановился, вынул из-за пазухи большой свиток и, не развертывая его, заговорил снова:

— Знаю я, слуги царские верные, что всем вам ведомо, какие такие дела на Москве завелись... Православная вера находится в колебании, дедовские обычаи попираются, немчинские обычаи богомерзкие заводятся. Что тут долго рассказывать-то вам — сами, поди, знаете! Вот в Преображенском да в Семеновском растет новое войско... Вы своей грудью государство отстаивали, кровь на полях бранных проливали, а пройдет немного времени — и все ваши заслуги ни во что будут поставлены... Возьмут немцы верх над нашим отечеством, и будете вы хуже, чем скоты какие, прости Господи! Так вот и спрашиваю я вас: любы ли вам нарышкинские новшества, или

дедовская старина вам по сердцу?

В ответ ему раздался сплошной рев.

— Умрем за дедовскую старину! — орали во всю мочь. — Не нужно нам немчинских свычаев! Без них жили, без них и впредь жить будем.

— Так, так, деточки! — кричал, надсаживаясь, Шакловитый. — А знаете ли вы, кто все это заводит?

— Нарышкины! Нарышкины! — слышались исступленные крики.

— Верно! Теперь я у вас вот это спрошу: ежели вам в палец заноза попадет, что вы делаете?

— Вестимо, вытащить нужно! — выкрикнул Шошин. — Не вытащишь, так и вся рука, а нет, так и сам весь от огневицы пропадешь.

— Так-так, справедливое слово, — переждав, продолжал Федор Леонтьевич. — Стало быть, занозу всегда надо вытаскивать, чтобы самому в лютых мучениях не пропасть. Нарышкины — та же заноза! Идите же, молодцы, вытащите ну занозу! Спасайте Москву, государство все спасайте. Сослужите великую службу родимой земле, промедлите — худо

будет.

Стало на минуту неожиданно тихо.

— А как же с царем быть? — слышался из толпы робкий возглас. — Царь-то Петр Алексеевич ведь тоже Нарышкин?

Шакловитый поднял руку.

— Какой он царь? Один у нас царь, Богом помазанный, — Иван Алексеевич! А по слабости его здоровья всем государевым делом вершит любимая мать наша, родимая царевна Софья Алексеевна. А нарышкинское отродье, по Божьему попущению, доселе тоже царем называется. Всех нарышкинцев надо истребить, все их скверное племя, да так, чтобы на развод не осталось. А если кто сомневается, что я правду говорю, так вот вам указ боярской думы и царевны нашей; глядите сами, вот он! Кто осмелится ослушаться Богом поставленной над нами власти, идти против указа царевны?

— Никто, никто, все, как один, пойдем! — заревели стрельцы.

В это время Шакловитый развернул во всю длину свиток, внизу которого была ясно видна печать царевны-правительницы. Это про-

извело впечатление. Крики на мгновение смолкли, но сейчас же возобновились, и в них уже была ярость. Запыхало дело...

— Сейчас же пойдём на Преображенское! Найдем проклятого оборотня! Выведем нечисть с нашей земли! Все пойдём!

— Идите, родимые, идите! — осипло воскликнул Шакловитый и отодвинулся в сторону.

Сейчас же из-за него показалась фигура в черной мантии.

— Иоаким! — крикнул кто-то.

— Отец родимый! — охотно подхватили многие глотки. — Патриарх!

И многим почудилось: а и верно, патриарх с нами! И голос вроде Иоакима.

— Господь вас да благословит, — вещал старческий голос, — на великое дело спасения веры православной и страны родимой.

Фигура в черном подняла вверх руки.

И началось!

Толпой овладел невыразимый восторг. Одни плакали и целовались, лезли на крыльцо, кланялись в ноги стоявшим, лобызали их руки; другие умиленно крестились, и никто не

заметил, как двое стрельцов отделились из толпы и выскользнули за кремлевские стены.

— Послужим царевне! — ревела толпа. —  
Покончим с Нарышкиными! Пусть их и на  
племя не останется!

Пропал патриарх! В сторонке Шакловитый. Толпа с Шошиным во главе рванула к воротам кремля. Заревели, заорали. Факелы горели чадно...

— Что, бояре, каково? — спросил Шакловитый.

— Да уж что говорить, Федор Леонтьевич, не ускользнет, поди, теперь нарышкинский вороненок.

Шакловитый усмехнулся и, повернувшись, пошел во дворец.

# ХІХ

## Ночные гости

Страшное задумывалось дело, кровавое. Куда ты идешь, святая Русь? Почему перестал народ бояться Бога? Зачем руку на молодого царя заносят? Знать, кровавые уроки Бориса Годунова, Дмитрия Самозванца не прошли бесследно. Помазанник Божий перестал быть священным для толпы.

А что Петр? Где он в эту ночь? Беспечно и крепко спал юный царь в своей опочивальне, утомленный ласками молодой жены. Но вокруг скромного дворца в Преображенском чуяли беду: недаром накануне ночью сами собою вспыхнули в городе пожары, и только расторопность людей не дала им разгореться.

Старым людям было ясно: поджоги эти — чтобы произвести около дворца сумятицу, посеять страхи. Верные слуги поглядывали в тревоге: ну как нахлынет буйная толпа, и лихо случится...

Переминаются молоденькие часовые — что от них толку-то...

Но вот в ночной тишине раздался дикий топот копыт. Во весь опор мчалась ко дворцу, не разбирая дороги, группа всадников.

— Отворите, отворите! — раздался у калитки женский голос. И какой-то высокий, рослый человек так застучал в ворота, что этот неожиданный стук среди ночи донесся до царской опочивальни и разбудил юного царя.

В мгновение Петр был на ногах. Босой, в рубахе.

— Господи, Мать Пресвятая Богородица! — пробудилась молодая царица Евдокия Федоровна. — Что же это такое? Да неужели же опять подожгли? Свет ты мой, Петрушенька, прикажи им уняться! Царь ты ведь!

— Молчи! — крикнул ей Петр и выбежал из опочивальни.

— Государь! — встретил его встревоженный спальник. — Повели, как тут быть. Прискакал из Кукуй-слободы немчин, а с ним немчинская девка простоволосая да два московских стрельца; требуют, чтобы тебя разбудили, а не то, говорят, всем худо будет. Прикажи прогнать, пусть утром приходят.

Глаза Петра сверкнули: только что-нибудь

важное вынудило его друзей из Немецкой слободы примчаться и Преображенское, в его дворец в эту пору.

— Стрельцов сюда, в этот покой! — крикнул он, указывая на соседнюю комнатку. — Поставить караулы, не выпускать их никуда и к ним никого не допускать, а тех двух немчинов ко мне! И одежду мне!

Спальник бесшумно исчез, вернулся с одеждой, Петр яростно засовывал ноги в башмаки. Опять эти безбожники стрельцы! Когда же он раздавит их проклятые змеиные гнезда?! А все сестра со своим Васенькой! Ад-баба! Все от нее! Вся смута, весь раздор!

И вдруг запрыгали мысли: а если опять стрельцы взбунтовались? Что тогда? Бежать, бежать надобно! Догонят, убьют, зарежут.

Петр заметался, длинный, ломкий, тощий, совсем не царского вида парень с выпученными глазами.

А во дворе будто бы крики, вроде бы и огни... Господи, спаси и помилуй!

Вдруг он весь вздрогнул: дверь хлопнула, спальник ввел в покой царя мужчину и женщину.

Первый был завитой и надушенный Лефорт, вторая — Анна Монс.

— Государь! — задыхаясь от волнения, воскликнула Анна. — Среди глубокой ночи примчались мы сюда, чтобы сказать вам, что Москва против вас!

## XX

### Смущенный царь

Анна говорила по-немецки. Слова вырывались у нее с торопливостью, совсем не соответствовавшей ее обычному спокойствию. По всему было видно, что она безмерно торопилась. Ее щеки разгорелись огнем, все лицо было покрыто крупными каплями пота, непокорные золотистые волосы выбились из-под платка. Анна была замечательно хороша. Нервное возбуждение еще более оживило ее лицо, и юный царь даже отступил назад, невольно любуясь ею. Он даже немного успокоился при виде ее. Успела одеться — так не бегут от беды.

— Москва против меня? — сказал он довольно спокойно. — Не может того быть,

фрейлейн Анхен!.. Что-нибудь набуянили стрельцы, и вы приняли их обычное буйство за мятеж...

— Нет, нет! — перебила Анна. — На сей раз не обыкновенный беспорядок: огромная толпа идет сюда, чтобы убить вас!..

— Меня? Убить? — Петр побледнел, схватился руками за голову. Копья, копья, красные факелы, орущие рты увидел он — это из недалекого детства, из страшных дней...

— Убить, меня убить, — хрипло повторил он, — да разве это возможно?

— Возможно, государь! — продолжала Анна. — Я была в Москве, у знакомых моего отца, и там узнала все. Правительница издала об этом указ, и Шакловитый послал сюда людей... Понимаете, правительница...

— Сестра! — простонал Петр, дико озираясь. — Она, она дерзнула... Милый Франц, неужели все это — правда?

— Государь, — выступил вперед Лефорт, — увы, это — правда... По дороге сюда мы нагнали двух стрельцов. Они ужаснулись, когда услышали о задуманном преступлении, и мчались сюда, чтобы предупредить вас. Вы, госу-

дарь, можете спросить их сами.

— Что же делать, Франц? — забегал по комнате царь. — Здесь, в Преображенском, нет даже моих потешных. С десяток наберется — и все.

— Я послал за ними, государь.

— Но успеют ли они явиться?

— Увы, государь, не могу поручиться за это. — И низко поклонился.

— На помощь вам, государь, — вмешалась Анна, — явятся все наши алебардисты; я послала верного человека к господину Гордону.

— Но и они могут опоздать, — поспешил вставить свое замечание Лефорт, — стрелецкая ватага уже на полпути.

— Что же делать? — вырвался стон у Петра. — Я погиб!.. О, Господи!

Он заметался по покоям. Страшная гримаса исказила его лицо, словно он почувствовал острие копья под сердцем.

— Господи! Дитяtko мое ненаглядное! — раздался женский вопль. — Опять стрелецкая напасть нас постигла!

— Свет мой Петрушенька, лапушка мой ненаглядный! — смешался с этим воплем дру-

гой. — Да как же это так? Да где же это в писаниях есть, чтобы супротив царя бунт подымать, на него, помазанника, дерзнуть?.. И ночью-то покоя нет! Лапушка!

К Петру с двух сторон кинулись две женщины. Одна была почти старуха, другая — совсем молоденькая. Обе они дрожали от испуга, плакали и причитывали. Обе обнимали Петра и своими воплями еще более нагоняли страху, лишали его в эти роковые мгновенья, когда жизнь всех троих висела на волоске, всякой способности думать и решать. Это были мать и жена Петра, царицы Наталья Кирилловна и Евдокия Федоровна.

Петр заметался: все, гибель, конец! Смерть лютая! Его взгляд ошалело пробежал по располневшей фигуре жены: как?.. Вместе с нею должен погибнуть и кто-то третий, быть может, наследник! Его царского престола!

Сердце болезненно сжалось... Голосили женщины-царицы, неподвижно стояла Анна. Душно было в покоях, где-то, кажется, бил колокол. Шло время, летели минуты...

— Государь, — резко заговорила Анна, выходя вперед, — пока человек живет, он не

мертв... Отчаянье — последняя ступень к гибели! Женскими слезами вы не спасетесь! Нужно действовать! Будьте мужчиной!

Анна говорила по-немецки. Царицы не понимали этого языка, но для них было вполне достаточно того, что простоволосая «дев-ка-немчинка» осмелилась первая заговорить с царем. Они даже замолчали, и Петр пришел в себя, жестом руки отстранил обеих женщин и отрывисто, также по-немецки, спросил:

— Что же мне делать?

— Бежать! — разом, в один голос, ответили ему Анна и Лефорт.

— Бежать? — удивился царь. — Куда?

— Государь, — заговорил теперь Лефорт, — совсем недалеко есть великолепная крепость, уже не раз изумительно выдержавшая труднейшую осаду. Я говорю про монастырь, в котором похоронен чтимый вашим народом человек. Идите туда, укройтесь там. Там вы будете под защитою святынь. Ваши монахи — не ваши стрельцы, они сумеют защитить вас. Да их защиты и не нужно. Пусть они примут и укроют вас хотя бы до утра. Нам нужно выиграть время. К утру я успею привести к мо-

настырю наших потешных, а господин Гордон — своих алебардистов и мушкетеров... Этого будет вполне достаточно. Не все стрельцы возмутились. Вашим врагам удалось взбунтовать не более как полторы тысячи отчаянных головорезов. Правительница вовсе не желает народного бунта; она добивается вашей... вашего ухода и думает, что для совершения такого достаточно нескольких головорезов. Пора, государь. Сейчас уходите.

И снова поклон, легкий, изящный, и улыбка, легкая, тревожная, и немигающие твердые глаза.

— Так надо, государь!

— Да, да, государь, послушайте господина Лефорта! — воскликнула Анна. — Поверьте ему!

# XXI

## Бегство

**А**нна так увлеклась, что, не обращая внимания на цариц, схватила Петра за руку и порывисто толкала к двери. Царицы переглянулись. Вспыхнуло яркою краскою стыда хорошенькое личико молодой Евдокии, ее глаза заблестели огоньками ревности и гнева.

— Свет Петрушенька! — воскликнула она. — Выгони вот эту бесстыжую! Как она, мерзкая, тебя, помазанника, смеет так хватать? У, простоволосая! Прогони ее скорее, не то я ей сейчас глаза выцарапаю!

Это была первая вспышка, такую Петр никогда еще не видал жены. «Ишь, разъехалась, тетеха!»

Царь грозно взглянул на Евдокию Федоровну, так грозно, что один его взгляд заставил молодую царицу задрожать всем телом, а потом отрывистым, звенящим голосом сказал:

— Если бы вы понимали обе, что говорит эта милая, достойная девушка, вы поклонились бы ей в землю.

— Как? — взвизгнула Евдокия. — Мы? Царицы?

«Рот закрой — воробей влетит!» — подумал Петр, стыдясь перед Анной.

— Матушка, возьми Дуню! — велел он матери. — Оденьтесь обе, нам сейчас уехать нужно будет! Спешно уехать!

Наталья Кирилловна сумела сохранить достоинство.

— Куда, сын мой любезный? — спросила она глуховато.

— К Троице-Сергию, родимая... Да немедленно! Сюда идут стрельцы, подговоренные Софьей погубить всех нас... Ты, родимая, сама знаешь, что может быть, когда они найдут пас здесь...

О, Наталья Кирилловна знала!.. Ужасом наполнилось ее сердце, прервалось дыхание. Поискала глазами образа, закрестилась, зашептала.

— Матушка! — нетерпеливо притопнул сын.

— Пойдем, Дунюшка, пойдем скорее! — засуетилась она. — Слышишь, к Троице-Сергию ехать надобно... Пойдем, милая, собираться

скорее.

— А эта немчинская девка здесь останется? — упиралась Евдокия.

— Не останется она, по государеву делу она здесь!

И, схватив молодую ревнивицу за руку, царица-мать потащила ее вслед за собой во внутренние покои. Лефорт едва сдерживал улыбку, хоть не время было для веселья.

— Это — ваша жена, государь? — спросила Анна Монс. — Право, она очень мила...

Петр засопел: у-у, тетеха! Анна много слышала о грубости, ревности и невыдержанности московских женщин, видывала и «бои» стрельчих, но никогда не могла представить себе, чтобы молодая царица так забылась. На миг ею овладела неприязнь к этой хорошенькой «кукле», как она мысленно назвала Евдокию, но, понимая всю важность мгновения, девушка сумела совладать с собою.

— Очень, очень мила, государь...

— Да, да, — ответил Петр, — вы не сердитесь на нее, фрейлейн Анхен: она у меня живет по-московскому.

И отвернулся, кусая губы: ой, как стыдно!

Ладно Лефорт — тот хоть привык к выходкам Евдокии, а вот Анна... «У, тетеха, кувалда московская! — мысленно бранился царь. — Оставить бы тебя здесь — узнала бы, как друзей порочить!»

Петр стал отдавать распоряжения: приготовить для женщин колымагу, а для него и для его невеликой свиты оседлать коней.

— Я, государь, — услышал он нежный голос Анны, — если позволите, отправлюсь с вами в монастырь...

— Со мной? Вы?! — изумленно воскликнул Петр.

Еще несколько минут тому назад Монс даже и не думала о поездке вместе с царем и его семейством, но грубая выходка молодой царицы задела ее самолюбие. Ей захотелось хоть как-то отомстить другой женщине за надменность и тупость, хоть уколоть ее, а там — будь что будет. Притом тут действовало и другое соображение. Как там пастор говорил? «Приковать Петра цепью любви»? У Елены не вышло, а вдруг у нее, Анны, получится?

Ей это неожиданно взбрело в голову, сей-

час, ночью, в душной царевой горенке, взбрело, да и засело намертво. Вот возьмет Анна да и станет Юдифью для этого московского Олоферна! Не дура же она, не урод, да и царь Петр очень ей нравится. Носится шалый мальчишка — глаза испуганные, бедненький!..

Анна улыбнулась ему, и Петр с благодарностью улыбнулся ей в ответ.

— А что? — стиснул он ее плечи, заглянул в глаза. — Поехали!

Оглянулся на Лефорта. «Так, правильно!» — кивал тот.

— Спешите же, государь! — заторопил Петра Лефорт. — Вам еще нужно взглянуть на ваших друзей стрельцов, мне же позвольте откланяться... Что бы там ни говорили, а наши потешные, если только дойдет до драки, сумеют постоять за себя.

— Стрельцы?.. — Петр, уже не слушая его, прошел в соседний покой. Там томились двое стрельцов, перепуганные одной только мыслью о цареубийстве, на которое подстрекали их, — Михаил Феоктистов и Дмитрий Мельков.

Увидав царя, пали на колена и нестройно

заголосили:

— Здрав будь, государь царь великий, Петр Алексеевич!

— С чем вы? Какое у вас до меня дело? — грозно сверкнул на них своими черными очами царь.

— Прости, государь милостивый, — опять заговорили стрельцы, — неповинны мы в том... Все проклятый Федька Шакловитый да сучий сын Шошин... Они — тому делу главные затейники: указ царевны Софьи Алексеевны показывали, говорили, что всех Нарышкиных извести надобно, потому что от них всякая зарубежная нечисть на Руси заводится... Мы же твое царское величество упредить прибежали и просим за то твоего великого жалованья: помилуй нас.

Стрельцы замолотили лбами об пол.

— Ну, там я посмотрю, чем вас пожаловать, — уже почти ласково произнес Петр, — столбами ли с перекладиной или чем другим. Вставай! Еду я на великое богомолье к Троице-Сергию и вас с собою беру.

— Милостивец ты наш, — вскочили на ноги стрельцы, — солнышко наше красное! Гру-

дью своею постоим за тебя, а врагу не выдадим! Царь наш пресветлый!

Их восторг был искренен, Петр видел это, и надежда опять посетила его душу.

«Не все еще потеряно, — подумал он. — Ну, Софьюшка, сестрица милая, видится, что потягаемся еще мы с тобой!»

Уже совсем бодро, высоко подняв голову, пошел он из покоя, сопровождаемый стрельцами, лица которых сияли радостью.

Лефорта уже не было, возвращения царя ожидала одна только Анна.

— Фрейлейн, — церемонно кланяясь ей, сказал Петр, — прошу вас занять место в колымаге вместе с моей матушкой и супругой.

— Ну уж нет, государь! — тряхнув головой, весело ответила Анна Монс. — На коне я сюда примчалась, на коне и далее последую. Что мне собою ваших дам в колымаге стеснять.

— Но разве вы не устали? Ведь всю ночь напролет!

— Не бойтесь, я вынослива!

— Пусть будет, как вы того желаете, — согласился с улыбкой Петр.

Они вышли. Царицы были уже усажены в

колымагу, остальным были подведены оседланые кони.

Прошло немного времени, и весь поезд почти бесшумно скрылся в предрассветном мраке.

## XXII

### Потухший пожар

**П**ыль, стук тележных колес, крики возниц по Москве. Все словно от Мамая бегут — старые и малые, богатые и не очень. Торопятся: не дай Бог опоздать — царь в измене обвинит. Хоть и молод Петр Алексеевич, а крутоват, полетят с плеч головы. Едут бояре именитые, едут которые попроще, переговариваются: как он там, что слышно?

А слышно вот что...

Петр и его семейство благополучно добрались до Троице-Сергиевской лавры и с великим почетом были приняты архимандритом Викентием и иноками святой обители.

А в Преображенское с Шакловитым во главе той ночью ворвалась буйная ватага стрельцов, из которых многие уже оказались пьяны-

ми. Шакловитый смело и дерзко постучал в ворота дворца: он по приказанию правительницы явился, пропустить! Пропустили, и он сейчас же убедился, что тех, кого он искал, уже нет во дворце. Ехидно улыбались холопы, пальцем тыкали, а у Федьки холодный пот проступил при одной мысли, что Петр и Нарышкины успели уйти. Был расчет разом, вдруг кончить кровавое дело, и тогда московский народец примирился бы с этим, и ходи, Федя, в героях. А крикунов мигом уняли бы. Теперь все изменилось. Если царь ушел из Преображенского, значит, узнал, что готовилось для него, значит, заговор открыт и Петру известно все, что было на Лыковом дворе.

Петр обратится к народу, и народ пойдет к нему, а уж если народ сдвинется — никакая сила не справится с ним...

Бросил Шакловитый в сердцах шапку под ноги и вскочил на коня.

А наутро, после тревожной ночи, загремели по всем московским дорогам телеги да кареты, торопясь в лавру к царю. Одним из первых явился стрелецкий полковник Циклер, с ним — стрелецкие головы, рядовые стрельцы,

всего более 50 человек. Явились они не с повинной, а затем, чтобы защищать царя от «злых ворогов».

— Государь наш батюшка! — кричали один другого громче. — Не вели казнить, вели службу служить!

И уже героями похаживали по лагерю, что раскинулся возле лавры, покрикивали на нерасторопных.

А что Софья? Где она? Напрасно она издала указ: никому не сметь уходить из Москвы без ее ведома. Ишь, указчица какая! Народ перестал повиноваться ей и шел толпами к государю-заступнику. Сбивая зевак, шли скорым шагом преображенцы потешные, парни рослые, суровые. Сверкая латами, шли немецкие войска, во главе их — на тяжелом коне насупленный Патрик Гордон. Объявил, что будет повиноваться только законному царю Петру.

Стрельцы уже в панике покидали полки — к Петру.

Сухарев стрелецкий полк явился в лавру в своем полном составе.

Софью покидали все. Даже сестры, Марфа и Марья Алексеевна, вместе с престарелой

теткой Татьяной Михайловной, тоже собрались из Москвы в Троице-Сергиевскую лавру «на богомолье».

Тигрицей металась неукротимая по своим покоем. Умоляла сестер устроить ей примирение с братом. Петр не пожелал их слушать.

Софья упростила поехать к царю патриарха Иоакима — результат был тот же. Сам патриарх себе-то едва отмолил прощение: злые языки донесли царю, что Иоаким благословил стрельцов на цареубийство. Истоиво клал поклоны старец: как перед богом говорю — не было такого!

Софья отправилась сама, но дальше Воздвиженского ее не пустили. Посидела в грубой колымаге да и повернула восвояси. И к чему приехала? Все бояре, кроме Голицына и его сына, бросили царевну.

Пятого сентября Петр торжествовал в лавре свою победу над врагами. Колокола гремели, валился народ на колени, смотрел слезно: Господи, какой праздник-то! А что там про Федьку слышно? Всяко говорят. Царь будто бы приказал разыскать Шакловитого и ближних его помощников-соучастников: Розанова,

Гладких, Петрова, Чермного. Уже был наряжен суд и во главе поставлен один из самых лютых против Софьи боярин Тихон Никитич Стрешнев, железный человек.

...В тот же день к Троице-Сергию прибыл князь Василий Васильевич. Бледен и горд вошел к царю. Петр более чем милостиво отнесся к нему, приказав отъехать на житье в Вологду. Не хотел Петр погибели разумника-вельможи, а вот ретивый Шакловитый, пес поганый Федька, тот куда как опасен. И ничем его не проймешь — даже кнутом.

— Выдать! — приказал царь.

Всю душу Софьи перевернуло: ведь Федор — вернейший из ее слуг! Она сделала последнюю попытку спасти его: ринулась к старшему царю Ивану Алексеевичу, остававшемуся в Москве. Но тот, слабенький, даже не пожелал видеть ее... Софья послала верных людей молить о защите ее и Шакловитого пред братом.

— Я, царь, — тихо ответил Иван, — не только из-за такого злодея, но даже и из-за нее, царевны, не хочу ссориться с братом!

Это было последним ударом. Софья поняла,

что пора заботиться уже о себе, и решила пожертвовать Шакловитым, чтобы спасти свою жизнь. Велела позвать его...

О чем говорили — никто не ведает, только Шакловитый исповедался, причастился и, плача, может быть, в первый и последний раз в жизни, простился с царевной и сам отдался в страшные руки Стрешнева.

Жестокий век, жестокие сердца!.. Софья кусала губы. Вот тебе и Федька! Без клятв и уверений, не дрогнув, пошел на страшные муки, на ужасную смерть. Он погибал за нее, за свою святыню. Софья из ничтожества подняла его, он отплатил ей жизнью, погибая за ее дело. Не юлил, не просил — нес повинную голову на плаху. Истинно русская душа.

## Розыск с пристрастием

Одно из зданий Судного приказа старой Москвы было особенно мрачно. Его высокие окна из такого толстого стекла, что даже самые зоркие глаза не могли бы рассмотреть, что творится внутри. В этом мрачном здании обширный подвал со сводчатыми стенами. Мрачный низкий потолок глушил всякий звук, а сквозь непомерно толстые стены ничто, даже самый громкий вопль, не вырывался наружу.

Под окнами стоял большой стол, длинный и широкий, покрытый темной материей. За ним — кресло и несколько табуретов. На столе разложены толстые темные книги в кожаных переплетах. Поодаль, у других стен, были расставлены предметы, никогда в обычном обиходе не употребляемые: кобылы — толстые круглые бревна на неуклюжих подставках-ножках, по стенам висели клещи, ломы, тиски, разных форм воронки. В углу свален пук коротких и долгих палок и лежали пуки

веревки. Около стояла большая жаровня. В двух местах в потолок были вбиты крюки, и через них были пропущены порядочно обтертанные веревки, один конец которых был раздвоен.

Этот мрачный покой был застенков, тот самый застенков, в котором так «геройствовал» Малюта Скуратов и в котором после него подвизались неизвестные истории, но столь же усердные к своему делу его преемники. Много человеческих мук видели эти толстые стены, страшные вопли боли и отчаяния глушили они, но все, что свершалось здесь, вершилось «во имя правды», ради «достижения правосудия».

В один дождливый октябрьский вечер 1689 года в застенке заметно было большое оживление.

Гордо подняв голову, расхаживал по подвалу заплечный мастер — палач, высокий рыжий детина, великан с необыкновенно длинными руками. Он громко покрикивал на своих подручных, которые возились около свисшей с потолка веревки и около жаровни, отбирали пушистые веники с сухими листьями,

размахивали плетьюми из жгутов, свитых из воловьей шкуры. Ясно было видно, что в застенке в этот вечер готовилось что-то необычайное.

— Шевелись, ребята! — гнусаво покрикивал заплечный мастер, — Не каждый день такие куски к нам попадают! Надоело кости всяких смердов ломать; чуть плеть увидят — хныкать начинают, а клещи покажешь — визгу не оберешься.

— Да, пришлось-таки поработать! — отозвался один из подручных. — Давно не было столько работы.

— Ну что там за работа была! Стрельчишки разные из всяких гулящих, никчемных людей. А тут честь на нашу долю такая великая выпадает: знаешь, поди, сам, кто такой Федька Шакловитый был?!

— Еще бы, окольниковый!

— То-то и оно, главный стрелецкий воевода... Эва, куда занесся, а наших рук все-таки не миновал... Эх, и потешим мы Федьку, так потешим — до конца дней своих не забудет!

Подручные засмеялись.

— Чего вы? — крикнул им заплечный ма-

стер.

— Да как же «чего»? «До конца дней не забудет»! Ведь не сегодня завтра нам на лобном месте работать над ним придется, а ты — «до конца дней не забудет»...

— Ну, пока там лобное место — это еще впереди, а вы теперь, ребята, пред боярином-то Стрешневым лицом в грязь не ударьте... Постарайтесь!

— Да уж ладно! Чего там! Постараемся! — раздались веселые ответы.

В страшном покое темнело все более и более. Лился за стеной дождь. В полутьме кроваво-красным глазом казалась разгоревшаяся и чадившая углями жаровня. Ее свет был ничтожен. Зажгли светцы, горевшие также весьма тускло. Заплечные мастера разбрелись по углам в ожидании начала своей страшной работы, а боярин Стрешнев как на грех все не шел в застенок, да не вели и Шакловитого, для которого и собраны были сюда все эти страшные люди.

Вдруг где-то в отдалении раздались шум, хлопанье тяжелых дверей, людские голоса.

— Идут! — так и встрепенулись все в за-

стенке.

Действительно, скоро шум и голоса раздались у самых дверей; они с визгом распахнулись, и вошел высокий старик-боярин с истомленным суровым лицом.

Это и был Тихон Никитич Стрешнев, которому Петром был поручен розыск, судебное следствие или расправа над главными злоумыслителями августовского покушения.

Не ошибся Петр в своем выборе: лют был боярин Стрешнев! Милославские были его давнишними врагами, и он рад был причинить им всякое страдание, а так как не достать ему их было, то он был готов выместить свою яростную злобу на тех, кто служил им.

Вошел боярин, все оживились вокруг.

— Здравствуйте, мастера! — сказал Стрешнев, даже не двигая своей седой головой. — Работишка есть для вас, постарайтесь...

— Здрав будь, боярин! — с поклоном ответили мрачные люди. — Работы мы не боимся. Приказывай только, все справим.

— То-то!

Боярин прошел к столу, снял свою высокую шапку, расправил бороду и уселся в сред-

нее кресло.

Вместе с ним вошли дьяк Судного приказа, подьячие с засунутыми за уши гусиными перьями, и тут же следом ввели дрожащего молодого парня в сильно изорванном стрелецком кафтане, а за ним, окруженный молодыми потешными (стрельцам уже не доверяли), гордо выступая, высоко подняв красивую голову, шел окольный Федор Леонтьевич Шакловитый. Парень в стрелецком кафтане был Кочет.

Едва только Шакловитый приблизился к столу, как Стрешнев, словно подкинутый пружиной, вскочил с кресла и закланялся с увеличенным почтением узнику.

— Феденька, друг! — воскликнул он. — Вот и здесь привелось встретиться... Что поделаешь-то? Встречались прежде в палатах царских, а теперь вон, сам поди знаешь, какой здесь дворец!

— Брось, боярин, — презрительно усмехнулся Шакловитый, — к чему все это? Делай свое дело.

— Да ты что, Федя? Никак гневаться изволишь? Грех тебе, стыдно! — притворно огор-

чаясь, воскликнул Стрешнев. — Для тебя же, сердечный друг, стараюсь. Разве мы не свои? Поклеп тут на тебя взведен, так нужно же правду разыскать. Ведь нехорошо, Федя, ежели ты в подозрении останешься.

## XXIV

### Допрос

**Ш**акловитый презрительно усмехнулся. Стрешнев искоса взглянул на него и тоже засмеялся. Он подождал, не скажет ли чего-либо окольниковый, потом, поманив к себе Кочета, сказал:

— А ну-ка, молодец, пожалуй сюда...

Кочет метнулся вперед и у самого судейского стола упал на колени.

— Ой, боярин-милостивец! — заголосил он. — Не буду! Богом клянусь, никогда не буду...

— Да ты чего это, Кочет? — представился удивленным Стрешнев, — Чего ты не будешь?

— Ничего не буду, как есть, ничего... И детям, и внукам, и правнукам закажу, чтобы они оборотней и во сне не видывали!

— Далеко хватил, парень! — усмехнулся Стрешнев и, многозначительно крякнув, прибавил: — Про детей да внуков ты нам не говори: еще не видно, будут ли они у тебя или нет! Ты нам про себя лучше поведай... Правду скажи: видел оборотня-то со смертью?

— Ой, государь-боярин, видел, вот как тебя вижу. Царев облик оборотень принял, и смерть около него...

— А ну-ка, ну-ка, расскажи! — сказал Стрешнев.

Кочет заговорил. Его голос дрожал и срывался, но говорил он правду. Без всяких прикрас рассказал о своих ночных похождениях в Кукуй-слободе и только на одном стоял неотступно, что видел в пасторском домике оборотня в образе царя, а около него — костлявую смерть.

— Так оборотня-то своими глазами видел? — добродушно усмехаясь, спросил боярин.

— Его, боярин милостивый, его самого, неумытого, вот как тебя вижу, — опять повторил Кочет свою фразу, очевидно казавшуюся ему убедительною.

— Так, так... Ну, а кто тебя научил так говорить?

Кочет смутился.

— Никто, боярин... Что было, то говорю.

— А я тебе говорю, что нет! — вдруг, меняясь, загремел боярин. — Враги царевы приказали так говорить тебе, негоднику, чтобы смуту на Москве развести! Сейчас говори, кто?

Кочет растерянно молчал.

— А, не хочешь сказывать! Ворогов укрываешь! Так мы тебя заставим сказать невольно! Послушаем, какие ты у нас песни запоешь! Эй, кат!

Выдвинулся заплечный мастер, двое его помощников очутились за спиной Кочета.

— Помилуй, боярин! — ударился тот лбом о пол. — Все я сказал.

— Врешь! Окольничий Шакловитый тебя не научал этакие слова говорить?

— Да я, боярин, Федора Леонтьевича только издали видел, слова у меня с ним сказано не было.

— А вот это мы увидим, — сказал боярин Стрешнев. — Так что же, молодец, скажешь ты нам или нет, кто тебя научал на это дело?

— Полно, боярин! — с презрением глядя на него, сказал Шакловитый. — Ну чего ты еще время понапрасну теряешь: «кто сказал, кто наущал»... Никто неповинен, сам я творил все! Вот тебе и весь сказ!

Стрешнев вскинул на него злой взор и ехидно засмеялся:

— Погоди, Федор Леонтьевич, какой ты скорый! Знаем мы твою доброту да любовь к этой стрелецкой братии! Ты и всяческую напраслину на себя готов склепать, только бы своих молодцов вызволить, а правда от этого умаление терпит... Нет, ты уж погоди!.. Эй, кат! — Злые глаза боярина так и сверкнули; он крикнул: — На дыбу!

Помощники палача схватили Кочета и потащили его к спущенной с потолка веревке с двумя концами. Несчастный стрелец страшно завопил. Шакловитый отвернулся в сторону; он знал, что ему ничего не поделать, что его самого ждет куда горшая участь...

— Вы молодца-то, заплечные мастера, прежде на кобыле растяните! Может, он, как вы его плетью погладите, упрямиться перестанет и всю правду выложит, — сказал

Стрешнев.

В один миг несчастный Кочет, обнаженный и неистово вопивший, был разложен на бревне так, что его ноги и руки спускались с обеих сторон кобылы, а на ней оставалось лишь его туловище.

— Какую, боярин, прикажешь? — подошел к Стрешневу с двумя ременными плетями заплечный мастер. — Большую иль малую?

— Великое дело было ими задумано, так с большой и начинай.

## XXV Дыба

**П**алач швырнул одну из плетей в угол, другою же сильно взмахнул несколько раз в воздухе; каждый раз при взмахивании слышались свист и щелканье.

— Ой, ожгу! — вдруг как-то особенно дико выкрикнул он, после чего взмахнул рукой, и плеть со свистом опустилась на спину Кочета.

Тот страшно взвизгнул; на его спине сразу же вздулась широкая багрово-красная полоса.

— Что, не под веничек ли прикажешь, боярин? — спросил палач.

— Вот-вот, старайся, молодец! — было ответом.

Плеть всё чаще и чаще замелькала в воздухе, вопль истязуемого стал непрерывным; вся его спина, с которой плетью сорвана была кожа, обратилась в одну сплошную рану, местами вздувшуюся пузырями, местами кровоточившую.

— Погоди, погоди, мастер, — остановил палача Стрешнев. — Дай малому передохнуть! Да и ты, поди, устал, сердечный?

— Ничего, — сумрачно ответил палач, — нам это дело привычное.

Кочета сняли с кобылы и подвели к судейскому столу.

— Ну, что, добрый молодец, — совсем ласково спросил допросчик, — не вспомил, кто науцал тебя на великого государя небылицы взводить?

— Ох, боярин-милостивец! — завопил молодой стрелец. — Все я тебе сказал, все! Да и ничего я про великого государя и не говорил... Про оборотня я болтал... Так нешто обо-

ротень-то — великий государь? Так, нечистая сила.

Боярин, покачав головой, возразил:

— Упорствуешь ты, молодец; столь молод и столь упорен, нехорошо это... Про Бога вспомни! Взгляни-ка, люди над тобой умаялись, Их бы пожалел, сказал бы святую правду... Бог-то правду видит. Ну, что же ты?

Кочет молчал. Стрешнев взглянул на Шакловитого; тот поймал этот взгляд и опять презрительно усмехнулся.

Боярин не выдержал и, нахмурясь, грозно закричал:

— Эй, кат, подвесь-ка его да попарь ножки веничком, ножки ему нагрей; авось с пылу-то, как согреется, и молчать не будет!

Кочет стоял, дико озираясь по сторонам. Он весь дрожал, то и дело поводил языком по воспаленным сухим губам. Палачи опять схватили его и подтащили к спущенной с потолка веревке.

В один миг руки, истязуемого были закручены за спину и на кисти каждой из них надеты петли, которыми заканчивались концы веревки. Все стихло в застенке. Горящими

злостью глазами смотрел на приготовления к пытке Стрешнев. По-прежнему отвернувшись в сторону, стоял Шакловитый. О чем он думал в эти страшные мгновения? Быть может, о том счастье, которое было так близко и вдруг выскользнуло из его рук, а быть может, о том, что ждет обожаемую им царевну, от которой он видел столько добра, а быть может, вспоминал свои поездки с послами в роскошный Стамбул, великолепную Венецию, гордый Рим... Но его лицо было невозмутимо спокойно, ни тревоги, ни страха не отражалось на нем.

А заплечные мастера сноровисто вершили свое ужасное дело. Трое из них схватились за свободный конец веревки и стали тянуть его к себе. Веревка натянулась, тело Кочета поднялось на воздух и наконец повисло на руках. Слышался хруст костей, вопли несчастной жертвы становились все громче, все жалобнее. Но не поддавались еще суставы. Кочет висел на руках, но он был слишком легок, чтобы вывернуть их. Тогда палач бросился к нему, схватил его стан и сам повис на нем. Раздался нечеловеческий крик; кости хруст-

нули так сильно, что этот хруст раздался по всему застенку, и тотчас же вышедшие из су-ставов руки вытянулись вдоль головы.

— Чисто сделано, боярин! — хрипло выкрикнул палач. — Эй, давай сюда веник!

Один из подручных подбежал к нему с веником, на котором горели все листья и прутья. Палач схватил его и что было сил принялся хлестать по исполосованной спине Кочета.

— Ну что, молодец, скажешь? — спросил Стрешнев.

— Ой, не мучьте меня, убейте лучше! — закричал стрелец.

— А ты правду скажи! — наставительно произнес боярин. — Кто тебя наущал?

— Все сказал, что мне ведомо было... все...

— А, так ты! Подогреть его!

Под ногами истязуемого очутилась жаровня. По всему застенку распространился запах паленого мяса. Палач, с которого пот катился в три ручья, уже переменял несколько горящих веников. Кочет затих.

— Довольно, боярин! — крикнул палач. — Взгляни...

Стрешнев подошел. Несчастный Кочет был без чувств.

Боярин махнул рукой, и помощники палача приспустили веревку. Старший палач схватил тело жертвы, освободил петли и понес Кочета в угол. Руки несчастного, вывернутые из плеч, болтались во все стороны.

Осторожно спустив его в углу, палач ловким и быстрым движением вправил вывернутые руки на место и затем отошел в сторону, а его помощники стали лить на голову Кочета воду, стараясь привести его в чувство, может быть, для новых пыток...

— И неженки же у тебя, Федор Леонтьевич, твои ребята! — засмеялся Стрешнев. — Чуть что им не по нраву — и дух вон сейчас.

Шакловитый ничего не ответил. Он устремил взор на дверь, ручка которой шевелилась. Дверь отпахнулась, и в застенок вошел высокий немчин, сопровождаемый двумя другими.

Шакловитый вскрикнул, увидав его. Это был царь Петр Алексеевич, одетый в немецкое платье.

## От ужаса к счастью

Была уже совсем поздняя ночь, когда в Кукуй-слободу, к дому виноторговца Иоганна Монса, примчались со стороны Москвы двое всадников. Тот из них, который был повыше и поплотнее, сильно застучал молотком в дверь. На стук выбежала служанка со светцем в руках и, отворив дверь, отступила назад, воскликнув:

— Царь!

— Тс! — крикнул Петр. — Простой я гость здесь у вас. Принимайте! Хозяин дома?

— Нет, господин в Москве.

— А фрейлейн?

— Фрейлейн Анхен дома...

— Так я пройду к ней... Павел, ты пригляди за лошадьми...

— Повинуюсь, государь...

— Так ты подожди меня немного, авось не прогонят... Я вышлю сказать, ежели останусь...

И Петр, не обращая внимания на служан-

ку, быстро прошел в покои монсова дома.

— Господи! — всплеснула руками служанка. — Что-то будет... Господин Монс уехал в Москву до завтрашнего дня, а царь-то как будто хочет ночевать остаться.

— А что ж такое? — спросил Павел Каренин. — Опоздился он, а завтра ему чем свет нужно на Москве быть.

— Да как же? Ведь дома одна только фрейлейн...

— Наш царь ее не съест! — засмеялся юноша. — Иди-ка ты, иди!.. Посмотри, долго ли мне еще торчать здесь.

Служанка ушла, и Павел остался один, заметно нервничая. Напрасно он старался заняться лошадьми, расправляя их гривы, подправляя седельные подпруги — его мысль невольно возвращалась к тому, чему свидетелем он только что был.

Где-то далеко вверху слышалось хлопанье дверей, и по лесенке застучали башмаки возвращавшейся служанки.

— Иди, молодец, куда тебе надобно, — довольно чисто по-русски сказала она, приоткрывая дверь, — заночует ваш царь здесь, у

нас. Уже на погреб за вином послали. Фрей-лейн Анхен сама хлопочет ради гостя дорогого...

— Ин и хорошо! — проворчал Павел, вскакивая на коня.

— Завтра чем свет разбужу... Не пугайтесь, ежели застучу сильно.

Он кивнул головой и умчался, уводя с собою и вторую лошадь.

Павел отправился к домику фрау Фогель, где ему никогда не отказывали в приюте. Добрая была женщина фрау Юлия и, как своих собственных сыновей, любила обоих молодых Карениных, да мало того, что любила, но и, как любящая мать, страдала за них. Она видела, что на душе и у того, и у другого творится что-то неладное, что между ними пошел какой-то разлад. Оба они были прежде веселы, а теперь стали грустны; прежде были дружны между собой, теперь же словно кошка черная пробежала промеж них... И что более всего удручало ее, так это то, что они, прежде никогда ничего не таившие от нее, вдруг отделились от нее и ушли глубоко-глубоко в самих себя. Добрая женщина не пони-

мала, что это значит, но своей душою скорбела.

...Вряд ли в доме Монса ожидали такого гостя в такую позднюю пору, но вида не подали. Встретила прибывшего Матрена Ивановна Балк, или «Балкша», сестра Анхен, вертевшаяся в отцовском доме в ожидании событий, которые могли быть выгодны для всей этой семьи...

— Ой, ой! — приседая, воскликнула она. — Сколь великая честь!

— Ладно! — грубо оборвал ее гость. — Анхен-то спать, что ли, легла?

— Как же, государь, как же. Что же и делать молодой девице в ночную пору? Спит моя нежная кенарочка и, быть может, во сне своего героя видит!

— Кого? — нахмурился Петр.

— Героя... Ведь у каждой молодой девушки непременно в мечтах свой герой есть...

— Кто же он такой?

В голосе позднего гостя зазвучали грозные нотки.

— Кто это знает, государь, — залепетала испугавшаяся Балкша. — Разве вам неизвестно,

что это — сокровенная тайна девичьего сердца?

— А вот я сейчас узнаю эту тайну. Пусть проснется фрейлейн Анхен и придет побеседовать со мной.

Тон, которым отдано было это приказание, был таков, что Балкша затрепетала, но ей, к ее счастью, не пришлось исполнить приказание... Дверь вдруг отпахнулась, и в покое, где происходил этот разговор, появилась сама Анна.

— Вы?! Здесь?! — воскликнула она как будто с изумлением, хотя ее костюм показывал, что она и не думала еще ложиться в постель. — Чем обязаны мы, скромные люди, такой чести?

Поздний гость огляделся, и его взор остановился на Матрене Ивановне.

— Поди-ка ты вон, — приказал он грубовато-дружески, — мне тут с Анхен о разных делах побеседовать нужно... Да пусть там вина из погреба принесут.

Балкша, все время дрожавшая, моментально исчезла.

— Государь, что это значит? — с деланным

удивлением воскликнула Анна. — Я совсем не узнаю вас.

— А то значит, — последовал быстрый ответ, — что пропало для меня все то, что позади меня... Жажду новой жизни... Помнишь, как ты ко мне ночью в Преображенское примчалась? Так вот тогда ты мне и новую жизнь привезла... Хочу я жить по-новому, не как старики живали... Сегодня в застенке последки с себя стряхнул.

— Боже! — воскликнула на этот раз с действительным ужасом Анна. — На вас кровь!

— Перепачкался! — равнодушно ответил гость. — Вот, — вернулся он к прежней теме, — пришел я сюда, к тебе, спросить: ты мне новую жизнь привезла, так хочешь ли ты и делить ее со мной?

— Государь!

— Отвечай: да или нет! Не хочешь ежели, так силой возьму, и будет по-моему. С тысячами совладал, так с тобой-то одной совладаю. Отвечай без уверток!

Анна искоса взглянула на своего собеседника. Его молодое красивое лицо искажалось судорогами, глаза сверкали, как раскаленные

угли, он весь трясся, как с холода.

— Государь, — тихо сказала девушка, — когда я входила сюда, то слышала, что вы спрашивали у моей сестры о том, какой герой царит в моих девичьих мечтах... Позвольте же мне спросить вас: сами-то вы не знаете ли? Когда девушка, забывая все, ночью мчится, чтобы спасти человека от смертельной опасности, какое чувство руководит ею?

— Анхен! — хрипло выкрикнул гость, бросаясь к прелестнице Кукуя и схватывая ее в свои объятия. — Так это я — твой герой!

— Вы запачкаете меня, государь, — отстранилась Анна, на платье которой остались большие кровавые пятна, — вам непременно нужно переменить ваш камзол; пойдете ко мне наверх, в гардеробе моего отца найдется пригодное для вас одеяние...

## XXVII

### Среди сомнений

Когда Павел примчался к дому фрау Фогель, она только что уложила спать детей и готовилась стать на вечернюю молитву.

— Павлушенька, что с тобой? — воскликнула она, когда Павел, поставив лошадей в конюшне, вошел в ее покой. — Посмотришь-ка, на тебе лица нет!

— Мать, мать, — дрожащим голосом произнес Павел, — какого ужаса я только что был свидетелем...

— Ты говоришь: ужаса? Но где же ты был?

— В застенке!

— Ты был в застенке?

— Да, царь Петр приказал мне сопровождать его... видишь, на мне нерусское платье... С нами был господин Брюсс, а потом пришел господин Вейде; господа Гордон и Лефорт отказались туда идти... Я же не смел послушаться...

— О, Боже!.. Что же ты там видел, дитя?

— О, я до сих пор еще не могу прийти в се-

бя, опомниться... Он был герой, мать... Как я хотел бы в преданности и любви походить на него...

— Про кого ты говоришь, дитя? — сама вся дрожа, спросила госпожа Фогель. — Кого ты называешь героем?

— Окольничего Шакловитого... Его пытали сегодня в застенке, заставляя сказать, что царевна Софья Алексеевна приказала ему убить всех Нарышкиных, а вместе с ними и царя Петра...

— И правда это, дитя?

Павел поднял голову и взглянул на госпожу Фогель совсем взрослым серьезным взглядом.

— Кто знает, — сказал он.

— А Шакловитый разве не повинился под пыткой?

— Не застонал даже... А как его пытали... как пытали! В аду грешников не так истязуют! Из его истерзанного тела раскаленными клещами вырывали куски, клинья забивали под ногти... на дыбе встряхивали... Ведь старались и заплечные мастера, и боярин Стрешнев. Сам царь тут был и на эти страшные пыт-

ки смотрел... Любо ему было смотреть! Глаза то и дело взблескивали... А Шакловитый поносил его и славил царевну, возносил ее выше небес и лишь тогда замолчал, когда чувств лишился... Должно быть, и сам грозный царь пожалел его. Боярин-то Стрешнев еще хотел пытаться, а царь приказал оставить. Завтра казнят окольного...

— Завтра? — вскрикнула госпожа Фогель. — Так скоро?

— Царь повелел. Он сам тайно будет на казнь смотреть. С тем и сюда заночевать прибыл.

— Где же он, у кого?

— У Монсовых...

Лицо доброй женщины подернулось грустью, на глазах проступили слезы.

— Ты видел ужас, Павел, — дрожащим голосом произнесла она, — ужас, ни с чем несравнимый... Человек истязал человека, чтобы услышать от него правду, и не услышал того, что хотел. Но Божья воля тут ясна. Если мучили окольного невинно, то свыше ниспослано ему это тяжелое испытание. Если же запирался он, то его постигла кара Божья за

совершенные грехи. Что такое человек? Ничто, трава полевая. Ни единый волос не спадет с его головы, ежели на то не будет воли Господа. Помни это, милое дитя, помни и не ропщи. Бог управляет сердцами царей, и часто делают они то, что нам, простым смертным, непонятно. Вот и теперь...

Госпожа Фогель запнулась и покраснела. Воображение быстро нарисовало ей такую картину: чистенькая, с величайшей аккуратностью прибранная горница, в ней полумрак, слышатся страстный, прерывистый лепет, поцелуи, вздохи... Потом, словно из тумана, выплыло чье-то молодое красивое лицо, лицо Анны Монс, первой красавицы Кукуевской слободы.

— Что теперь? — возвратил ее к действительности вопрос Павла.

— Теперь?.. Что теперь? Да кто это знает? Быть может, готовятся беспримерные события... Теперь на распутье стоит все твое отечество, Павел, и кто знает, какой дорогой и куда пойдет оно... Но, смотри, уже поздно! Ляг и усни; ты должен, как я поняла, встать очень рано... А где твой брат? Отчего я не вижу его?

— Не знаю, — грустно ответил Павел, — Михайло против царя был... Как бы греха из сего не вышло...

— Будем молиться, чтобы Господь отвел все беды от нашего милого Михаила, — проговорила добрая женщина. — Так иди же, отдохни!

Павел с величайшим почтением поцеловал у нее руку и пошел наверх в светлицу, где для него и его брата всегда были приготовлены постели.

Долго-долго еще не могла заснуть Юлия Фогель. Ей мерещились то истязуемый Шапловитый, то Анна Монс, то Петр.

Добрая женщина слышала, как, едва забрезжился рассвет, поднялся Павел; потом слышались топот и фыркание коней... Заснула она только тогда, когда все затихло.

Павел прибыл к дому Иоганна Монса как раз вовремя: Петр проснулся и спрашивал его. Едва явился Каренин, царь уже вышел на крыльцо, его лицо так и сияло довольством и счастьем.

— На Москву теперь, молодец! — бодро и весело крикнул царь. — Будем гнать вовсю!

Поспеть надо, пока там еще народ не проснулся.

Садясь на коня, он оглянулся. Павел следил за его взором, в доме Монса было открыто окно, и была видна Анхен, нежно глядевшая на царя.

## XXVIII

### На Красной площади

**В** то пасмурное туманное утро, 11 сентября 1689 года, гудела и кипела вся Москва, сходясь и сбегаясь со всех своих концов к Кремлю, где на лобном месте спешно заканчивались приготовления к позорной казни. Должны были казнить лютой смертью Шакловитого, а вместе с ним двух его преданных друзей — Петрова и Чермного; стрелецкому же полковнику Рязанцеву, пятисотенному Муромцеву и стрельцу Лаврентьеву, по нещадном битье кнутом, должны были урезать языки, а после того сослать в далекие сибирские города. Колесовать должны были гордую красу и опору всего могущества недавней правительницы; той же смертью должны были

умереть и его друзья.

Колесование было совсем новою казнию в Москве; как и многое дурное, оно занесено было сюда с европейского Запада.

Московский народ волновался в ожидании нового, невиданного зрелища, и — странное дело! — лиц, жалевших Шакловитого и его друзей, почти не было, и все боялись, что казнь будет отменена и осужденные будут помилованы.

Увы! Переменчивы людские настроения: еще недавно низкими поклонами встречали и провожали москвичи Федора Леонтьевича Шакловитого, когда он, гордо глядя, проезжал по улицам Москвы, а теперь отовсюду на него сыпались проклятья.

— Слышь, царь-то без пытки хотел казнить вора Федьку! — говорили в толпе.

— Без пытки? Ну, милостив же государь великий! Разве без пытки у таких злодеев правду узнаешь?

— Московские служилые люди, слышь, в Троице-Сергиево бить челом ездили, пред светлые очи государя были допущены...

— О чем бить челом-то собирались?

— Да все о том же, чтобы допрошен был вор Федька с великим пристрастием... Пусть выдал бы всех соучастников своих.

— И что же великий государь?

— Прогневаться изволил, очами заблистал и челобитчиков гнать велел. Он-де сам знает, как ему свое государево дело вершить. Показаниями федькиными он-де доволен, за усердие служилых людей он благодарит, а только им-де непригоже мешаться в государево дело...

— Ведут, ведут! — раздались крики.

На Красной площади показалась печальная процессия. К лобному месту вели осужденных. Впереди шли два стрельца с бердышами, они открывали шествие. За ними шла шеренга пеших стрельцов с пищалями, фитили были разожжены, и отряд в каждое мгновение мог дать залп по толпе, если бы она вздумала освободить приговоренных. За шеренгой стрельцов ехала поломанная грязная телега; не лошадь, а отвратительное костлявое животное волочило ее. На передке сидело омерзительное, пьяное, одетое в жалкие лохмотья существо, во все горло выкрикивавшее

что-то вроде песни. Москвичи хорошо знали эту телегу: в обыкновенное время на ней увозили с улиц всякую падаль. Теперь же за ней, привязанный к ее задку длиною веревкой, петля которой была захлестнута на его шее, брел окольник Федор Леонтьевич Шакловитый. Он был босой, но на клочки его изорванной нижней одежды был накинут боярский кафтан, а на голову была надета высокая шапка окольника. Его вывернутые и потом вправленные назад палачом руки скручены за спиной.

Шакловитый был мертвенно бледен, но шел на казнь с высоко поднятой головой. Огненным взором окидывал он ревешую на все лады толпу и, когда до его слуха долетали поносные крики, только презрительно улыбался.

За ним со связанными назад руками в невозможных лохмотьях, едва прикрывавших их изломанные тела, брели попарно четверо других осужденных. На шее каждого из них была накинута петля, а другим концом веревки они были привязаны к рукам своего вождя. Этим как будто хотели показать, что

Шакловитый, идя на погибель сам, вел вслед за собой и других...

Эти другие шли уже не так бодро и гордо. Лаврентьев и Рязанцев плакали, сравнительно спокойно держались Петров и Чермный. Для них все скоро должно было окончиться, наступал полный отдых и от земного кипенья, и от пыточных неистовств, а первым двум предстояла долгая мука — им была дарована жизнь...

Страшная процессия подошла к лобному месту. Там палач с помощниками возились около ужасных приспособлений для казни — двух сколоченных посреди крест-накрест бревен и огромного колеса с широким, в толщину человека, ободом. Один из палачей то и дело пускал в ход это колесо, заставляя его вращаться то тише, то быстрее; главный заплечный мастер, пробуя силу размаха, вертел над головой железным ломом порядочной длины. Остальные прилаживали к концам бревен петли-подвязки.

Толпа все это видела, видели это и осужденные...

К самому краю помоста вышел дьяк судей-

ского приказа и ровным, недрогнувшим голо- сом принялся читать вины осужденных. Дол- го тянулось это чтение. Сердечный друг ца- ревны Софьи, князь Василий Васильевич Го- лицын, за многие вины и своевольные при- теснения подданным великих государей и солдатам осуждался на ссылку в Пустозерск. Шакловитый с товарищами осуждался на смертную казнь. Далее шли уже легкие кары: битье кнутом, вырывание ноздрей, урезыва- ние языка, ссылки и разные государей неми- лости. О царевне правительнице не было ска- зано ни одного слова.

Когда кончилось чтение, дьяк что-то тихо сказал палачу и отошел в сторону. Кат живо кинулся по ступеням вниз и, схватившись за веревку, привязанную к шее Шакловитого, потащил его.

— Милости просим, боярин! — закричал он, — Пожалуй к нам на угощенье, не погну- шайся, угостим на славу! Мы такому имени- тому гостю рады.

Он выкрикивал это так, чтобы все кругом слышали, толпа, стоявшая вокруг, неистово гоготала. Подобные издевательства над осуж-

денными в то время были в большом ходу и, чем знатнее был осужденный, тем ядовитее насмехались над ним палачи.

Шакловитый взглянул на небо, на золотые кресты московских соборов и твердой поступью поднялся по ступенькам.

## XXIX

### Казнь души

**А** в это время в палатах, выходявших на площадь, где происходила казнь, у одного из окон стояли две женщины, заливавшиеся слезами. Одна из них была недавняя правительница, самодержица-царевна Софья Алексеевна, а другая — ее сестра царевна Марфа Алексеевна. Неукротима была дочь Тишайшего царя, но в эти страшные мгновенья женщина рыдала в ней. Ее насильно привезли сюда в это утро и насильно заставили быть в покоях, выходявших окнами на площадь, где должен был в страшных мучениях кончить жизнь преданный ей человек.

Ни Стрешнев, ни князь Борис Голицын, ни другие им подобные бояре, приверженцы

Петра, не решались прикоснуться к телу дочери того, чьими рабами и холопами они были всю свою жизнь. Но они придумали более страшную пытку для Софьи: решили не тело, так душу измытарить. И вот, приводя в исполнение свой гнусный замысел, они в надежде, что этим сыщут благоволение молодого царя-победителя, заставляли побежденную смотреть на предсмертные муки ее друзей.

Марфа Алексеевна, пожалуй, была столь же неукротима, как и ее старшая сестра. Вспыльчивая и впечатлительная, похожая характером на Петра, она кинулась к нему, пылая гневом, когда он не захотел видеть старшую сестру. Она накинулась на брата с таким остервенением, что тот был испуган, смущен и поскорее отослал Марфу на Москву. А она прежде всего явилась с утешениями к опальной Софье, и даже готовые на все бояре не смогли разлучить этих двух женщин. Зато они в отместку теперь заставили Марфу вместе с Софьей присутствовать при казни Шакловитого.

— Смотри, смотри, сестрица! — сквозь рыдания воскликнула Марфа. — Раздевают его и

привязывают.

Софья подняла голову и гневным, полным ярости взглядом вперилась в окно, выходящее на площадь.

Палач уже сорвал с Шакловитого его боярский кафтан и шапку и начал топтать их ногами, а в это время его помощники схватили несчастного и распяли на крестообразной перекладине. Его руки и ноги, вытянутые вдоль бревен, были привязаны к ним ремнями у кистей и у ступней; ремнем же он был привязан посредине туловища к крестовине.

— Ой-ой! — истерически вскрикнули обе царевны, дрожа от ужаса.

Но, как сильно ни было их волнение, они не могли оторвать взор от ужасного зрелища. Они видели, как палач взял в свои мускулистые руки лом, высоко взметнул им в воздухе и со всего размаха опустил его на локоть Шакловитого. Удар был страшен, все тело истязуемого рванулось вперед, и в это время палач с диким визгом нанес такой же удар по локтю другой руки. Тут он приостановился и стал отдышаться, опершись на лом.

Обе царевны плакали, не в силах удержать

слезы, которые сами струились из глаз. Затуманенными глазами смотрели они, как извивалось в ужасных судорогах тело Шакловитого на крестовине, а отдохнувший палач между тем продолжал свое отвратительное дело. Так же с перерывами, более или менее длинными, он перебил плечевые кости, бедра и голени и тогда отошел в сторону. При каждом ударе он дико взвизгивал, и вокруг него громко гоготала толпа, наслаждавшаяся страшными муками человека.

Должно быть, Шакловитый от нестерпимой боли лишился чувств, так как во все время не издал ни звука.

Невыразимое ужасное впечатление производила эта казнь: ни капли крови не было видно, палач наносил свои удары так, что ломал кости, но не разрывал наружные покровы. Когда его жертву отвязали от крестовины, то в руках палачей был уже не человек: перебитые руки и ноги болтались, как плети, но это было еще только начало...

Бесчувственного Шакловитого палачи начали поливать водой; лили ее не жалея и наконец добились того, что страдалец открыл

глаза и из его истерзанной груди вырвался тяжкий, надрывистый стон. Палачи только этого и ждали. Они схватили этот полутруп и вскинули его на широкий ободок колеса. Тело перегнулось, как будто в нем совершенно не было костей. Палачи привязали его ремнями, и опять раздался дикий, хриплый вопль старшего ката.

— Пускай сверху вниз! — приказал ему дьяк.

— Э-эх! — выкрикнул палач. — Вот что значит боярин-то: ему и тут везет... Нашего брата ногами вперед пускали!

Под колесо был вбит широкий ряд гвоздей, которые при вращении колеса рвали в клочья тело казнимого. Если пускали колесо так, что голова жертвы первою попадала на эти гвозди, то смерть наступала почти мгновенно; если же колесо пускали в обратную сторону, то казнимый умирал дольше, испытывая невыразимые муки. То, что Шакловитого приказано было колесовать «сверху вниз», было особенной милостью.

Царевны Софья и Марфа видели, как были кончены последние приготовления к колесо-

ванию. Они знали, что в эти страшные мгновения несчастный жив и чувствует все, и теперь вместо недавних отчаяния и ужаса уже страшным гневом кипела далеко не побежденная душа могучей царевны Софьи. Она видела, как палачи с возрастающей быстротой завертели ужасное колесо, она слышала дикий вопль, раздавшийся с места казни и заглушивший на мгновение неистовое гоготанье толпы. Теперь Софья уже не плакала, ее глаза горели, как горят глаза дикого зверя, когда пред ним уничтожают дорогое ему существо.

— Мученик, за меня мученик, — шептала она. — Но погодите, проклятые, расплачусь я со всеми вами... горшую устрою вам муку... Не впервой с московского престола русским царям в Польшу бегать... я, братец любезный, то тебе устрою, что само лихолетье светлым праздником покажется, нарышкинец проклятый!

А страшное колесо на площади все вертелось и вертелось, пока истомленные палачи не бросили его. Оно сразу остановилось. Труп Шакловитого застрял на гвоздях. Палачи за-

суетились около колеса, приподняли его; на нем висела уже почти бесформенная, вся окровавленная, изорванная и истерзанная масса, только отдаленно напоминавшая человека. С Шакловитым было все кончено, наступила очередь других. Страшные люди на роковом помосте уже размахивали плетьюми, готовились к новым казням.

### XXX

## Неукротимая

Царевна Софья закрыла лицо руками и, по-  
двинуясь какому-то душевному велению, опустилась на колени. Когда она встала, то у нее был совершенно спокойный вид.

— Ну, что ж, сестрица милая, — обратилась она к царевне Марфе, — чего еще-то смотреть? Достаточно нас позабавил братец милый. Князь мой Вася — по дороге в Яренск, боярин Леонтий — с ним по пути, а верный слуга мой Федя — в царстве небесном...

— Ха-ха-ха! — раздался сзади женщин глухой, грубый голос.

Софья и Марфа быстро обернулись. За две-

рями покоя стоял тот, кого они в эти мгновения ненавидели более всего на свете, — их младший брат, царь Петр. Он еще до казни стрелецкого вождя прискакал из Кукуй-слободы в Москву.

На нем было немецкое платье, и никто из московских людей не угадал в нем царя. Во время казни Шакловитого Петр был в соседнем покое и теперь не мог отказать себе в удовольствии dokonать вконец побежденную сестру.

— Вот, сестрица любезная, — проговорил он, делая шаг вперед, — добивалась ты меня видеть, вот мы и свиделись. Только коротки будут наши разговоры, хоть и давно мы с тобой не виделись. А наговорились-то мы друг о друге и в разлуке досыта... Что же, хочешь, я скажу тебе последнее мое слово?

— Говори, враг, нарышкинское отродье! — звучным голосом, полным ненависти, произнесла царевна. — Ну, что же? Я слушаю, что ты мне скажешь?

— Да то, сестрица любезная, — сдерживая себя, довольно спокойно ответил ей брат. — Видела ты это? — указал он на окно, выходяв-

шее на площадь. — Так это только для твоего любованья устроено. Знаешь что? Ведь я Федьки Шакловитого не казнил бы, а так разве малость постегал бы его да послал бы ненадолго туда, где твой Васька Голицын соболей ловить собрался. Да, верно это, умен Федька был! Ведь ведомо мне, как он турецкое посольство справил. И верным рабом он был своему господину, а такие-то мне и нужны. Так не казнить их я должен был, а жаловать... Только вот его беда в чем: ты, сестрица любезная, свой дух неукротимый вдохнула в него, злобу не против меня, а против всего нашего царства посеяла. Ты — баба, про тебя и законы не писаны, а он, неукротимый, тобою в мужском образе был. Ха-ха-ха! Оборотень! Баба мужиком перекинулась! Так не Федьку Шакловитого я казнил, а тебя, самодержица. Ты там на площади издохла...

— Ну нет! — страшно рассмеялась Софья. — Жива я еще. Жива!

— Ты-то? — презрительно ответил ей брат. — Жива? Не смейся, царевна! Ты думаешь, я тебе дам в Краков убежать и новое лихолетье устроить? Нет, перестань!.. Недаром

Бог меня вместе с братом Иваном царем поставил. Что, Софьюшка, побледнела? Ты думаешь, что мне неведомы твои замыслы? Ан, я все знаю. Не все такие слуги у тебя, как Шакловитый. Он без стога пытку выдержал, а есть и такие, у которых дыба языки развязывает. Знаю я, все знаю... Царской дочери я на лобное место не пошлю, ведь одна в нас кровь, ну а в монастырь ты у меня отправишься, а ведь это — то же, что могила.

— Изверг, враг! — закричала молчавшая дотоле царица Марфа. — Плюну я сейчас тебе в бесстыжие бельмы твои! Сестру мучаешь, так и меня не щади, одна у нас кровь и отцова, и материна, царская, а ты — нарышкинец.

— Что, Марфуша? — окинул ее огненным взором брат. — Или и ты в монастырь захотела?

— Ну что ж, сажай, коли так! — завизжала неукротимая царица. — Я тебя, антихрист, пред престолом Господним проклинать буду.

Петр только засмеялся в ответ на эти крики, но его смех не был уверен: он не ожидал, что сестра Марфа так ретиво примет сторону

побежденной Софьи.

— У, змея! — крикнул он и быстро вышел, сильно хлопнув дверью.

Марфа, рыдая, бросилась на шею сестре.

— В монастырь нас запрячут! — заголосила она. — Вот каков конец уготовал нам Господь!

Софья была спокойна, и ее лицо как будто просветлело.

— Не конец это еще, Марфуша, — медленно произнесла она. — Ой, не конец, а разве начало мести моей. Жизнь нам оставлена, жизнь. Но, братец любезный, не знаешь ты меня. Выдал тебе подлый Иуда, что мною задумано; не удастся мне к польскому королю уйти, так я тебе и здесь в монастыре то же самое устрою... А ты, Марфуша, не плачь: и в монастыре люди живут.

## После кровавой вспышки

**Б**ыстро успокоилась Москва после страшных событий. Вихрь налетел неожиданный, сломал, разметал смуту, утихомирился. Москва, Россия жаждали покоя, и московский народ был уверен, что только законный царь-венценосец, помазанник Божий, может дать ей это спокойствие.

Казней больше не было, хотя оставался на очереди один из главных смутьянов, ближайший пособник Шакловитого, старец Сильвестр Морозов. Стрешнев еще не принимался за него, приберегая его, может быть, на будущее, а может быть, царь Петр не захотел запугивать кровавыми зрелищами изменчивый и ненадежный свой народец. Пускай пока ликует, тишине радуется.

Посветлели лица кукуевцев. Не швыряли они шапки вверх у кровавого помоста, не орали — благонаравно тянули свое пиво, значительно переглядывались: о-о, немцы — умный народ! Не будь их, кто знает, что было

бы. Не займи Гордон в Москве караулы своими алебардистами и мушкетерами, сколько стрельцов и народа перешло бы на сторону Петра? Не замани Аннушка молодого царя в свои сети — как бы повернулось дело? А теперь он намертво прикован к ней. Если прежде он появлялся здесь украдкою, то теперь бывает в Кукуевской слободе совершенно открыто и, не скрываясь, носит полюбившееся ему немецкое платье. Умен пастор, умна Аннушка!

А Петр дневал-ночевал в Кукуй-слободе. Слушал Лефорта, раскрыв рот, кивал: да-да, надо на Руси иноземные обычаи заводить, к наукам, к ремеслам тянуться; дорога к этому была открыта для него. Сама неукротимая Софья как будто толкнула его на тот путь, которым он с этой поры шел до конца своей жизни.

Порхала красавица Анхен, ласково встречала, горячо целовала. Остудив жар ласками, ворковала на ушко: так рады в Кукуй-слободе видеть Петра, так хвалят его желание учиться, понимать мир. Немцы готовы поделиться

всем — науками, кровом, пищей и... любовью...

Петр расслабленно слушал. Права Аннушка. Многое знает и умеет этот народ, прилетевший с разных концов Европы, где не хватало ни места, ни хлеба и где по многим плакала веревка палача.

— Ведь правда — хороши наши женщины?

— Хороши, Аннушка. — Не болтливы, умны, изящны. Любой разговор смело поддержат, а наши тетехи! Надутые гусыни!

И целовал-миловал ее золотистые косы, румяные щеки и голубые глаза. Счастье какое!..

В этом году Москва против обыкновения непышно праздновала новый год. До того ли ей было? Как праздновать, когда смутные дни и кровавые розыски выпали как раз на самое новолетие. Но зато праздником был Покров Пресвятой Богородицы. В этот день молодой царь-победитель торжественно въезжал в умиротворенную Москву, въезжал вместе со своею матерью, женою и всеми теми, кто остался верен ему в дни тяжелого испытания.

Он ехал в Москву из села Алексеевского, и на протяжении всей дороги, по обе ее стороны, лежали, положив обнаженные головы на плахи, недавно еще буйные, своевольные стрельцы, встречая царя громкими мольбами о помиловании. Петр Алексеевич не глядел на них; он ласково улыбался своим потешным, а когда подъехал к кремлевским воротам, зорко смотрел на радостный народ.

На крыльцо большого дворца навстречу брату-победителю вышел старший царь, и братья крепко на глазах всех обнялись. Царь Иван прослезился и в порыве умиления даже не обратил внимания на то, что народ кругом громко кричал приветствия одному царю — Петру Алексеевичу.

А в келье Новодевичьего монастыря изнывала, палимая гневом и тоскою, царевна Софья.

**В старом по-новому**

**Н**едолго ликовала убаюканная золотыми надеждами Москва, ее недавние восторги быстро сменялись смущением и страхом. Стрелой мчалось время, каждый день нес новые перемены, невиданные события. Все-то ждали: вот будет покончено со стрелецкой смутой, жизнь потечет как и раньше, как при отцах и дедах, как при Тишайшем Алексее Михайловиче. Ан нет же! Снова бритые морды стали нахально появляться на народе, опять в кургуzych немецких кафтанишках зашастали молодые парни — ни поступи в них, ни грозности, пьяные хари да трубка смердящая в губах!

Зашептались, зашушукались по углам. Вспомнили, как еще блаженной памяти царь Федор Алексеевич в угоду жене своей польке издал указ всем дворянам и всем приказным людям носить короткие кафтанишки вместо дедовой степенной одежды — и тогда, вишь-то, едва не возникли бунты на Москве.

Зашептались, зашущукались. Вспомнили, как при Алексее Михайловиче протопоп Аввакум едва не проклял молодого боярина Шереметьева, увидев его в «блудоносном образе» — с бритой бородой. И патриаршьи слова вспомнил люд московский: «Еллинский блуднический гнусный обычай», — так называл патриарх брадобрейство на Руси.

И будто бы успокоились немного, словно бы опять в колею входила жизнь, пока не подрос государь Петр Алексеевич! Горой стоял за него люд московский, твердо веря, что ни облика, ни платья не изменит царь, что не будет на Москве дьяволов, у коих вместо дыхания клубы «смрада жупельного и огонь вельзевуловой геенны» вылетает из уст.

И что же? Царевна Софья в монастыре, буйные стрельцы успокоены, два юных царя, защитники православия и дедовщины, правили Русью, но все чаще и чаще стали попадаться на московских площадях скобленные рыла, «еллинские блуднические», все короче и короче с каждым днем становились охабни, однорядки и даже боярские кафтаны. На московских улицах то и дело появлялись люди, у

которых табачище проклятое исходило из уст клубами дыма, но ни один подьячий не хватал их за ворот, а напротив того, все эти богомерзкие новшества даже как будто еще поощрялись. Отдельных драк в Москве, ножевых схваток было без числа: защитники «древляго благочестия» вставали за веру, за Русь святую. «А может, Федор-то Шакловитый не зря мученический венец принял? — уже спрашивали друг друга в Москве, пока что шепотом. — Может быть, стрельцы верную дорогу царю открыли?».

И вдруг понеслись тучами новые, взволновавшие всю Москву, вести. Потайно передавали друг другу на ухо, передавали и ужасались: сам-то юный царь Петр свет Алексеевич всю дедовщину возненавидел. По целым дням щеголяет он в проклятом кургузом немецком платье, и хоть бороды себе еще не тронул — по младости лет, мала и шелковица она у него, а волосы на голове уже стричь начал. Когда он ребенком позволял себе всякие глупости, безобразно озорничал, это все казалось в порядке вещей: «помазанник Божий, сердце царево в руце Божией!». Когда же

теперь пристрастился к «табачьему зелью», это всем в глаза кинулось, все в Москве зашумукали: «наступают времена последние, близко антихристово пришествие».

А что Петр? А ему все равно. Знал ли Петр об этих толках? Слышал ли, что говорили про него? И учитель Зотов, и дядька Борис Голицын презрительно кривили губы: «Чернь она и есть чернь! Тишайший вон и бояр именитых купал!».

Петр похохатывал, вспоминая, как вместе с батюшкой своим купали они бояр в прудах Коломенского и Преображенского. В святой день первого августа, когда при колокольном звоне совершались крестные ходы для освящения вод. И в эти освященные воды кидали с мостков запоздавших бояр любого чина и возраста. Летел, бывало, бородатый, пузо вверх, глаза рачьи — хохоту! А громче всех хохочет царь из кустов, закатываются Морозов с Милославским. Норовили тут же к царю поближе встать, ручку вовремя поцеловать-облобызать. Тоже чернь, хоть и в шапках горлатных!

И тех и других презирал, ненавидел и бо-

ялся молодой царь. Неучи, бараны, сидят по своим избам и теремам, квас да щи трескают. Добро гноят, да еще всем довольны: «Мы, как деды, как прадеды наши!» Как победить, как раздавить старое да гнилое?! — вот о чем забота государя.

Старое мстило жестоко, подло. Берегли мамки-няньки Евдокию царицу — ни встань, ни сядь, царское семя носишь! Только слезы и могла лить, да и то тишком: дитя должно быть веселеньким! Доплакалась. Разбабела, расквасилась, стала рыхлой, и потому нелегко дались ей первые годы. Мучилась она, рождая царевича Алексея Петровича, и ее первенец вышел болезненным, чахлым не в отца богатыря: узкоплечий, с птичьей грудью, длинной головой, смахивавшей на утюг, поставленный острым концом кверху, он казался заморышем. Плача, родила его юная царица. А ее царь-супруг, ее лапушка при первой же вести о родовых муках жены умчался в Немецкую слободу, созвал там своих немчинов непотребных блудоносного вида да девок немчинских и женок и устроил у блудной немецкой девки Анки Монсовой такое пиро-

вание, что «ночь в день обратил», а из монсова дома утром царевых собутыльников развозили в колымагах в мертвецки пьяном виде.

Говорили, что не в честном браке живет царь, а в «блуде поганом», что околдовала его «девка Монсова» и околдовала так, что ради нее он забыл свою царицу и на своего наследника-первенца редко даже взглядывал.

Петр знал эти слухи, дергал головой, зубами поскрипывал.

— Да ну их всех к черту! — говорил дядька Борис.

И сияла красотой Аннушка:

— Здравствуйте, мой государь...

## XXXIII

### Начало

Царем не по званию, а по власти Петр стал. Лишь на другой день после того, как на Красной площади испустил дух несчастный Шакловитый.

— Царь! — сказал сам себе молодой Петр. — Государь!

А в глазах даже самых верных людей читалось: зелен еще, учить его да учить. И верно, в такую пору у людей еще ветер в голове, потехи да забавы на уме. А Петру забавы еще в детстве прискучили, еще с тех пор, как поили его мертвецки, чтобы ум вышибить, дураком его сделать. Потешными тешится — вот и ладно: пускай себе играет. А они, потешные-то, подрастали помаленьку, плечи расправляли.

— Так, так, — смотрел весело князь Борис Алексеевич Голицын, царский дядька.

Во все время смуты, пока царь выжидал в лавре, все государственные дела вел Голицын, и вел так хорошо, так умно, что и смуту приглушили, и Софью одолели с Божьей по-

мощью. Верные люди у князя были везде, все ему докладывали тот же час.

Едва Петр убежал в лавру, к Калужским воротам Москвы подъезжал гетман обеих сторон Днепра Иван Степанович Мазепа. Царевна Софья и князь-оберегатель Голицын с пышностью встретили вождя малороссийских казацких орд: была приготовлена придворная карета, в которой обыкновенно въезжали в Москву великие послы иностранных государей. Это ли был не почет для наезжего за милостями гетмана?

А во дворце, во время приема, на хвалебную речь Мазепы отвечал по-латыни сам оберегатель, восхваляя гостя. Звал в союзники, в собраты. Но Мазепа только усы покручивал, зорко вокруг поглядывая из-под бровей густых. И при первой же возможности умчался в Троице-Сергиевскую лавру.

Тут-то и понял, кто настоящий государь! Встретили его холодно: ни приемов, ни заискиваний, к царю не допустили. Мазепа хмурился: разве он не сила? За ним — копья и сабли малороссийских полков, он в дружбе с крымскими ханами и всегда, в случае надоб-

ности, мог рассчитывать на их поддержку. Запорожская сечь благоволит ему, а мальчишка-царь отвернулся! Многое он слышал про его подвиги, многое наверняка еще услышит.

Гордо удалился Мазепа в скромные свои покои. Из узких окон смотрел, как стекаются к монастырю людские толпы, как стрельцы с понурыми головами собираются возле стен.

— В Москву! — приказал слугам и помчался навстречу людскому потоку в полную тревог столицу. Не к Софье, не к оберегателю кинулся — к Борису Голицыну: умный человек подсказал. Принял его князь ласково, накормил, напоил, людишек его не забыл и коней тоже. А когда гость отдохнул и малость пришел в себя, Борис Алексеевич посоветовал подождать.

— Но чего? — удивился Мазепа.

— Подождите, мой друг, — шурил умные глазки князь.

## XXXIV

### Кукуевские немчики

**М**онсов домик в Кукуй-слободе после августовских и сентябрьских московских событий смотрелся, как всегда, по-праздничному. Его входное крыльцо было разукрашено, в окнах мелькали люди; в течение дня, а часто и ночи, были слышны громкий говор, смех, веселое пение. И немудрено было все это: молодой московский царь был частым посетителем домика.

Иоганн Монс ликовал. Никогда еще во все время не давала столько барыша его виноторговля. Расход вина был огромный, и спрос все повышался и повышался. Все придворные считали своей неременной обязанностью быть клиентами кукуевского виноторговца. Деньги лились рекой в карманы шустрого немчина, и он уже подумывал о том, как бы расширить свое предприятие и совершить поездку на родину, чтобы закупить на тамошних виноградниках новые вина. Теперь для него это было вполне возможно. Есть на кого

и дом оставить, и дело: его любимица, вторая дочь Анхен, вся в него: умна, практична, ни за что не упустит своего из рук.

Старшая дочь, Модеста, переделанная на русский лад в Матрену, уже отрезанный ломоть: она замужем, и ее новая фамилия Балк. Был еще сын, младший из детей, шустрый и многообещающий Виллим. Но Анна — о-о-о! Она умнее всех. Ведь благодаря ей не только процветает дело Иоганна Монса, но завоеваны почтение и уважение всего населения Кукуй-слободы. Анну Монс называли новой Юдифью, относились к ней с любовной предупредительностью; даже хмурый и важный Патрик Гордон в разговорах называл ее «милей дочерью своего сердца», а о других-то и говорить нечего.

Анна Монс и раньше была первой красавицей Немецкой слободы, а теперь стала первой женщиной в ней, и какой женщиной! Она по-прежнему держалась просто, была со всеми ласкова, со старшими почтительна.

— О, Анна! — поднимали глаза к небу кукуевцы и дружно цокали языком.

Вскоре после сентябрьских событий

Немецкая слобода лишилась одной из своих наиболее уважаемых обитательниц: уехала за границу со своими детьми Юлия Фогель. Вместе с ней уехали и сыновья боярина Каренина.

Уезжали в те годы нередко: везде жили свои, русские, и молодые Каренины были уверены, что в чужеземных странах они сумеют устроиться. Их отъезд прошел для Кукуй-слободы почти незаметно. Разве только всплакнула Елена Фадемрехт, расставаясь с Михаилом Родионовичем, да и то — с глаз долой, из сердца вон. К тому же и события летели с такой быстротой, что некогда было задумываться.

## Прелестница Кукуя

Анна Монс, только мельком слыхавшая о молодых Карениных, и вовсе не думала о них. Она и о своем отце не очень горевала, когда тот отправился из Кукуй-слободы на свою далекую родину. После отъезда отца старшинство в семье, хозяйство, само собой разумеется, перешло к Анне, в ее маленькие цепкие ручки.

— Далеко пойдет, — говорили кукуевцы многозначительно и что-то недоговаривали...

Любила ли она молодого московского царя? Кто знает женское сердце? Анна была нежна с Петром Алексеевичем, покорна ему на свой, немецкий, лад, всегда весела, когда царь был весел, и серьезна, когда он заговаривал о чем-нибудь серьезном. И вряд ли высокие мысли приходили в те годы в голову Анны Монс. Невысокого полеты были мысли дочери виноторговца, у которого на первом плане только деньги и выгода, а на втором — выгода и деньги.

Ничего не изменилось в тихом уютном домике Монсов, и по-прежнему Елена Фадеев-мрехт оставалась любимейшей подругою Анны.

Как-то однажды Анна спешно прислала за ней и, когда та пришла, заговорила нежно:

— Милая Лена, мне нужен твой совет.

— О чем, Анхен? — спросила молодая девушка, легко усаживаясь.

— Есть дело, и мне нужен не только твой совет, но и помощь.

— Говори же, говори скорей! — засверкали любопытные глазки.

Анна потупилась.

— Ты знаешь, Лена, молодой московский царь весьма милостив ко мне. Весьма. Пони-маешь ли?

— И ты, конечно, не в обиде на это?

— О, да! — с улыбкой взглянула на подругу Анна. — Мне грех было бы обижаться. Знаешь, Лена, на меня совсем неожиданно опрокинулся рог изобилия.

— Счастливица ты, — искренне вздохнула любимая подруга.

— Счастливица я или нет, об этом будем

говорить потом, когда состаримся, а теперь... теперь, Лена... Ведь ты не осуждаешь меня?

— Полно, полно!.. — успокоила ее подруга. — Зачем ты так говоришь? Могу ли осуждать тебя я, когда и меня заставляли принести ту жертву, которую принесла ты? Ведь я знаю, — склоняясь к уху подруги, прошептала молодая девушка, — ты не любишь его, совсем не любишь. Разве можно такой красавице любить чудовище? Анхен, ты плачешь? Анхен, милая!

Действительно, несколько слезинок скатилось на розовые щечки из прелестных голубых глаз первой красавицы Немецкой слободы.

— Лена, прошу тебя, не терзай моего сердца! — произнесла Анна. — Не будем говорить об этом, пока не будем. Что будет дальше — увидим. Да, о чем я начала? Молодой царь очень милостив ко мне.

— Вот вы уже и рассердились, фрейлейн! — с притворной обидой в голосе перебила ее Елена. — А сердиться вы на меня не имеете права! Вы не должны забывать, что некто иной, как я, ваша покорнейшая слуга, бы-

да в вашей любви посаженной матушкой... так, кажется, называется это у московитов? Стало быть, вы — моя дочка, а дочь не имеет права сердиться на мать.

Анна улыбнулась сквозь слезы.

— И смотрите же, милая кайзеринь, никогда не смейте забывать это! — лукаво погрозила пальчиком Елена. — Если ваше чудовище отправит меня на пытку в застенок, то вы уж постарайтесь, чтобы там были молоденькие и хорошенькие палачи. Но, впрочем, к делу! Московский царь милостив к тебе, что же из этого? В чем заключается его милость?

— Скажу тебе по секрету, — деловито ответила Анна, — царь обещал построить для меня дворец.

— Вот как? Где же?

— Здесь, в нашей слободе.

— Отчего же не в Москве? Во всяком случае было бы больше удобств.

— Москва еще не уйдет, Лена! Я так думаю, что царь будет строить здесь дворец не столько для меня, сколько для себя.

— Неужели? Почему так?

— Да, видишь ли, он не любит Москвы, и

это заметно. Он стремится сюда, ему нравится быть среди нас, но достойного его помещения нет нигде. Он уже помышляет о том, чтобы устраивать здесь пиры, приемы для тех иностранцев, которых он не может почему-либо принимать у себя, в кремлевских дворцах. Ведь ты же знаешь, что патриарх настоял на том, чтобы даже наши дорогие соседи, такие, как Гордон, Лефорт, не садились на парадных обедах за царский стол.

## XXXVI

### Брошенный вызов

**А**нна смотрела на подругу, ожидая ее ответа.

— Знаю, знаю, — быстро ответила Елена. — Ах, как тогда гневался господин Гордон! Он говорил, что за все его заслуги ему нанесена кровавая обида...

— И вот тебе последствия этого. Государь заметил, что господин Гордон обижен, а вместе с ним обижены и все мы. И чтобы загладить невольную нанесенную обиду, и устраивает себе в нашей слободе дворец, в котором

он мог бы не слушать, что говорят ему попы. Теперь, Лена, я хотела бы устроить так, чтобы царь укрепился в этом своем желании, и предполагаю устроить такой вечер, на котором он мог бы видеть всех нас, своих друзей. Мало того, я хочу пригласить московских бояр, которые преданы и верны царю.

— Пойдут ли? — усомнилась Елена, с удивлением и уважением глядя на подругу и совсем не узнавая ее сегодня.

— О, — с величайшим презрением в голосе произнесла Анна, — эти холопы пойдут всюду, куда царь прикажет им идти, разве они осмелятся противоречить? Нет, у московского царя палок на всех хватит!

Губы ее дернулись в презрительной улыбке, голова высоко поднялась. Елена притихла.

— Ну что ж, если ты уверена, зови бояр!

— Скажу тебе по секрету, — продолжала Анна, — что о созыве такого сборища меня настойчиво просил господин Гордон. Он имеет какой-то план. Из его намеков можно понять, что многое для нас и для нашей политики зависит от этого вечера. Хочешь, я тебе скажу одно, только ты молчи...

— Будь уверена в моей скромности! — поспешно и боязливо сказала подружка.

— Я знаю это. Наш поэт, однофамилец господина Патрика Гордона, Александр Гордон на этом вечере будет шутком.

— Как шутком?

— Да, шутком. Он наденет шутовской костюм и в нем выступит перед царем. Ты знаешь, дорогая, каковы эти господа у нас на родине. И вот, если мы хотим показать русским, как живут за рубежом, то помимо родных нам умников мы должны показать им и наших дураков...

— Ой, Анхен! — воскликнула Елена. — Я вижу, что тут затевается что-то такое, чего вообще не постигает мой слабый ум.

— Серьезное дело затевается, Лена, и ты должна помочь мне быть хозяйкой. Я попрошу еще Елизавету Лефорт, так что нас будет три. Но ведь ты сама понимаешь, что такие дела так вот сразу не делаются: нужно все до мельчайших подробностей обдумать, предусмотреть все случайности; право, это — не простая, веселая пирушка, а генеральное сражение, которое мы даем — понимаешь, Ле-

на? — Мы... уже однажды разбитой нами Москве.

— Из-за чего же будет это сражение? — тихо спросила Елена. — Что будет призом для победителей?

— Московский царь, а с ним и все московское государство! — так же тихо ответила Анна.

Елена ничего не ответила. Она поникла своей хорошенькой головкой и задумалась.

А между тем Анна, побледнев от нервного возбуждения, продолжала говорить быстро, вдохновенно, и Елене казалось, что ее подруга пророчествует:

— Да, и не столько московский царь, сколько московское государство! Люди рождаются и умирают, но после них на смену им приходят другие. И тот, кто умен, должен думать не о сегодняшнем дне, а о том, что будет завтра и послезавтра, что будет после него. Россия велика и обильна. Ее богатства неисчислимы, ее силы непобедимы. Так нужно, чтобы все это стало нашим, перешло к нашим детям, внукам и правнукам. Ради этого я пожертвовала собой, и этому делу я буду слу-

жить, пока могу. Я знаю, что успех ждет все наши начинания... Пройдут года, десятки лет, века — и во главе России, распоряжаясь ее судьбами, ее силами, богатствами, будут стоять наши потомки или потомки новых пришельцев из наших или соседних с нами стран. И они будут владычествовать над всем этим народом, а потомки теперешних вельмож Московской земли будут их холопами. Ради того, чтобы услужить своим повелителям, они станут палачами своего народа, сами того не сознавая. Вот что будет, если мы выйдем победителями из предстоящего мирного сражения.

Елена молчала. Она уже не раз слышала такие же речи от своего приемного отца-пастора. Анна не сказала ничего нового для нее: она почти дословно повторяла то, что говорили лучшие умы Кукуевской слободы, и Елену более всего занимал вопрос, как устроить все так, чтобы предполагаемое «сражение» действительно было выиграно с наименьшими потерями.

Поговорив еще немного, подружки расстались, условившись встретиться на следующую

щий день; Анна взяла на себя обязанность пригласить на совещание и Елизавету Лефорт.

Как только Елена ушла, она накинула на себя плащ и отправилась в дом Патрика Гордона, по дороге улыбаясь кукуевцам и раскланиваясь со всеми.

Вот и дом, похожий на крепость. Таким он и должен быть, ведь жил в нем умный стратег, который не только был искусен в военном деле, но и обладал выдающимися дипломатическими способностями. Он вел интригу так искусно, что все как будто выходило само собой, и верным его пособником во всех делах был его друг и родственник по жене Франц Лефорт.

Гордон принял Анну Монс, как дорогую гостью. С улыбкой приветствовал он «первую красавицу Немецкой слободы, новую Юдифь».

— О, что вы, сударь! — краснела и смущалась дочка виноторговца...

С царем уладилось как нельзя лучше.

— Вечер? В Кукуе? С боярами? — Петр Алексеевич сперва был немало смущен: как,

их, медведей, тащить в Немецкую слободу? — Да они у тебя, Аннушка, все поломают!

Она, улыбаясь, призывно показывала зубы:

— Это будет так интересно!

— Будет... — представил Петр лица своих бояр. — А что? Надо когда-то начинать, Аннушка?! Хоть посмеемся.

А сам совсем не был весел — темен был и суров. Только ласки Анны развеселили его немного...

## XXXVII

### Москва в Кукуе

**Н**е покладая рук, дни и ночи готовились три женщины к знаменательному вечеру. К участию в торжестве была привлечена чуть ли не вся слободская молодежь; женщины слободы сбились с ног, помогая устроительницам праздника в их приготовлениях.

Тонко были продуманы и стол, и украшения комнат. Предусмотрителен был шотландец Гордон. Знал, что русские чтят обряды и посты — хорошо. Потому день был выбран

праздничный, чтобы пиром не оскорбить религиозное чувство даже самого преданного церкви русского.

И вот знаменательный день наступил...

Раньше всех в Немецкую слободу прибыли караулы от потешных солдат: рослые, видные молодцы-красавцы шагали лихо, щеки горели. Ахали, увидев их, девушки.

Вместе с ними прибыли в закрытой колымаге дворцовые дураки и дурки: царь Петр по просьбе Анны прислал их для потехи собравшихся. Тут были противного вида карлики, безобразные уроды; прежде всего они потребовали, чтобы их накормили досыта, до отвала, а когда наелись и напились пьяными, сейчас же завалились в клетушки спать.

Ближе к сумеркам, наступившим рано, к дому Монса стали подъезжать разнообразные экипажи: и богатые, и победнее, возки, колымаги, кареты. Каждый из этих экипажей мог был сам по себе сойти за целую процессию.

По зимнему времени ездили гуськом, и несколько лошадей растягивались на порядочную длину. Впереди экипажей неслись холопы, расчищавшие дорогу, с боков гарцева-

ли вершники, то и дело взглядывавшие на своего господина: не будет ли от него какого-нибудь приказа. С шумом подкатывали к крыльцу.

Снаружи монсов дом был на диво разукрашен: крыльцо задрапировано яркой цветной материей, ступени устланы сукнами. Внутри горело множество огней. Восковых свеч не жалели, и их было так много, что свет казался ослепительно ярким.

По случаю торжества были открыты парадные комнаты, разубранные гирляндами из цветов; те слобожане, у которых были оранжереи, опустошили их ради такого случая. Простенки и стены были завешены цветным сукном и гобеленами с изображением пастушеских сцен. В одном из зал стояли накрытые обеденные столы, сплошь заставленные серебряной посудой. В соседней, примыкавшей к залу комнате ожидал знака оркестр роговой музыки, а рядом, в другой комнате, толпились юноши и молоденькие девушки — хор, который должен был исполнить по приезде царя на пир приветственную кантату в честь его и затем петь во время обеда.

Вся эта молодежь была одета в красивые немецкие костюмы и в целом составляла чрезвычайно удачно скомбинированную картину, привлекавшую разноцветием одежд и свежестью молодых лиц. Нужно ли говорить, что благодаря многочисленным репетициям каждый здесь знал свое место, каждый твердо помнил, что он должен был делать.

Тут же, среди этой молодой и веселой толпы, бродил, перекидываясь шутками то с одним, то с другим, высокий красивый молодой человек в пестром костюме германского придворного шута. Костюм прекрасно облегал его стройную фигуру. «Шут» держался свободно, острил, смеялся, и никаких признаков особенного смущения не было слышно в его голосе. Это был поэт и историк Немецкой слободы Александр Гордон, записки которого ярче других рисуют картину того времени.

В приемном зале, прежде чем стали приезжать московские гости, собрались наиболее выдающиеся личности Кукуя. Среди них были все те, кто участвовал на совещании у Патрика Гордона пред августовскими событиями прошлого года. Эти люди были одеты сообраз-

но своему положению, но все чрезвычайно чисто и отнюдь не роскошно. Этого потребовал Гордон на предварительном совещании.

Наконец стали прибывать именитые гости. Важно сопя, вваливались, несли пузо. Спесивым кивком головы отвечали на поклоны радушных хозяев. Тут были почти все «ближние», то есть придворные бояре, затмившие всех великолепием своих одежд. На хозяйку дома они почти не обращали внимания.

Анна Монс так и вспыхивала, замечая на себе презрительные взгляды надменных стариков; даже веселая хохотушка Елена робко поглядывала на гостей, державшихся столбами, едва-едва отвечавших, если кто-либо из слобожан обращался к ним с вопросом на довольно чистом русском языке. Иные же, желая подчеркнуть свою неприязнь к иноземцам, даже открыто плевали на натертый воском пол.

Анна бледнела.

Одним из последних прибыл гость необычный, мало похожий и на слобожан, и на московских придворных. Он вошел, высоко неся

голову и придерживая одной рукой саблю у левого бедра. На нем был великолепный, с красивым шитьем на груди кафтан; его пышные шаровары были заправлены в сафьяновой кожи высокие сапоги со шпорами; в правой руке он нес красивую шапку с высоким пером и прикрепленным к ней бриллиантом. Это был малороссийский гетман Иван Степанович Мазепа.

Войдя, он окинул своим быстрым, живым взором зал, сейчас же нашел хозяйку дома и красивыми, легкими шагами подошел, склонился пред ней на одно колено, салютуя своей саблей. Замерли московские медведи. Восхищенно вздохнули кукуевцы.

Анна Монс с улыбкой протянула гетману свою маленькую ручку, и Мазепа, принимая ее так, как, быть может, в свое время принимал он руку польской королевы, благоговеино прикоснулся к ней губами.

Лефорт лучезарно улыбнулся, крякнул суровый Гордон. Московская знать затопталась, засопела.

— Смотри-ка, — толкнул один боярин другого. — Женке блудной царскую почесть воз-

дает. Тьфу!

— Привычны они к такому у себя на Украине. В Польше с бабами еще не то бывает!

Мазепа повел глазами. Бояре умолкли.

Громкие звуки рогов возвестили, что наконец прибыл и царь.

## XXXVIII

### Венценосный гость

**М**азепа, сказав несколько приветственных слов, отошел от Анны, спешившей навстречу Петру. Он с недоумением осмотрелся вокруг, взглянул на бояр, затем на слобожан, не зная, на которую сторону ему встать, и остался стоять там, где остановился, не примыкая ни к тем, ни к другим.

А из внутренних комнат уже быстро выбежал и занял заранее намеченные места молодой хор. Рога мелодично звучали, несмотря на некоторую грубость издаваемых ими звуков.

Вошел Петр в военном немецком платье, без парика, в треуголке и в небрежно накинутом на плечи плаще. Он вошел и, остановив-

шись, стал оглядываться вокруг. Очевидно, первое впечатление от той картины, которую он увидел, было прекрасно. Ближе всех его взор заметил милое ему лицо Анны; рядом с ней стояла, сияя, Елена, а за ней — строгая, серьезная и величественная Елизавета Лефорт, которую Петр тоже знал. За этими тремя женщинами раскинулся дивный цветник молодых людей в пестревших всеми цветами костюмах. Еще далее, с одной стороны, были видны ненавистные царю великолепные боярские одеяния, а по другую сторону — простые, но удобные одежды знатных слобожан.

Посреди в одиночестве застыл в эффектной позе великолепный Мазепа, а еще дальше, непринужденно прислонясь к стене, стоял человек в цветастом, сшитом из разноцветных кусочков дорогой материи костюме. Яркий свет стенных канделябр заливал залы.

Петр осмотрелся, и в его взоре засветилось удовольствие, а губы сложились в довольную улыбку. Праздник! Не то что в его дворце, где мрачно и душно и тьма по углам гнездится.

— Государь! — звучно и отчетливо заговорила по-немецки Анна Монс. — Мы счастли-

вы в эти мгновения, и счастливыми сделали нас вы. Позвольте же мне, скромной женщине, как хозяйке этого дома приветствовать вас от лица всех тех, кого вы видите пред собой.

С этими словами Анна склонилась перед царем в глубоком реверансе, согласно правилам этикета, установленного при дворах государя ее родины.

Потом Анна отодвинулась в сторону и пропустила вперед, прямо к царю, хорошенькую девочку-подростка, державшую в руках огромный букет живых цветов.

Петр так и впился в нее острым взглядом. Это была сиротка Мария, дочь генерала Гамильтона, одного из поселенцев Кукуя; вся раскрасневшись от смущенья, она пролепетала приветствие и протянула царю букет.

Петр, весь просиявший, поднял на руки милого подростка и звонко поцеловал его в обе щеки. Окончательно сконфуженная девочка поспешила скрыться в толпе подруг.

После нее выступили с короткими приветствиями бойкая Елена и серьезная, сдержанная Елизавета Лефорт.

Петр не успел даже ответить, как певцы начали приветственную кантату. Молодые, звонкие, хорошо подобранные голоса звучали стройно, мелодии лились, лаская слух. Петр, заслышав это пение, сперва несколько удивился, но затем пришел в восторг. Он сказал несколько слов, и вдруг его вельможи увидели то, чего им и во сне не могло бы присниться: великий царь московский, их земное божество, склонился, приник с поцелуем к руке девки-немчинки.

Точно рой пчел густо загудел в той стороне, где стояли москвичи, но сейчас же все смолкло — горящий гневом взор царя пронизал бояр. Петр скрипнул зубами, едва перевел дыхание.

— Государь, — нежно и тревожно прозвучал голосок Аннушки.

— Медведи! Медведи косолапые! — бормотал Петр, едва сдерживаясь.

По залам пронеслась тревога, многим пришлось бы плохо, если бы могучим порывом воли Петр не сдержал себя. Он потрянул головой, поцеловал руки Елены и Елизаветы и, не дослушав кантаты, подал свою руку Анне.

— Спасибо вам, фрейлейн! — громко по-русски сказал он, вероятно, желая, чтобы его слова были услышаны и среди его вельмож. — Вы устроили нам встречу, которая сердечно тронула нас. Я вижу, вы — радушная и добрая хозяйка, и счастлив тот, кто бывает вашим гостем.

С этими словами он еще раз поцеловал руку Анны.

## XXXIX

### Москвичи и европейцы

**Т**яжело, опасно молчали бояре, потели в своих долгополых одеждах, но ограничились тем, что бросали полные ярости взоры на кукуевских слобожан, которые в свою очередь отвечали им приветливыми улыбками.

— Вашу руку, фрейлейн! — быстро сказал Петр Анне. — Хотя мы здесь, у вас, как в зарубежном государстве, но все-таки мы — русские, а по русскому обычаю гость с дороги голодным оставаться не должен.

— О, государь! — воскликнула Анна. — Вы снова делаете меня счастливой. Да! У меня

приготовлена весьма скромная трапеза, и, я не сомневаюсь, вы окажете мне великую честь, сев за стол.

— Конечно, конечно! Ведите же меня! Но не нужно церемоний. Я вижу здесь всех моих друзей, — взглянул он с приветливой улыбкой в сторону иноземцев, — а своих верных слуг я и без представления знаю!

Бросив еще раз презрительный взгляд на своих медведей, он пошел, ведя под руку Анну Монс.

В глаза ему бросился в одиночестве Мазепа.

— А, гетман! — воскликнул царь. — Ты здесь? Вот не ожидал видеть тебя!

— Верный слуга своего государя является везде, где надеется увидеть тень его, — ответил Мазепа, — а я вижу вас, ваше величество, и счастье мое беспредельно.

Мазепа склонился пред Петром на одно колено, и это произвело на молодого царя впечатление, словно бы позабылись все подозрения, словно бы и не помнил он, как Мазепа, прибыв в Москву, явился прежде всего к Софье и говорил похвальную речь князю Васи-

лию Голицыну, за что не был допущен под светлые очи царя. Однако теперь смирение малороссийского гетмана и его щеголеватая, эффектная внешность несколько расположили Петра к этому человеку.

— Ну-ну, добро, коли так! — добродушно произнес он. — Мы рады всем, кто верно служит нам. — Пойдем-ка! Садись поближе ко мне, промеж Петром Ивановичем и Францом Яковлевичем. Может, за кубком и словом каким перемолвимся. Там, я знаю, у тебя на Украине все как в котле кипит.

Сделав милостивый жест Мазепе, царь пошел далее и тут увидел пред собой Александра Гордона, стоявшего как раз на его пути в своем шутовском наряде.

— Это что такое? — с изумлением воскликнул он. — Опять какой-нибудь новый сюрприз мне?

— Государь! — звучным голосом ответил Гордон. — Господнее солнце одинаково ласково смотрит с горней тверди и на вельмож, и на смердов, и на богачей, и на нищих, и на умных, и на дураков; позвольте и мне, в качестве последнего, воспользоваться ласкою его

луча.

— Что? Что ты говоришь? Кто ты такой?

— Я — тот, кто и государям говорит правду.

— Неужели? А разве государям лгут?

— Почти всегда.

*Без лжи у трона быть нельзя,  
Царям лгут все — враги, друзья.  
Не лжет лишь тот, кто все мол-  
чит,  
Но шут им правду говорит!—*

ответил стихотворным экспромтом Гордон.

— Вот как? — смеясь, воскликнул Петр. — Бояре, слышите? Это про вас тут речь идет.

— Великий государь, — выступил один из старейших бояр, — отец мой и деда правдою и честью всегда служили роду твоему. Дед мой — царство ему небесное и вечный покой! — твоего деда, Михаила Федоровича Романова, на великом соборе на царство выбирал, так пожалуй ты меня, слугу твоего верного, позволь мне тебе слово молвить!

— Что такое? — нахмурился Петр.

В это время Гордон, быстро перехватив мандолину, запел, сопровождая каждое слово

песни гримасами и ужимками:

*Только царь развеселился,  
Глядь — боярин рассердился...*

*И он, гневом весь горя,  
Взоры мечет на царя.*

*Ах, вы, бедные цари,  
Вешай нос или умри!*

*Ходи эдак, а не так,  
От бояр свисти в кулак!*

Лицо выступившего старика-боярина запылало. Это был один из видных столпов по-сольского приказа. Он понимал по-немецки, а последнюю свою песенку Гордон, с очевидным намерением выставить москвичей в смешном виде пред царем, пропел по-русски.

— Голова моя, государь, в твоей воле, — задыхаясь, произнес старик. — Руби ее, если она тебе надобна, а сейчас дозвожь мне отъехать из этого дома: негоже мне, цареву слуге, быть здесь, в столь срамном месте; негоже и слушать такие речи. Молю тебя, государь великий!

Лицо Петра потемнело: собиралась буря.

— Ваше величество, — выступил вдруг Патрик Гордон, — я не понимаю, на что мог разгневаться боярин. Ведь только что пред ним говорил дурак, а на речи дурака разве возможно гневаться, разве они стоят того? Нет, боярин, — обратился он к старику, — не нарушай нашего веселья, не уезжай! Нам будет без тебя так скучно...

— Дозволь, государь, отъехать! — глухо, но с прежней твердостью сказал старик. — Помни службу мою, не держи!

— Отъезжай, — тихо проговорил Петр, — но помни...

Боярин, перебивая его, воскликнул:

— Спасибо тебе на милости такой! Пожаловал ты нынче слугу своего превыше заслуги, а ежели голова тебе моя нужна — твоя она. Повели, сам прикажу, как топор точить...

— Отъезжай! — уже гневно выкрикнул Петр. — От греха отъезжай! Никого вас не держу здесь. Кто мне супротивник, все вон идите!

И, не обращая внимания на поклоны смелого старика, Петр пошел далее.

## XL

### Бок о бок

Это было уже страшновато. Замолчали московские вельможи, и, кроме смельчака-боярина, никто не решался покинуть дом Анны Монс.

Но Петр еще сдерживался. Слишком хороши были первые впечатления. И цветы, и улыбки, и ласковый свет — все это гасило в душе царя грозовые тучи. Прекрасно сервированные и совсем не по-московски накрытые столы были уже выдвинуты. Анна, извинившись пред своим высоким гостем, хлопоча по хозяйству, оставила его. Около Петра была Елена.

— Прошу гостей садиться за стол, — по-русски проговорила она. — Сейчас, после духовной, мы будем иметь и телесную пищу. Занимайте свои места, дорогие гости, и не откажитесь отведать наших скромных яств, а прежде всего кубки с вином, стоящие пред вами. Вино сперва возбуждает аппетит, а потом веселит сердце. Не теряйте же времени!

Петр, подавая пример, сел за стол первый. Кругом него разместились, с одной стороны, слобожане, а с другой — первые бояре его двора.

Маленькие столы были расставлены по обширному покою. Еще не все места были заняты, как вдруг раздалось громкое восклицание:

— Государь, бесчестье!

Петр бросил огневой взгляд в ту сторону, откуда слышался голос. Кто-то из бояр, видимо, сильно разгневанный, бормоча что-то, жестикулировал, указывая на своего соседа с левой стороны.

— Что там еще? — спросил Петр.

— Бесчестье, государь! — тряс бородою боярин. — Негоже мне ниже сидеть, — указал он на соседа, — мой дед уже окольниковым был, когда его батька в Москву приехал и на крыльце стоял. Посуди сам, могу ли я такое поругание терпеть?

— Молчать! — раздался громовый голос молодого царя. — Молчать, негодник-смутьял!... Брат мой, блаженной памяти царь Федор Алексеевич, места уничтожил и разряд-

ные книги сжег, а вы опять за старое беретесь? Дурак!

— Я здесь, государь, — раздался из-за царского кресла голос Гордона.

Петр оглянулся.

— Не ты дурак, а он, — указал он взором на багрового, дрожавшего от злости боярина.

— Клеветцешь, государь, на меня клеветцешь! — возразил шут. — Я правда — дурак, а это — твой боярин. Ты посмотри, борода-то какая! Ведь ни у одного козла на Москве такой нет. Вот у меня тоже бороды нет, так я и дурак.

— Вы слышите? — почти закричал Царь. — Пришли в гости и в чужом доме беспорядки чините? Ты чего еще? — вскинулся ой на продолжавшего стоять боярина.

— А то, государь, — ответил тот, — пусть твой брат, а наш царь, в Бозе почивающий, и спалил огнем разряд, а бесчестие я терпеть ни от кого не могу. Не на то мои предки тебе верой и правдой служили... Отъехать дозволю!

Лицо Петра побагровело.

— И ты? — уже закричал он, подымаясь за

столом во весь свой богатырский рост. — Отъезжай, коли хочешь! Князь Ромодановский!

Поднялся пожилой, сумрачного вида боярин.

— Возьми его к себе в застенок! — крикнул Петр. — Образумь его там и научи повиноваться моей царской воле!

— Государь, — раздался около Петра нежный голос Анны, — да будьте же вы милостивы! Не омрачайте нашего скромного праздника своим гневом, помилуйте его!

— В застенок, в застенок! — не слушая Анны, выкрикивал Петр.

— Ну, полно, царь, да перестаньте же вы, я вас прошу... Помилуйте его! Нельзя же из-за того, что человек не хочет сидеть на том месте, которое пришлось ему, наказывать его.

— Не за то, — уже чуть мягче и тише произнес Петр. — Что мне он, что мне все они? Бунтовщики! Правду царю в глаза сказать не смеют, а стороною козни строят. Нет, выведу я их гордыню эту! — ударил Петр кулаком по столу так, что ходуном заходили серебряная посуда и тяжелые кубки. — Я — царь, мной Бог руководит. Пусть помнят они это! Пошел

вон, с глаз моих, негодник! — закричал он боярину. — Алексашка!

Словно из-под земли, вынырнул перед царем совсем молоденький потешный. Он смотрел наглыми глазами на Петра, несколько не робея перед его взором, в ожидании приказания.

Петр налил в ковш до краев вина и залпом выпил его.

— Ты кто? — заговорил он, вперяя в потешного свой взор. — Меньшой сын конюха? Ты на базаре пирогами торговал?

— Было дело, государь, — весело ответил потешный, — кабы не был я меньшим сыном у отца, так и ты меня Меншиковым не прозвал бы; а что пирогами я торговал, так худа в этом нет. Не крал я, а родителям пропитывать себя помогал. А и хороши же были у меня пироги, ваше величество, — подовые, с пыла с жара, грош за пару... Теперь вот не торгую, другим делом служу России.

— Служи, за Богом молитва, за царем служба никогда не пропадают. Ложь, клевету, спесь глупую — все изгоню я из моего государства. Кто бы ни был, хоть самый подлый

из подлых, а служит мне — и будет возвеличен. Мне верных слуг, а не холопов нужно. Так вот, ты видишь там, среди моих бояр, освободилось место?..

— Вижу, государь.

— Так там налево сидит внук тех, кто моего деда на царство выбирал, направо же — правнук Шуйского слуги. В боярской думе его прадед сидел. Иди же ты, меньшей сын конюха, пирожник с базара, не погнушайся соседством, слуга мой верный, сядь меж ними!.. А если мне еще кто пикнет про бесчестье, — голос Петра так и зазвенел, — то и ката мне не нужно, сам я негоднику голову снесу, и даже здешняя хозяйка пощады не вымолит.

Меншиков низко поклонился и смело пошел на указанное ему место. Поскрипывали его сапоги. Тишина повисла в зале. Все присмирели; даже иноземцы, и те молчали. Петр ковш за ковшом пил вино; его лицо разгоралось, он метал вокруг себя гром и молнии, как бы выискивая, на ком ему еще сорвать гнев.

Неслышно вышел Лефорт...

И вдруг с бубенцами, гудками, сопелками

выскочили откуда-то придворные шуты: карлы и карлицы. Они разом наполнили небольшое пространство, оставленное пред столом царя, и начали свои забавы и потехи.

— Ого! — опять услышал Петр за своим креслом голос молодого Гордона. — Соперники мои явились, пойти поближе посмотреть. Быть может, и рассмеюсь, если кто-нибудь меня под мышками пощекочет.

Петра так и передернуло, когда он услышал это полное злой иронии восклицание. Он, раздувая ноздри, бешено смотрел на выходки придворных увеселителей, которыми еще недавно забавлялся от всей души.

Немецкий шут стоял в эффектной позе, скрестив руки на груди, несколько в стороне. Он был красив, и царю невольно кинулись в глаза жалкое убожество и отвратительное безобразие его придворных шутов. Пляшут пьяные, смердящие убогие калеки и уроды, их выходки непристойны и омерзительны.

Лефорт появился, мигнул кому-то, и слуги разнесли обеденные блюда, кукуевцы наклонились над тарелками, стараясь не глядеть на уродов, тузивших друг друга, пищащих

тонкими голосами, плюющихся гнусно.

Петр взглянул в ту сторону, где сидели Патрик Гордон, Лефорт, Вейде и другие слобожане, и видел, с какой брезгливостью оставили они от себя тарелки и приказывали убрать их. Царю стало и противно, и стыдно; опустил голову.

«Даже и в забавах-то наших мы не таковы, как все люди!» — промелькнула у него мысль.

И вдруг, окинув взором обедающих, он заметил, что за столами, занятыми москвичами, никто, кроме Меншикова, даже не прикасался к поданным блюдам. Царь вспыхнул. Он понял, что здесь не брезгливость виновата: дома не так еще жрут! Московские гости не хотели ничего есть в «немчинском» доме, куда они были приглашены им, царем. Им противен даже хлеб, изготовленный руками «блудообразных немчин», а значит, и он, молодой их государь, разделяющий с немцами трапезу. Значит, те, кто стоял близко к нему, осмеливались послушаться его?

И вновь бешеный гнев закипел в душе Петра, а мозг, уже отуманенный вином, пылал как в огне.

— Вон! — не своим голосом закричал он, указывая на придворных шутов. — Гоните их всех со двора метлами!

Вместе с его криком, подливая масла в огонь, раздался громкий хохот немецкого шу-та. Едва придворные уроды, перепуганные до смерти, убежали из зала, он появился пред царским столом, низко поклонился Петру, быстро перебросил из-за плеча мандолину и, взяв на ней несколько вступительных аккордов, запел по-немецки:

*Пей янтарное вино,  
В нем лишь радости таятся.  
Пей ты так, чтоб чаши дно  
Не могло тебе казаться.*

*Чаша будет пусть полна,  
Выпивай ее до дна,  
Ты скорее через край  
Вновь свой кубок наливай.*

*Ведь кто пьет, душа того  
Нараспашку постоянно.  
Пейте все изо всего,  
Пусть кругом все будет пьяно.*

*Пусть шумит на целый мир  
Наш веселый, пьяный пир  
И средь нас, как было встарь,  
Веселится русский царь.*

*Пусть не будет грозен он —  
Много бури в жизни нашей;  
Лик его коль омрачен,  
Ублажим его мы чашей.*

*Мы живем без изгород,  
Длинных нет у нас бород,  
Не царят меж нами здесь  
Чванство глупое и спесь.*

*Наша жизнь тиха, проста;  
Мы трудиться лишь беремся;  
Сев обедать, за места  
Никогда не раздеремся.*

— Верно! — раздался голос Петра. — Сам это знаю. Живете без мести и чинов. Эй, пейте, все пейте за дурака, который всех нас умней!

## Грозная вспышка

Эти слова опять-таки были обращены к столам, занятым москвичами, но царское приглашение опоздало. Гости, справедливо рассудили, что если яства, приготовленные немчинскими руками, есть противно, то заморские-то вина покупаются у того же самого Монса, а потому и брезговать ими нечего. Приняв это в соображение, они усердно подналегли на вина, забывая, что пьют на тощий желудок, и, конечно, очень скоро питье возымело свое действие.

Царь только что повернулся к Гордону:

— Давай песню, шут! — как опять завозились свои. Тут уже не счеты за место, тут выходила просто-напросто драка. Молодой горячий князь Григорий Долгорукий, спьяну припомнив, что у его отца были счеты с царским дядькой, князем Голицыным, вздумал теперь же рассчитаться, ляпнув обидные слова Голицыну, тот ответил. Слово за слово, втихомолку, под песню шута, завязалась ссора, и Долго-

рукий, не долго думая, забыв в ярости, где он, ударил старика Голицына. Тот крикнул «караул» и хлестко ответил обидчику. Тогда на него кинулся друг-приятель и родственник Долгорукого, князь Долгорукий Яков. У князя Бориса среди гостей тоже были друзья. Они врезались в драку, и поехало! В одно мгновение были опрокинуты столы, загремела посуда, началась свалка. Дрались ожесточенно: летели вверх шапки, куски рукавов, одежд, кулаки подымались и опускались; слышался истерический вопль какой-то немецкой фрейлейн, нечаянно подвернувшейся под русский богатырский кулак.

Петр с обнаженной шпагой кинулся в кучу, шпагой, как палкой, колотил всех, не разбирая, куда придутся его удары.

— Ага! — выкрикивал в ярости. — Стрельцы окаянные! Вот я же вас!

— Государь! Государь! — слышались испуганные крики. Остановились те, которые потрезвей, засопели, утирая разбитые лица.

Слобожане сплошною стеною окружили царя. Он стоял среди них, бледный, весь дрожа, его лицо было багровым, губы страшно

искривлены судорогами, он задыхался.

Гордон и Лефорт едва успели подхватить его, иначе упал бы. С ним начался один из тех припадков, которыми он страдал еще с детства.

— Воды! — кричал Лефорт.

Перепуганные московские гости, давя друг друга, кинулись вон, спеша покинуть гостеприимный монсов дом. Без шума, криков и мордобоя, даже без разговоров, дружененько поспешали из Немецкой слободы — дай Бог ноги! Только отъехав подалее, начали приостанавливаться, прикидывать:

— Эй, князь Григорий, а кто же там, с царем-то, остался?

Остались немногие, да верные: Ромодановский, Шереметьев, Бутурлин, Апраксин и еще некоторые — остались около бившегося в припадке Петра.

На коленях стояли Гордон и Лефорт, держали его голову, Анна, бледная как смерть, тут же с кувшином. Она не отходила уже от Петра. Отвели его в покои — уснул, потный, холодный.

В тот же день вечером в палатах боярина Алексея Прокофьевича Соковнина собрался кружок его друзей. Беседа шла опять о царе.

— Какой он нам государь! — с горечью шумел Соковнин, свойственник Петру по жене. — Всех нас позорит! Недаром же везде говорят, что он — антихрист и на нем уже видели печать антихристову!

— Еще живы стрельцы, что его со смертью беседующим видели, — высказался один из гостей.

— Это хорошо, — вдруг отозвался пожилой седоусый гость с нерусским лицом, но в кафтане стрелецкого головы.

Это был Циклер, обрусевший иноземец, которому после крымских походов доверено было командование целым стрелецким полком, тот самый Циклер, яростный приверженец царевны Софьи, который одним из первых явился в Троице-Сергиевскую лавру на поклон к царю. Самолюбив, хитер, коварен и горласт по-русски и по-русски заковыристым умом.

Увидел, что дело Софьи и Голицына проиграно, сообразил, что нельзя упускать случай.

И к Петру! Думал: бухнется в ножки государю — простит его царь, оценит, без награды не оставит. Но Циклер ошибся — Петр разгадал его. Теперь хоть лбом о стенку бейся — никуда не выбьешься, так и помрешь стрелецким головой, то есть полковником. Мало того, царь постоянно выказывал ему пренебрежительную холодность. Бывая в стрелецких слободах, нередко заходил в хоромы не только голов, но и пятисотенников, дом же Циклера он всегда обегал и даже делал вид, что не замечает этого головы на смотре. Страшная обида грызла сердце самолюбца, он жаждал уже не возвышения, но мести за нанесенное ему оскорбление. Ненависть голову отуманила: подумал, что время его пришло, что теперь пора, вот и кинулся в омут сломя голову.

— Да, хорошо, что уцелели те стрельцы, — сказал рассудительно. — Знаю я их: Кочет да Телепень. Беречь их надобно.

— Так береги! — пылко воскликнул Соковнин. — Нам они пригодиться могут! Не царь нам нарышкинец. Рушит он дедовскую старину, а ею одной только и крепка наша Русь. Ес-

ли его на царстве оставить, все иноземцам раздаст и останемся мы в своем домишке не хозяевами.

Это ли нам надо? Нет, нет! Лучше пусть один погибнет, чем весь народ чужеземцам под власть отдаст!

— А кто же царем-то станет? — раздался робкий голос.

— Как кто? А Алексей?

— Так он еще младенец.

— Пусть и младенец. И царь Иван Васильевич Грозный младенцем был, да и сами цари, Иван и Петр, тоже в детском возрасте на царство венчаны. Разве некому у нас до совершенных лет царевича Алексея делами править?

— Есть у нас самодержица! Великая царица Софья Алексеевна! — воскликнул Циклер. — Она в государевых делах премного искусилась, ей и править, пока царевич Алексей Божией милостью в совершенные годы и разум не войдет.

— Ей, кому ж, как не ей! — загудели заговорщики: вот и решили дело, вот и славно!

Все эти крики не по сердцу хозяину: Соков-

нин тоже хотел добраться до власти, пускай другие свалят Петра, а коли на царстве будет младенец, кто выйдет в первые люди государства?..

— Кому там править, о том еще потолкуем! — сказал он. — Сперва главное дело повершить нужно, а, не повершив его, и начинать ничего не стоит. Скажите, люб ли вам царь Петр Алексеевич, или нет?

— Нет, нет, — заговорили кругом, — не люб! Не надо нам его, не хотим! Никого из Нарышкиных не хотим... Враги они земли нашей, иноземцев вперед пускают!

— Ну так вот на сем и порешим, а порешив, потихоньку и за дело примемся. Авось дарует Господь Бог нам удачу, спасем мы родную землю, не выдадим ее врагам вековечным.

## Нелюбимая жена

**А** в палатах большого московского дворца всю ночь изнывали в тяжелой тревоге за царя два женских сердца: материнское и женино. Во всю ночь не сомкнули глаз обе царицы. «Где сын Петрушенька?» — беспокоилась мать. «У немчинки поганой!» — ревновала жена.

— Ой, мамонька царица, — плакала на груди Натальи Кирилловны Евдокия Федоровна, — да чем же я худа ему, лапушке моему? Уж я ли не покорлива ему во всем? Ведь иной раз такое ему на ум придет, что и подумать срамно и за душу испугаешься, а смиряешься.

— Нужно смиряться, Дунюшка! — наставительно промолвила царица. — Такое уж наше дело женское. Только покорливостью да угождением жена около себя мужа удержать может. Мужской пол — что ветер, у него под каждым кустом семья. Так вот и нужно нашей сестре тем или другим мужа при себе держать, смотря по тому, какой нрав у него:

одного — строгостью, а другого и покорливостью; ведь и покоряясь, не о себе женщина должна заботиться, а о том, кто из ее чрева вышел. Ну, уйдет муж, дитя без отца останется... Сама посуди, хорошо ли это?

— Того ради, мамонька, и покоряюсь, а то как иной раз пораздумаешься, так вот душа во святую обитель и запросится. А хорошо там, мамонька!.. Нет тебе там никакого огорчения, покойна душа твоя... молишься Господу и житейской смуты не ведаешь.

— Брось, глупая, перестань! Не допускай таких мыслей! — строго остановила невестку Наталья Кирилловна. — Ты с меня пример бери. Я вот за покойником моим, царем Алексеем Михайловичем, была, так тоже — ох-ахти мне, грешной! — всяческое видала, и такое всяческое, что теперь вспоминать тошно... А вот не ушла же я в монастырь и до сих пор уходить не хочу. А все потому, что такая горькая участь на мою долю выпала. Ведь я не только жена мужу и мать детям была, но и царица также. Тяжел этот крест! Поглядишь, последний смерд живет, и тяжело-то ему, и голодно-то, а любовь красит все. А мы, цари-

цы, всякие свои чувства скрывать должны. Знаю я, о чем у тебя сердце болит, Дунюшка! Донесли тебе, будто у тебя на Кукуй-слободе злая разлучница, змея подколодная завелась, вот и болит твое сердце.

— Ой, мамонька! Царица! — даже взвизгнула Евдокия Федоровна. — То ли ты говоришь?

— То, милая, то! Только ты крепись: что Бог соединил, то не человекам разлучить. Может, такая дурь на Петрушу и нашла, и горько тебе; так ты горечь-то всю на сердце затаи, вида не покажи. Вот придет он, полуночник, так встретить его с веселым лицом да лаской.

— А если он, Петрушенька-то, придет да на меня и не взглянет?

— Взглянет, милая, непременно взглянет! И если ты с лаской его встретишь, да там у него худое что было, так совестно ему тебя будет и постарается он свой грех пред тобою сторицею загладить; а ежели ты его упреками да бранью осыплешь, так на дыбы он встанет и всякие поводья из рук вырвет... Знай это, доченька, Богом данная, по опыту своему говорю, а я худа тебе не посоветую.

И так вся-то ночь до рассвета прошла в таких разговорах между свекровью и невесткой.

В полдень возвратился из Кукуй-слободы царь Петр Алексеевич. Нехорош был его вид. Перенесенный припадок оставил следы на его лице: все оно было изжелта-зеленое, глаза кроваво-красные, губы судорожно кривились, а голова тряслась в это утро сильнее, чем когда-либо.

Молодая царица хотела последовать доброму совету богоданной матери, да не сдержалась. Увидела она царственного супруга, и болезненно сжалось ее сердце, слезы сами собой покатились из ее глаз, и слова она не сказала.

Разгневался царственный супруг. Только взглянул на нее, повернулся, дверью хлопнул и ушел.

## Сестрица-утешительница

Только и видела Петра в этот день молодая супруга.

А Петр ушел недалеко. Тут же, во дворце, жила его любимая родная сестра Наталья Алексеевна. Некрасива она была, и даже молодость не красила ее, но чисто мужской ум был в ее маленькой головке. Брата-царя она любила более всего на свете, и не было у Петра Алексеевича друга вернее, чем его сестра Наталья. Он знал, что у нее найдутся для него и слово ласковое, и совет спокойный, дружеский, нелицемерный. В минуты горя, в мгновения радости не к матери, не к жене шел Петр, а к Наталье, и всегда уходил от нее довольный, просветленный, вдохновленный на новую борьбу. Так и теперь, после бурно проведенной ночи, от слез матери, от укоров жены он пришел к сестре.

— Братец! — радостно просияла она, и от души отлегло.

— Ой, Наташа, худо мне!..

Долго изливал пред сестрой свою душу юный царь. Все-то ей рассказал: как собрался повеселиться и как хотел, чтобы в доме ласковом все вместе были: и московские люди, и иноземцы. Рассказал он, в окно напряженно глядя, какую встречу устроили ему хозяева и в какой стыд вогнали его ближние бояре.

— Кровь кипела, когда взглядывал на немчинов! — рассказывал царь. — Ни слова не говорили, а только друг с другом переглядывались, и для меня это горше всякой обиды было. Видел я, что смеются бояре над нами, а как драку учинили, уж я тут и сам себя позабыл. Всех бы убил!

Царевна Наталья слушала брата не перебивая: хорошо знала его характер, давала выговориться, кроме нее не с кем ему поделиться своими мыслями.

Поговорив, уставился круглыми глазами. Сестра сидела, сжав маленький рот. «Умница», — поглядывал на нее брат. Ей досталась вся отцовская библиотека да была пополнена братниной; всяческой великой мудрости набралась из книг царевна и обо всем судила со всем не по-женски; ни одним словом не об-

молвилась брату о том, что ей уже известно все происшедшее в Немецкой слободе. Вот уж доподлинно: нет тайного, что бы сию же минуту не сделалось явным...

До царевны Натальи эти слухи скорее всех дошли, и, прежде чем брат начал пред ней свое покаяние, у нее уже был обдуман ответ ему.

— Нехорошо вышло, Петруша, что и говорить, — сказала мягко она, — только и тебе гневаться не след.

— Как же не гневаться?! — так и вспыхнул Петр. — Разве не осрамили они меня, окаянные? У-у-у-у! Так бы вот одним разом снес все их глупые головы!

— А что из этого вышло бы? — с улыбкой взглянула на брата царевна Наталья. — Потерял бы верных слуг...

— Других нашел бы. Немало их!..

— Нашел бы, Петруша, что про это говорить, а только, пока ты их искал бы, кто же тебе служил бы? Кто твое государево дело правил бы?

— Как кто? — вскрикнул Петр. — Приказал бы — и все сделали! Правители безмозглые!

— Нет, милый братец, государево дело нелегкое. Всякий спляшет, да не так, как скорморох. Вот прослышала я, что ты своего потешного Алексашку Меншикова отличаешь. Не скрою, полюбопытствовала я, видела его и с ним говорила: огонь-парень, проживет десятка два лет — большой из него умница выйдет, а теперь-то, раньше, он ни на что не годен: и молод — ветер в голове, и опыта нет. Ведь опыт-то только с годами к человеку приходит. Пошлешь ты Алексашку с врагами биться — впереди всех кинется, а велишь по сольство справить — большой тебе от того убыток будет. Эх, Петруша, Петруша, не избидел тебя Господь разумом, как братца Иванушку, обо всяком ты деле рассудить можешь, так вот и подумай: что может быть, если ты вот теперь к немчинам прилепишься, а своих московских слуг прочь отгонишь? Уйдут они, по всем углам земли разбегутся, по всему народу свое неудовольствие разнесут и будут народ, как ржа железо, точить. Всему, что ты ни задумаешь, они противодействовать будут, а ты против них один как перст будешь. Понимаешь? Один против всех? Тебе

в глаза будут говорить: помазанник Божий, а за глаза кричать: антихрист! Посуди сам: твои немчины тебе не помощники тут. Захочет народ, так и их, и тебя, как ветер пылинки с дороги, сметет...

— Так что же делать-то, что делать мне? — уже не гневно, а тоскливо спросил Петр. Сестра говорила правду, говорила верно.

— А ты сократи себя до поры до времени. Не любят твои бояре немчинов, так ты не своди их вместе. Сперва новых себе слуг приготовь, силу свою укрепи. Вот ты с потешными занимаешься. Пусть твоих потешных не два, а двадцать полков будет; тогда тебе ни бояре, ни народ не страшны, что захочешь, то со всеми и сделаешь. Все они будут в твоей воле и, как увидят силу твою, пикнуть против тебя не посмеют, сами к твоим любезным немчинам побегут, а уж кого ты позовешь, так тот этим счастлив, как в раю, будет. Вот тебе мой сказ и совет. Там болтают, что у тебя на Кукуе любя завелась; так ты от жены-то не отворачивайся...

— Да что же мне делать-то, если противна она мне?

— Стерпи, не вводи соблазна в народ! А будешь силен, тогда и делай, что тебе Бог на душу положит.

— Так! — захохотал Петр, забегал по скрипучим доскам. — Так, Наташа! Всех их в кулак! В харю! В ребро им! Так, милая! Спасибо!

## XLIV

### Первые шаги

Закусил царь удила, намертво вожжи натянул. Вместо двух полков — двадцать снарядил, принялся потешный флот устраивать. Для того перебрался за 120 верст от Москвы, на Переяславское озеро, сам поселился около него, и закипела работа. Скоро были готовы два фрегата и три яхты. Криком и мордобитием подгоняли нерадивых, Петр сам с топором в руках, с раннего утра на ногах, бояре головами трясут: помазанник!

— Так! — кивает Лефорт.

Первые корабли спускали на воду. Лебедями поплыли они по озеру под всеми парусами. Крестный ход, колокольный звон... Петр таращил глаза и отдувался.

— Свершилось, государь! — ласково улыбался Лефорт.

— Мало! — сердито отвечал Петр. — И флот мал, и лужа это — не море!

— Да, да, точно так, государь, — шурился Лефорт.

Неудержимо тянуло море, и в июле 1693 года Петр был уже в Архангельске. Стоял на берегу моря, на скале, обдуваемый ветром: хорошо-то как, Господи! Простор, ветер, тучи!

Царю так понравилось здесь, что он долго не покидал своих северных владений, и только болезнь матери заставила ненадолго вернуться в столицу.

Когда скончалась старая царица, Петр был уже в Москве.

— Теперь-то притихнет, — с надеждой шептали бояре. — Горе-то какое...

Притих, да ненадолго. Похоронил матушку, поскучал, потосковал, и снова пошел дым коромыслом! Фейерверки, шутовские процессии, пиры следовали за пирами, но в свою любимую Кукуй-слободу Петр заглядывал

редко. Даже после кончины матери, когда, казалось, он был уже ничем не связан, поведение царя было довольно скромно, и особого пристрастия к иностранцам он не выказывал. Даже с женою был ласков. Евдокия сияла.

Однако, как только наступила весна, Петр опять умчался на север. Дома оставил вершить дела верных бояр.

Присматривали строго. Притихли недруги Алексей Соковнин, Федор Пушкин и Иван Циклер, не смели ни громко говорить, ни действовать ретиво.

Правда, однажды встрепенулись: царь прихворнул, и довольно сильно: на ветрах северных, должно, простыл. Болезнь развивалась быстро, Петр слег, и царский лейб-медик Блументрост не находил против хвори никаких средств. Он даже в отчаянии приготовился бежать за границу со всем своим семейством. Да и не он один. Лефорт и Гордон, а с ними и другие, тоже держали наготове лошадей и повозки, чтобы бежать подальше от Москвы при первом известии о смерти царя. Не жить им теперь в столице, не жить. Пузатые да бородатые бороды задрали: а вот мы

вас! Потакавшие Петру в его новшествах бояре сильно приуныли. Стрельцы день ото дня становились все более и более дерзкими. Софья ожила в своем монастыре. Кровью запахло на Москве.

Но Петр выздоровел. Могучая натура преодолела неведомый недуг, он быстро оправился и с большей поспешностью принялся за свое дело. Ожила Кукуй-слобода. Воспрянули старые друзья царя.

Пока Петр был на дальнем севере, Гордон и Лефорт заканчивали организацию потешных войск. Были выстроены крепостцы и, когда государь вернулся, были произведены маневры по прежнему плану. Была пальба из пушек холостыми зарядами, крики «ура», были увечные. Князь Ромодановский, победитель, получил титул кесаря, или государича, и таким образом стал вторым лицом после Петра.

Однако потешные бои тоже наскучили государю. Он хотел на деле показать всему народу разницу между новыми и старыми вой-

сками, да и самому хотелось увенчать себя лаврами героя, московских на место поставить, турку проучить. Были предприняты азовские походы.

К Азову пошли две армии: одной — стотысячной — командовал боярин Борис Петрович Шереметьев, а другую, в двадцать две тысячи, — боярин Шейн и Патрик Гордон. Под Азов пошли и старые стрелецкие, и новые потешные полки.

Тяжело пришлось русскому воинству под Азовом. Выходило всегда так, что на, труднейшие осадные работы назначались нерасторопные бестолковые стрельцы, их же бросали в самые опасные места во время штурмов, — гибли сотнями, а новые потешные войска оставались в целости. Стрельцы роптали, болезни косили людей, Петр носился, не зная отдыха, сорвал глотку. Одежда болталась на нем, как на колу. Город обложили со всех сторон — птица не пролетит.

Наконец многотрудный поход был завершен, 19 июля 1696 года Азов сдался. Петр ликовал. Тысячи русских остались лежать в чужой земле. Победа! Виктория...

## XLV

### Победители

**В** начале того же года скончался старший царь Иван Алексеевич. Петр как раз был в Москве. Похоронив брата, вернулся под Азов и был при его сдаче.

Осенью старая Москва впервые видела триумф победителей. Еще тащились голодные, драные полки по дальним дорогам, а Петр с потешными въезжал в столицу.

На Каменном мосту были устроены триумфальные ворота наподобие древних римских: две пирамиды, перевитые зелеными ветвями; статуи Марса и Геркулеса с поверженными у их ног турками и татарами; изображения Нептуна и других мифологических божеств перемежались с картинами, представлявшими различные сцены славного похода и подвиги прежних царей русских; было множество надписей в стихах и в прозе; золото, парча и шелковые ткани, пушки, ядра, знамена — все, что только можно было придумать, употребили на украшение этих ворот.

Торжественный въезд победителей происходил 30 сентября при бесчисленном стечении ликующего народа. Все улицы, ведущие к Кремлю, тоже были украшены тканями и ветвями. Бесперывный колокольный звон плыл по всей Москве, ружейная и пушечная пальба, звуки труб, литавр, барабанов потрясали воздух. Таращился люд московский на невиданное зрелище.

Главными лицами торжества были Лефорт, адмирал юного русского флота, и Шейн, главнокомандующий войсками сухопутными. Лефорт ехал на золотой колеснице, сделанной наподобие морской раковины и украшенной изображениями тритонов и морских чудовищ. За ним следовали вице-адмирал Лима и контр-адмирал Лозер, каждый со своей свитой.

Шейн, в черном бархатном кафтане, узанном жемчугом и драгоценными камнями, с большим белым пером на шапке и с обнаженною саблею в руке, ехал верхом, окруженный свитой. Солдаты тащили по земле турецкие знамена, а за ними брел пленный татарский мурза.

Главный же виновник торжества, государь, сжав губы и выкатив глаза, шел перед Преображенским полком в простом офицерском мундире. Шествие заключал отряд генерала Гордона.

Когда триумфаторы въезжали на Каменный мост и гений, появившийся над воротами, при помощи огромной трубы громогласно приветствовал каждого из них стихами, в которых воспевались их воинские подвиги, другая процессия въезжала в Москву через нижние Воскресенские ворота. Под виселицею, устроенною на огромной телеге, стоял изменник Янсен с петлею на шее, на высоких подмостках, окруженный палачами и орудиями казни.

Через несколько дней после этого праздника злодей был казнен, а верные сыны отечества, знатные полководцы, были осыпаны милостями и наградами царя.

Веселилась Кукуй-слобода, счастлива была Аннушка. Ждала она милого друга — дождалась.

А многие матери и жены напрасно выбежали на дорогу...

## Неукротимая

**М**ного стрельцов полегло под стенами Азова, много калек, безруких, безногих, в страшных язвах и в обтрепанных стрелецких кафтанах появилось в Москве — сам черт им был не страшен: не такое видали на турецких стенах, в пороховом дыму... Страшные истории рассказывали — не больно их слушали, насмехались: подумаешь, вояки! Только бы вам, стрельцам, со стрельчихами сидеть да пузо греть, ничего более не умеете. Знаем, как Азов-то брали! Говорили про потешных: вот-де кто молодцы, а стрельцы не умеют ни врагов побеждать, ни родную землю защищать.

Крепко обиделись стрельцы, но наплевать на них Петру — преданное ему новое войско у него выросло, появился невеликий, да свой его флот, оставалось только довершить задуманное — разом прибрать недовольных, разметать раз навсегда стрельцов, благо было теперь кем заменить их.

Но самому не хотелось опять лезть в кровавые дела, сидеть в пыточных башнях, быть на казнях. Для этого у него было немало преданных ему бояр, хотя бы тот же князь-кесарь Федор Ромодановский. Уж кто-кто, а он-то никогда не считал, сколько голов порублено, и не мерил, сколько крови пролито. В случае же неудачи на него и вину свалить можно.

Очень может быть, что именно такие сообщения и подсказывали Петру необходимость поездки за границу.

Уже давно тянуло его туда. Хотелось посмотреть заморскую Кукуй-слободу, настоящую, большую, где не будет ни бояр, ни жены и никто не станет указывать, что нужно делать.

— Правильно, ваше величество, — говорил Лефорт. — Самое время земли поглядеть. Да и чего бояться — страшнее, чем у нас, не бывает.

— Так! — отвечал Петр.

Заграничной поездки царь не пугался — немало у него там было порассеяно своих людей. В разные зарубежные страны были отправлены молодые люди учиться заморским

премудростям, и, куда бы за рубежом ни явился царь, везде он мог встретить своих подданных.

Кроме того, не было теперь у царя помех — он был один, у него развязаны руки, стрельцы рассеяны, Софья в монастыре. Раньше хоть матушка покачает головой, когда пьяный домой заявится, теперь и укорить некому, Евдокия не в счет, царь и вовсе перестал сдерживаться. Уже не тайком бывал в Кукуй-слободе, а открыто ездил туда, дневал и ночевал в монсовом доме, пиры да попойки шли ежедневно.

А в Москве, во дворце, дни и ночи проливали слезы совсем забытая царица Евдокия. Когда наезжал лапушка, было еще хуже: пьяный, весь в табачище, какая там любовь! Кого родит после таких ночей царица? С тревогой прислушивалась, как бьется во чреве дитя...

Все реже и реже видала она своего царственного супруга, если он и появлялся, то совсем ненадолго, появится и скроется, будто торопливо собираясь куда-нибудь, вечно спешащий. Повсюду по Москве шли толки об обиде молодой царицы, уже поговаривали,

что задумал царь постричь ее в монастырь, и всегда, как на злую разлучницу, указывали на немчинскую девку Анну Монс.

Царь словно бы и про Софью позабыл. Нельзя было сказать, чтобы был он особенно строг к ней: не так уже худо жилось бывшей самодержице. Хоть и не могла она никуда выезжать, но зато ее «келья» была в несколько палат, отделанных со всей доступной роскошью. К Софье допускали всех, кто приходил к ней, из боярской среды посетителей не было, но зато в Новодевичьем в изобилии бывали стрельцкие жены — ежедневно били челом опальной царевне, памятуя ее прежнее добро и нисколько не боясь царевых палачей.

Неукротимая царевна Марфа, пользовавшаяся полной свободой, хотя и жившая с сестрой, бывала всюду, где только можно было бывать царевне, и из каждой поездки приносила все более и более радостные вести. Она рассказывала, что бояре недовольны царем, хотят отделаться от него, что стрельцы не пойдут против бояр и помогут им. «Да сбудется!» — молила Софья, широко шагая по покоем. И шли письма, шло горячее слово Со-

фьи по всей Руси.

## XLVII

### Пламя под пеплом

Притаившийся Соковнин стал действовать смелее. Его люди открыто кричали по кабакам, возле церквей, стрельцы открыто будоражили народ: а знаете, православные, что сказал пред смертью царь Иван Алексеевич? «Брат мой живет не по церкви: ездит в Немецкую слободу и знается с немцами».

И, слыша эти слова, повсюду, во всех кружках, на площадях и базарах, говорили: не честь делает себе государь, а бесчестье.

Самые интимные подробности пребывания Петра у немчинов стали служить темой для толков не только в избах простолюдинов, но и в колодничьих палатах:

— Какой он государь? — говорил о царе Петре колодник Ванька Борлют в застенке Преображенского приказа одному из своих товарищей. — Какой он государь? Бусурман он: в среду и пятницу ест мясо и лягушек... царицу свою сослал в ссылку и живет с инозем-

кою Анной Монсовой...

Наконец заговорило и духовенство. Бывший прежде келарем в Троице-Сергиевской лавре монах Авраамий подал царю грамоту, в которой прямо говорил, что Петр своим блудодейством соблазняет народ. «В народе тужат многие и болезнуют о том, на кого было надеялись, думая, что великий государь возмужает и сочетается законным браком, и тогда, оставя младых лет дела, все исправит на лучшее; но, возмужав и женясь, он уклонился к потехе и, оставя лучшее, начал творить всем печальное и плачевное».

Петр разорвал грамотку, церковь заволновалась. Пока за Петра стоял только один простой народ, который памятовал, что царь — помазанник Божий и его сердцем Бог управляет.

А что Алексей Соковнин? Он весь в делах. Ведь другого такого случая скоро и не дождешься. Соковнин подсчитал своих сторонников, и ему показалось, что есть полное основание ожидать успеха. Но Соковнин в одном, в главном, промахнулся. Царевна Софья не была уведовлена ни одним словом о его

замыслах, о заговоре и ничего не знала о готовившемся событии.

Заговорщики по старинке решили идти напролом. В ночь Сретения 1697 года ударить в набат; перепуганные жители всполошатся, переполох перекинется на Кремль, Петр выбежит в испуге, как когда-то — тут ему и конец. Весь этот хитрый план цареубийства принадлежал Ивану Циклеру. Он давно постарался о том, чтобы стрельцы были готовы и пьяны, а коли новые войска выступят на защиту царя, стрельцы должны были вступить с ними в отчаянный рукопашный бой.

— Сметем! — гудели стрельцы. — Ослобоним Русь от ирода!

...День Сретения клонился к вечеру, когда в палатах боярина Соковнина собрались главари заговора. Сидели в столовом покое, ждали набата, кубки с заморскими винами лихо опоражничивались, глаза горели, языки развязывались. Говорили уже не стесняясь: казалось, что неудачи в задуманном деле быть не может.

Вдруг под окнами раздался скрип поло-

зьев, сильно хлопнула дверь, слышались тяжелые шаги.

— Кого-то еще Бог дает? — недоумевающе промолвил Соковнин, оглядывая своих друзей. — Как будто все тут. Разве с вестями кто?

Распахнулась дверь столового покоя, и тут со многих уст сорвались восклицания испуга, на лицах отразились тревога и ужас. На пороге стоял тот, кого они менее всего ожидали, — сам царь Петр Алексеевич.

## XLVIII

### Затушенный пожар

Он был в Преображенском, у Лефорта, когда туда из Москвы примчались двое стрельцов: пятисотенный Ларион Елизаров, тот самый, который уведомил царя Петра о готовившемся покушении Шакловитого, и пятидесятник Григорий Силин. Перебивая друг друга, закричали про заговор, про набат, про боярина Соковнина.

Яростен был гнев Петра. Ведь Соковнин по жене был его родственником. И в заговоре! Сорвался с места, стал метаться по палатам,

приказывать, топтать ногами. Преображенскому капитану Лопухину велено было явиться в Соковнинские палаты с ротой солдат ровно за час до полуночи. Сам Петр сейчас же умчался в Москву, боясь, что и среди гостей Лефорта могут быть близкие Соковнину лица, которые предупредят его о том, что заговор открыт. Никому не сказал царь ни слова о том, куда и зачем он едет. В спешке он явился к заговорщикам прежде, чем прибыл туда военный отряд. Не дожидаясь Лопухина, один вошел к заговорщикам, заговорил, дергая щекою:

— Здравствуйте! Ехал я домой, вижу — сквозь ставни огонь, думаю — дай проведу боярина Алексея Прокофьевича. По-родственному.

Соковнин первым успел оправиться от испуга и смущения и, низко кланяясь, довольно спокойно ответил:

— Здрав будь, государь великий, на многие лета! Осчастливил ты нас.

Петр окинул взглядом собравшихся. Кроме смиренно склонившегося пред ним хозяина, окольничего Алексея Прокофьевича Соковнина, он увидел его зятя, боярина Матвея Пуш-

кина, Лукьянова, присланного с Дона казаками, стрелецких голов Филиппова и Рожина, а среди них — уже давно опротивевшего ему Ивана Циклера.

Петр разглядел и мрачные физиономии стрелецких пятисотенников, имен которых он не знал. И тут только понял царь, в какую ловушку попал. Он был один против всех, и эти люди, пока еще с плохо скрываемым страхом смотревшие на него, давно задумали убить его во время переполоха, а теперь он сам, даже без ножа явился к ним и не мог уйти. Изменись в лице, сделай шаг к двери — заговорщики поймут, что все их замыслы открыты, и, спасая свои головы, не задумываясь, уложат царя на месте. Оставалось идти напролом и не показывать вида, что замысел обнаружен. Одно лишь хладнокровие может спасти его.

— Рад и я, — стараясь придать своему грубому голосу оттенок ласковости, ответил он Соковнину и сел за стол, придвинув к себе кубок с вином. — Да и как же мне не радоваться там, где мне рады? Ой, как мало друзей у меня! Все-то на меня волками смотрят, моего го-

сударева дела не понимая. О чем у вас беседа-то шла?

— О твоих победах, государь, беседовали, — вкрадчиво ответил Циклер, — вспоминали, как ты из-под Азова на Москву вернулся. Вот-то было торжество — такого у нас и не видывали. Когда твой родитель из-под Смоленска возвращался, так то ли было?

Лицо Петра несколько прояснилось. Недавнее ли вспомнилось ему, вино ли успокоило, только царь охотно принялся рассказывать об осаде Азова, переживая все заново, зорко на дверь поглядывая: вот явится капитан — другой разговор будет...

Его слушали, затаив дыхание, ждали, когда ж наконец ударит набат.

Иван Циклер в эти мгновения опять ушел в свои мечты. Стрелецкому полковнику уже грезилось, что исполнилось все то, чем расплял его на цареубийство Соковнин. А Соковнин говорил немало: если дело кончится успехом, так — кто знает? — ведь и царевич Алексей Петрович неведомо сколько протянет: болезненный, щуплый, заморыш. Господь Бог по душу посылает, не разбирая, чья

душа: смерда ли или царская. Тогда же как знать? Вот Борис Годунов при таком же царе боярином был, а потом и на царство сел. А чем он лучше Ивана Циклера? И не слушал стрелецкий полковник царского рассказа, далеко-далеко были его мечты.

Вдруг к его уху наклонился сосед и шепотом проговорил:

— Чего же набата-то не слышно? Или еще не пора?

— Пора, давно пора! — загремел в ответ царский голос.

Чуток был слух у Петра. Он на лету уловил последнее слово и понял, о чем шла речь. Дальше сдерживаться не мог. Кровь ударила в голову: ему ли холопов бояться?! Петр сорвался с места, с поднятыми кулаками кинулся на вскочивших гостей Соковнина. Раздались глухие удары. Соковнин, взметнув руками, тяжело рухнул на пол, оглушенный царским кулаком, следом за ним повалился и Циклер. Сунулся было Матвей Пушкин, но удар по переносице мгновенно ошеломил его.

— Негодники! Тати ноцные! — хрипел царь. — Набата ждали! Вот вам мой набат! —

И бил своими могучими кулаками направо и налево.

Заговорщики с побитыми лицами сбились в одном из углов, не осмеливаясь выйти оттуда.

Двое стрельцов бросились на колена и с мольбою протягивали к царю руки, а он не видел уже ничего — кроваво плыла перед глазами горница...

## XLIX

### После расправы

За дверями слышались тяжелый топот и бряцание оружия. Это подоспел Лопухин с ротою своих гвардейцев.

— Ты что же это, такой-сякой? — заревел Петр, кидаясь к капитану. — Заодно с этими?! Предать царя захотел? Так вот же тебе! — И звонкая пощечина раздалась.

— За что, государь? — воскликнул Лопухин, хватаясь за щеку.

— А там разберем. Бери их, вяжи!

Лопухин кинулся исполнять царское приказание. Все, кто был в покое, мгновенно бы-

ли связаны и, беспомощные, жалкие, с разбитыми, окровавленными лицами, стояли теперь, поникнув головами, пред грозным царем.

— Ты что задумал? — накинулся Петр на Соковнина. — Чем я пред тобой повинен?

Боярин поднял страшное от кровоподтеков лицо и, шепелявя, ответил:

— Немчинам ты предался. Твои холопы царицу по щекам бьют, а тебе хоть бы что. Не царь ты нам, а антихрист!

Петр отвернулся; его рука было поднялась, чтобы нанести удар, но, должно быть, голос совести удержал его. Он отвел свой взор от Соковнина и грозно взглянул на стоявшего рядом с ним связанного Циклера.

Тот словно ожидал этого взгляда и, должно быть, прочел во взоре государя тот же безмолвный вопрос.

— А и я тебя повиню! — закричал он. — Не царь ты нам, и сие я скажу в глаза тебе. Не московская у меня в жилах кровь течет, а та, зарубежная, что твоему сердцу теперь так стала мила. Не холопом я к тебе пришел на твою службу... А что ты надо мной задумал

сделать?

— Что? — хмуро спросил царь. — Ну, говори, если смеешь!

— Над честью ты моей задумал посмеяться. Слушайте, православные, слушайте вы, воины христолюбивые! Сведаль он, — указал Циклер на царя, — что жена у меня и дочь хороши, так и задумал учинить над ними блудное дело. Мало ему стало кукуевских немчинок-девок... Так в то число я, Циклер Иван, как про его замыслы узнал, порешил, что мне с ним делать... В пять бы ножей изрезать его, и то мало...

И опять, должно быть, совесть заговорила в душе царя. Стерпел он и эти слова: Циклер, как и Соковнин, в смертном отчаянии правду говорил. Скрипнул зубами.

— Взять их всех! Пусть в Преображенском приказе от них правды доведаются, а теперь я на них и глядеть не хочу.

Солдаты окружили захваченных заговорщиков.

— Марш! — скомандовал Лопухин, а сам смело подошел к царю и спросил: — За что же ты меня, государь, обесчестил?

Петр только посмотрел на него.

— Тебя? Ах, да, я тебя ударил. За что же?.. Да, да... Ты опоздал, не в тот час, в который я повелел, пришел сюда, и я один был против всех. А тут меня убить хотели.

— Великий государь, прости меня на слове! — ответил Лопухин. — Ни на волос не опоздился я, пришел, как надлежало по твоему указу, и даже немного раньше. Послушай!

Петр насторожился. С ближайшей колокольни доносились мерные удары — било одиннадцать часов.

— Вот час, в который указал ты быть мне, — промолвил Лопухин.

— Да, да! — воскликнул Петр. — Теперь я помню все. Прости меня, пожалуйста! — И с этими словами он обнял капитана.

Царское посещение нагнало такого страха на соковнинские палаты и на всех живших в них, что никто даже не вышел, когда уводили хозяина и его гостей.

А вскоре по всей Москве зарокотали, будя спавших, звуки набата. Всполошилась столица. На улицы выбегали люди, взглядывали на

небо, но зарева нигде не было видно. Вдруг набат оборвался — как-то сразу. Возбужденные москвичи в недоумении разошлись по своим домам и только на следующее утро узнали, что значила эта полуночная тревога. Многие пришли в ужас, и не столько от вестей о соковнинском замысле, сколько от того, что не было удачи ему. Знали, что рекою польется на Красной площади кровь и что казни будут без числа.

А царь, чудом избежавший смертельной опасности, провел эту ночь в Кукуй-слободе. Неожиданно прибыв туда, он едва не узнал, что в гнездышке, которое устроил для своей любезной Анхен, только что была другая птица, куда помельче орла — так, плохонький коршун-стервятник, да и не русский, а привозной, зарубежный.

## L

### Расправа и с живыми, и с мертвыми

Верно вели умнейшие головы Немецкой Слободы свою линию. Новая Юдифь невидимыми, но неразрывными цепями связала молодого царя, осталось немного, чтобы сделать его послушным своим орудием.

Но Господь все вершит по-своему...

Анна Монс, эта разбитная мещанка, заученно ласкала московского великого государя, а ее сердце принадлежало уже другому. Веселый балагур, неутомимый в изобретении всяческих пакостных забав, Франц Лефорт в ту пору владел этим неверным сердечком. Но не ради любви добивался он победы: нужно было держать Анну в руках, и Лефорт держал ее так крепко, что она ни разу не вышла из повиновения, исполняла все, что он приказывал ей, и влияла на государя так, как угодно было Лефорту.

А тот метил далеко: задумал ни много ни мало, а видеть дочь кукуевского виноторговца коронованной русской царицей. Для этого

все средства хороши: едва заметная усмешка, тонкий намек — и смешной кажется русская царица Евдокия, и бежит от нее Петр к Анне. А там как знать... Всякое может случиться... Став московскою царицею, Анна Монс в случае смерти Петра явилась бы регентшей до совершеннолетия его сына, и кто же тогда, как не ее любовник, был бы первым лицом в государстве?..

Но только с одним Патриком Гордоном, главным вдохновителем и руководителем всей интриги, говорил о задуманном Лефорт. Анне же он никогда ни одним словом не выдавал сокровенных помыслов, и та была уверена, что, любя Лефорта и лаская царя, она действует во благо своих соотечественников.

Само собой разумеется, что Петр Алексеевич ничего не подозревал. Он наслаждался любовью и был уверен, что любим взаимно. Никогда даже и на мысль ему не приходило, что у него могут быть соперники. И Лефорт отгонял от себя эти думы, хотя частенько среди ночи холодел он, услышав стук копыт.

По соковнинскому делу шел спешный розыск. На очной ставке в застенке Циклер за-

перся и говорил, что если он и бывал у Алешки Соковнина, то вел разговор о покупке лошадей для полков. Когда же его стали пытаться, он не выдержал и подробно рассказал обо всем задуманном, выдав всех своих сообщников.

Соковнин был бит плетьюми и повинился. После него повинились и все остальные. Царевна Софья на этот раз осталась в стороне, но зато при вторичном допросе Циклера раскопали неизвестную дотоле вину скончавшегося за двенадцать лет пред тем боярина Ивана Михайловича Милославского, отца первой жены Тишайшего царя, и, стало быть, деда неукротимой царевны Софьи. Еще тогда этот ближайший родственник правительницы был главным зачинщиком первого стрелецкого бунта, и государь, узнав об открывшейся новой вине, решил покарать за нее преступника даже и после смерти.

В Москве, на Красной площади, был возведен высокий каменный столб, в него были вделаны железные острые палки. В тот день, когда это сооружение было закончено, в Пре-

ображенском вывели на плаху Соковнина, Циклера, Пушкина, стрельцов Филиппова и Рожина и казака Лукьянова. Когда они стояли на плахе, из-за околицы села показалась невиданная, небывалая процессия: несколько больших свиней, похрюкивая, тащили по две в ряд тяжелые сани, а на санях стоял ветхий, почти истлевший, покрытый грязной рогожей гроб. Его подвезли к месту казни и установили у плахи. Когда сняли крышку, страшное зловоние распространилось вокруг. В гробу лежала сероватая, потерявшая всякую человеческую форму масса, среди которой были видны белые черви, уцелевшие обрывки богатой боярской одежды — все, что осталось от славного московского боярина Ивана Милославского, тестя царя Алексея Михайловича.

Замелькал в воздухе топор палача, одна за другой покатались головы Соковнина и других заговорщиков, их кровь лилась прямо в гроб с останками знаменитого боярина.

Царь стоял и смотрел на казнь, и его лицо даже не вздрагивало, как обыкновенно, а только губы кривила злая улыбка.

— Добро тебе, сестрица милая Софьюшка,

вывернулась ты, обелилась, а все-таки это — твоих рук дело. Так вот на ж тебе, угощайся!..

Отрубленные головы заговорщиков были воткнуты на железные колья на столбе, возведенном на Красной площади Москвы, и оставались там, пока не сгнили.

## LI

### За рубеж

**У** царя каждый день новые заботы. Спит по четыре часа, сам замотался, всех замучил: последние приготовления к заграничной поездке. Сперва надо стрельцов разогнать, благо есть куда. И вот чтобы обезопасить Москву, стрелецкие полки были разосланы на дальние границы: в Азов, Белгород и другие места. Большая часть их — на Литовскую границу. Из-за волнений в Польше были отправлены ополчения новгородского и псковского дворянства. Свыше семидесяти тысяч войск отправлено было против турок, до сорока тысяч послано в Царицын для рытья канала между Доном и Волгою. Петр задавал работу всему огромному государству, ставил своих воевод,

чтобы иметь постоянный надзор за недовольными. Над стрельцами — свои, верные государю люди.

Всякий, кто был опасным, возбуждал подозрение Петра — даже отставные стольники, стряпчие и престарелые военные, — не был оставлен без внимания. Одним из них было приказано жить в Москве на виду у правительства, другим же — в их деревнях, считай, в ссылке. Для охраны Москвы были оставлены только гвардейские полки: Семеновский и Преображенский, в преданности которых не могло быть сомнения.

Главный надзор за внутренним управлением государства был поручен ближнему стольнику, князю Федору Юрьевичу Ромодановскому, знаменитому князю-кесарю, государичу: рыхлый, медлительный Ромодановский бойким умом не отличался, а жесток был до зверства. В помощь Ромодановскому был составлен государев совет из четырех знатнейших бояр: Льва Кирилловича Нарышкина (дяди царя), князя Петра Ивановича Прозоровского, Тихона Никитича Стрешнева и дядьки царя, князя Бориса Голицына. Пред

отъездом Петр строго-настрого приказал своим боярам как можно скорее покончить с нелюбимой женою, чтобы, возвратясь, он нашел ее уже в монастыре.

В первых числах марта 1697 года все приготовления к отъезду завершились. Было составлено великое царское посольство, которое ради изъявления дружбы и приязни российского государя должно посетить главнейшие дворы Европы. Главою посольства назначен любимейший друг Петра, Франц Яковлевич Лефорт. Вторым послом был боярин Федор Алексеевич Головин, настолько возлюбивший иноземщину, что без всякого приказа, одновременно с царем, сбрил бороду и щеголял лихо закрученными усами. Усы усами, а Головин был умен, весел и предан.

— Политик! — говорил про него Лефорт, толк в людях понимающий.

Третьим послом назван дьяк Прокофий Иванович Возницын, уже не раз бывавший за рубежом и посетивший в качестве посла Персию, Турцию, Польшу, Венецию.

Сам Петр, желая оставить за собой полнейшую свободу действий, скрыл себя под име-

нем десятника Петра Михайлова, строго приказав не именовать себя государем, обещав послушникам мордобитие. Кроме дворян посольства, чиновников посольской канцелярии, свита состояла из семидесяти отборных гвардейцев с офицерами, нескольких шутов, гайдуков и карликов.

Вместе с посольством под вопли и слезы маменек отправилось тридцать пять молодых дворян для приобретения познаний в науках. И 9 марта громоздкий поезд (270 человек разного звания) выехал из Москвы, а Петр, отслушав молебен в Успенском соборе, присоединился к посольству на другой день в селе Никольском. Отсюда посольство направилось через Новгород и Псков, и 25 марта, в день Благовещения, уже перевалило за шведско-лифляндский рубеж.

Жадно смотрел на все Петр Алексеевич. Исполнилась заветная мечта молодого царя: мир он увидел, мир новый, прекрасный.

Однако были казусы. В Риге его чуть не арестовали: вздумал срисовать городские укрепления, и Петр поспешил уехать отсюда в гневе, назвав город проклятым местом. Зато

в Пруссии он несколько зажился из-за польских дел. И только когда Август Саксонский, избранный поляками на королевский престол по грозному настоянию русского царя, не желавшего видеть польским королем «петухового» кавалера (французского принца Конти), вступил с саксонским войском в Варшаву, русское посольство отправилось далее на Запад.

К нему навстречу уже спешили две образованнейшие женщины тогдашней Германии — курфюрстина ганноверская София и ее дочь курфюрстина брандербургская София Шарлотта. Свидание Петра с курфюрстинами произошло в герцогстве Целле, в местечке Коппенбрюге...

Мать и дочка, чем-то очень похожие, живые, порывистые и тоненькие, с нетерпением ждали высокого гостя, о котором ходило столько слухов. Переговаривались, спрашивая друг друга, каков же он, государь российский, и как нужно его принять.

— Говорят, он был красавцем в детстве, — улыбалась Шарлотта. — Он поражал всех жи-

востью ума, любознательностью.

— Да-да, говорят, что он очень был похож на дядю Федора Кирилловича, — вспомнила мать. — Красавец был, статный, высокий.

— Говорят, безобразный образ жизни, казни, вино и женщины очень испортили его, — краснела нежная дочка. — И что он так долго не едет?! Это неприлично, в конце концов!

Раздались тяжелые шаги, и появилась длинная фигура. Женщины невольно съежились: до того великаном показался царь, а лицо его, которое подергивали судороги, производило неприятное впечатление. Тяжел был и быстр пронизывающий взгляд царя.

— Приветствую вас, государь, — склонились в поклоне курфюрстины. — Рады вас видеть у нас.

...Петр заметно дичился. Коппенбрюге уже не Кукуй-слобода, и в нем он был не владыка жизни и смерти людской, а так себе, простой десятник, Петр Михайлов. Когда пригласили к курфюрстинам, он не хотел идти и долго отговаривался. Наконец пошел, но с условием, чтобы при приеме не было никого из посторонних.

Войдя, он первое время держал себя как застенчивый ребенок. На все вопросы и любезности отвечал: «Не могу сказать», «Не могу знать», и при этом закрывал лицо рукой, чем немало удивил женщин, однако, когда его пригласили ужинать, то за столом вся его застенчивость понемногу пропала. Он позволил войти придворным кавалерам, пил сам из больших стаканов и чуть не насильно поил из таких же стаканов чопорных придворных, не обходя своим вниманием и дам, нередко взвизгивавших от его пощипываний и похлопываний.

После ужина Петр так разошелся, что даже пустился танцевать. Оттаяли курфюрстины, явившиеся посмотреть на Петра, как на диковинку, присланную к ним нецивилизованною восточною Европою.

В своих записках они свидетельствуют о том, что московская диковинка произвела на них впечатление необычное. Они увидели пред собой необыкновенного человека, поразившего их своими блестящими способностями и варварством, показывающим, из какого общества вышел он и какое воспитание полу-

чил.

«Царь высок ростом, — записала курфюрстина София ганноверская, — у него прекрасные черты лица, он обладает большой живостью ума, но при всех достоинствах, которыми его наградила природа, желательно было бы, чтобы в нем было поменьше грубости. Это — государь очень хороший и вместе очень дурной. В нравственном отношении он — полный представитель своей родины. Если бы он получил лучшее воспитание, то из него вышел бы человек совершенный, потому что у него много достоинств и необыкновенный ум».

«Я представляла его гримасы хуже, — записала в своих мемуарах София Шарлотта, — чем они на самом деле, и удержаться от которых из них не в его власти. Видно также, что его не выучили есть опрятно, но мне понравились его естественность и непринужденность».

Петр же в своих письмах, отзываясь с удовольствием о «копненбрюгенских веселостях», написал, что у тамошних дам кость хрупкая, у некоторых из них, когда он танце-

вал с ними, как будто ребра ломались. Государь говорил о неведомых ему дотоле корсетах. Петр часто весело вспоминал, как хохотала дочка, когда он спросил простодушно, почему это немецкие дамы такие костистые.

Чем дальше ехал Петр Алексеевич, тем все более непринужденным становился он. В Сардаме надавал пощечин какому-то Марцену, за что последний получил прозвище рыцаря. В Лейдене в анатомическом театре Бургава, заметив отвращение своих русских спутников к трупам, заставил их зубами рвать мертвечину, а будучи в Утрехте на лекции профессора Рюйша, до того увлекся этой лекцией, что расцеловал в восторге прекрасно препарированный труп ребенка. А до Москвы докатилась молва: ест, антихрист, детей! Побывал он и в Англии, оставив по себе память не столько своими эксцентрическими выходками, сколько любознательностью и страстным желанием работать.

С утра до вечера, измочалив спутников, он в бегах по цехам и верфям, по мастерским и причалам.

— Это что? Это зачем? Это как? — спрашивал отрывисто.

И все запоминал накрепко.

— О, какой умный этот Петр Михайлов! — говорили англичане, как до них говорили немцы и голландцы.

## ЛII

### Милославское семя

**В** Москве тихо, дремотно: царь далеко, и вроде бы и нету его — то-то славно! Не в одной голове опять заворчался вопрос: «А что если?»... Удобное время к тому, чтобы разом уничтожить все ненавистное новое и вернуться к возлюбленному старому, дедовскому.

Стрельцы, высланные из Москвы, заворчали. Начали ворчать и московские люди. Ведь среди москвичей стрельцы имели и друзей и родных, и конечно, эти друзья не могли не возмущаться, что их близких послали куда-то за тридевять земель на убой и трату. А тут еще по какой-то причине боярский совет решил передвинуть войска: стрельцов из-под

Азова на литовскую границу, а на их место — московские полки. Побежал народ из литовских стрелецких полков, шли босые и рваные, чтобы хоть глазком поглядеть на дорогу Москву.

Нехорошие, темные вести поползли по столице.

— Пресветлейшую царицу нашу бояре-безбожники с белого света сживают! — вслух кричали на одной площади. — По щекам ее нещадно бьют, в монастырь идти заставляя!

— Царевича антихристовы бояре изводят! — кричали на другой. — Боярин Стрешнев Тишка задушить его хочет.

— Веру православную запоганили! — гремели на третьей. — Морды брить всем будут! Царь едет и проклятых лютеров с собой везет!

— Само имя стрельцов с корнем вывести хочет, — сообщали беглецам, — желают, чтобы препоганые потешные на Руси войском были!

Слухи росли, роились, а среди них всегда был главный: «Одна у нас печальница и заступница — пресветлая царевна, самодержица Софья Алексеевна. Идти к ней, вывезти ее

из монастыря да челом ударить, дабы защитила нас!» Беглые болтались по Руси, многие остались в Москве, другие возвращались к своим полкам и приносили туда смутные вести.

Забурлила Москва. Бояре растерялись, не знали, что делать, а царь-надежа неведомо где.

Царевна Софья Алексеевна не бездействовала. Годы в монастыре не укротили ее; по-прежнему мощен был ее дух, и яростно кипела в ее сердце злоба на брата-царя. К ней уже гуртом валили калики перехожие, певцы-слепцы, жены стрелецкие с плачем и слезами о своих бедах. Софья знала все, что делается в Москве: неужто вот он, настал ее час для борьбы с братом?

— Как думаешь, Марфушка?

Царевна Марфа горой за сестру. Она была ее языком в Москве; Софья не имела возможности говорить — говорила за нее сестра.

И вот уже в стрелецких полках читают новую грамоту: в Москву звала Софья стрельцов, и не только их, но и казаков. Обещала деньги, земли, царскую милость, обещала лег-

кую службу в родных местах.

Грамота подействовала, стрельцы поняли, что они осуждены на гибель, должны были бороться, иначе конец.

Едва настал июнь 1699 года, как по Москве пронеслись ужаснувшие многих вести: стрельцы в составе четырех полков шли от Великих Лук. Царских войск в столице было совсем мало; боярский совет растерялся. Иные кинулись в деревни, иные заперлись за высокими заборами в Москве. Стрельцы надвигались, к ним примыкала голь перекатная, а Москва, недовольная царем, готовилась стать на их сторону.

— Не бойтесь! — передавали стрельцы через своих верных людей в столицу. — Мы идем к Москве милости просить о своих нуждах, а не драться и не биться.

Москва кипела, бурлила, а мятежники подходили все ближе и ближе. Бояре решились на риск и послали против них роты стольников, стряпчих, жильцов и дворян московских. За ними с частью гвардейцев пошел Гордон; ополченскими же войсками назначен был командовать боярин Шейн. Шли они с возмож-

ной скоростью и едва успели занять Воскресенский монастырь, в сорока верстах от Москвы, как к реке Истре стал подходить стрелецкий авангард.

Гордон укрепился в монастыре 17 июня. Шейн же завел переговоры со стрельцами, которые были отделены от царских войск одной только узенькой речкой Истрой. Шейн через посланных уговаривал стрельцов возвратиться в Великие Луки, обещал заплатить невиданное жалованье, — короче улещал всячески.

— Не воротимся! — бодро и зло кричали в ответ стрельцы. — Москва уже близко... Мы пришли повидаться с нашими женами и детьми!

— Смотрите, путь на Москву закрыт для вас, — предупреждали посланцы Шейна.

— Мы откроем его! — слышались крики. — Ваших пушек не боимся — не такие видали!

С барабанным боем, с распущенными знаменами, пустив впереди священника с крестом, переправлялись стрельцы через Истру. Шейн, щадя их, приказал дать залп из пушек вверх. Ядра перелетели через головы насту-

павших, но это нисколько не образумило их.

— Чудо, чудо! — кричали в рядах напиравших стрельцов. — Сам Господь поборает за нас. Пушки поганцев не берут православных!

И Шейн взъярился, заорал на пушкарей, багровея.

Следующий залп, пущенный в гущу людей, произвел великое опустошение. Первые шеренги были сметены, а «которые не валились от ядер, то сами падали на землю и не смели шевельнуться», — рассказывает историк. И в это мгновение на перепуганных, обезумевших от страха стрельцов налетела царская конница. Сколько тут полегло — неизвестно. Толпами загоняли несчастных в Воскресенский монастырь, и скоро их там было свыше четырех тысяч.

### LIII

## Возвращение царя

Опять дело стрельцов было проиграно, и на этот раз уж безвозвратно... Заходили по Москве важные победители, бородами затрясли. Начались пытки и казни. И тут-то князь-кесарь Ромодановский показал себя. Стрельцов вешали, рубили им головы, били кнутом.

На первых же порах погибло несколько сотен.

Москва замолкла в ужасе: ничего подобного не видано было даже в страшные времена Грозного Царя, а впереди готовилось горшее. Быстро возвращался царь Петр Алексеевич в родимую Москву и не прежним уже он был. Раньше он не совсем дочиста скоблил себе бороду и не постоянно ходил в немецком платье; теперь же и сам он, и все те, кто были с ним, явились «во блудоносном, гнусном образе» — без бород и в немецком платье.

Царь Петр Алексеевич возвращался через Польшу и застрял там у своего друга-приятеля Августа Саксонского. Дым коромыслом

шел в эти дни в польском королевском дворце: насилу-насилу вырвался русский царь. Ехал он спешно, и в его свите было новое, близкое ему лицо — польско-саксонский резидент Кенигсек, молодой, красивый, изящный, вкрадчивый. Царь оказывал ему большое внимание, но сильно косился на него любимец царя Алексашка Меншиков: помять бы тебе бока, красавцу сладенькому!

20 августа по Москве разнеслась весть, что поздно вечером накануне вернулся наконец из-за рубежа царь и проехал не во дворец свой, не к своей супруге кроткой, ласковой, на сына не пожелал взглянуть, а прямо с дороги отправился он в Кукуй-слободу, к немчинской девке Анне Монсовой, и бражничал там всю ночь до утра.

Москва была оскорблена: так-то с победителями не поступают. Но ни одна живая душа и пикнуть не посмела: у государича расправа была короткая, а у государя — и того короче. Но пока еще царь ничем не выказывал своего гнева. Известно было только, что из Кукуй-слободы он перебрался в Преображенское и там занимался делами с сопровождавшими

его иностранными послами. Многие из них отъехали назад в Москву. Сведали также московские люди, что, едва прибыв, царь сейчас же себе на просмотр стрелецкий розыск потребовал и читал его по ночам.

Тихо-тихо стало в Москве в эти дни. И прошел слух, что зовет к себе царь бояр в Преображенское. И поняли тогда, что начинаются теперь расправы за все прегрешения.

Кто поумнее, поспешил снять бороду, вырядился в немецкий короткополый камзол, и, конечно, такими Петр остался очень доволен. Но недогадливых было больше: многие с бородами явились, как бывало, в блестящих охабнях. Вышел царь Петр; одним ласковое слово сказал, со всеми поговорил, да только видели все, что мрачен он, а его лицо то и дело кривит улыбка, нехорошая улыбка. Вслед за такими улыбками много крови проливалось.

Хуже того, вышло так, что один малоразумный боярин в такие-то мгновения вдруг заспорил с Францом Лефортом, укоряя его, что он «блудный образ имеет, сняв божеское украшение мужское — бороду».

— А у тебя больно длинная борода! — нагло ответил ему разозленный Лефорт. — Смотри, не привязная ли она!

И, не долго думая, он нанес великое оскорбление, которое испокон веков на Руси считалось поносным: дернул его за бороду.

Не мог стерпеть это боярин, дребезжаще закричал «бесчестье» и побежал царю на дерзкого жаловаться.

Царь слушал, и его лицо темнело.

— Немчин, говоришь ты, тебя избидел? — спросил ласково. — Так что же я-то, царь ваш, помазанник Божий, тоже, по-твоему, — немчин, ежели бороду снес? Так вот вам: ежели по бороде народ считаете, так все вы у меня немчинами будете.

Он захлопал в ладоши. Из соседнего покоя выскочила целая орава шутов, заранее приготовивших ножницы.

— Окарнать всем им бороды, да и полы кафтанов тоже! — раздался грозный голос царя.

И тут случилось то, что и во сне не снилось. С гиканьем, визгом кидались шуты на бояр, молодых и старых, ключьями вырезыва-

ли им бороды, обрезали полы их кафтанов и платьев. Стон, плач, проклятья слышались в покое; только двое — боярин Тихон Стрешнев и князь Михайло Черкасский — остались с бородами, остальные все лишились «божеского мужеского украшения».

Но и этим не кончилось. Петр всем приказал оставаться на пиру, оскорбленные бояре должны были, скрепя сердце, веселиться вместе с царем и «погаными немчинами», хотя у каждого слезы стояли на глазах и стоны были в сердце.

— Погоди теперь! — кричали по Москве. — Теперь уж народ не стерпит!

Но ничего, народ стерпел. Поговорил, поговорил, да и замолчал себе. Иные даже сами над боярами насмехались, все их обиды вспомнив, все тяготы да войны, что без нужды устраивались.

— Ничего! — говорили самые смелые. — Теперь наш государь пузо-то им прищемит! Теперь слезы-то народные отольются!

## Последняя беседа

«Ну, сестрица милая, — сказал как-то сам себе государь. — Пора теперь и за тебя браться!».

И, не трогая пока стрельцов, принялся за свою неукротимую сестру Софью Алексеевну. Сам производил дознание.

В один из сентябрьских дней пожаловал в Новодевичий монастырь. Из розыска ему было уже известно, что не одной только рассылкой грамот к мятежникам провинилась пред ним неукротимая сестра: ему было ведомо, что ее московские сторонники в то время, когда в Москву шли мятежные стрельцы, подкопались под келью царевны, вскрыли пол и чуть было не вывели ее из монастыря, да только бдительность гвардейского караула, в особенности его начальника, князя Трубецкого, помешала этой отчаянной попытке окончиться успехом.

Софья даже не встала, когда в ее келье появился брат. В последние десять лет она редко

видала его, но теперь, когда Петр вошел, и взглянуть не захотела, понимая, что для нее все кончено. До этого мгновения в течение десяти лет она все еще жила слабой надеждой, что, быть может, ей удастся гордою орлицею вылететь из-за монастырских стен, утолить жажду мести; но все рушилось, страшный брат одолел.

— Пришел я, сестрица, побеседовать напоследях с тобой, — присаживаясь напротив и пронизывая ее своим огненным взглядом, заговорил Петр.

— О чем говорить-то нам? — ответила Софья. — Все, что можно было, то другие за нас сказали, а глумиться тебе надо мною нечего. Ничего ты этим не возьмешь.

— Да не для глумления я пришел к тебе, — жалея ее и сдерживаясь, ответил Петр, — а так... Не могу же я забыть, что хотя я — нарышкинец, а ты — Милославского семя, а одна в нас кровь течет. — Голос царя зазвенел. — Знаешь, поди, что на Москве-реке и на Истре было, да и сверх того тебе ведомо, что и впредь вот в эти дни будет...

— Полно! Не гневи своего сердца, — зло

усмехнулась Софья. — Как будто и немного в нас одной крови... отцовская-то, ну так что ж? Может быть, и эта кровь поразжижена в тебе, братец.

— Молчи! — хрипло крикнул Петр и так ударил кулаком по столику, что раскололась его доска. — Будто не видишь, что мы с тобой во всем одинаковы — и нрав у нас один, и воля! Мы все крутить беремся и скручиваем. Так что ж тут говорить-то? Если бы твой верх был, ты-то пощадила бы меня? Пожалела бы меня, а? Ну-ка, скажи мне правду!

— Ни за что! Никогда! — так и вспыхнула Софья. — Правду ты сейчас сказал, одинаковы мы... Два медведя, Петр, в одной берлоге не уживаются. На самую малую минуточку удалось бы мне верх взять, так не было бы тебя в живых. Вот тебе моя правда, ты хотел ее.

— Спасибо! — глухо ответил Петр. — Знаю, ты ненавидишь меня. За что же?

Софья ответила не сразу.

— Нет! — после некоторого молчания произнесла она. — Не раз я, сидя вот здесь, в тиши, сама себя о том спрашивала, и не было ненависти к тебе в моем сердце. Да и как ей

быть-то? Ведь помню я, как ты родился. Я тогда еще девкой была, и, как теперь помню, ба-тюшка наш, хвастаясь, тебя принес и мне на руки дал. Еще тогда огненное чудовище с хвостом по небу ходило и людей пугало; помню, говорили тогда: «К великим бедам это знамение небесное, антихрист народился». Вот так оно и вышло. Злое ты дело делаешь для своей земли, Петр, ох, какое злое, поверь моему слову! От народа ты отшатнулся, к иноземцам ударился, их обычаи заводишь... Только ты один, а народ твоих новшеств не хочет. Ты вон за рубежом был, попригляделся, поди: народ-то там такой же, как и наш московский — тот же зверь лютый, что и здесь у нас. Да только разница, что зарубежные народы свой путь проходили века, а ты хочешь весь свой народ вровень с ними в малые годы поставить. Ведь невозможно это... Вон оберегатель уж то ли не умница был, то ли он не перевидал на своем веку! И в немецком платье любил щеголять, не брезговал им, и табачным зельем дымил, а от дедовской старины не отказывался. Говаривал он: «Хорошо за рубежом, да и у нас не худо». Вровень мы с зару-

бежными идем, а ежели все переломать да перековеркать, а потом так поломанное и бросить, — не будет из этого толка. Что ж ты думаешь? Я над таким делом, вот какое ты вершить теперь хочешь, не раздумывала, что ли? И так, и эдак прикидывала, да видели мы с сберегателем, что ежели Русь на зарубежный лад повернуть, так она в хвосте всех соседей пойдет, и каждый из них, кто захочет, над нею измываться будет. Ломка народ погубит и мощь в ней ослабит.

Думаешь, ежели боярина в немчинское платье перерядить да бороду ему снести, так он совсем по-зарубежному умным будет? Нет, не дождешься этого! Ты и сам-то вот немецкий кафтан одел, а душой-то весь прежний остался: только кулаком действовать умеешь и сам одного кулака боишься. Разумное слово тебя не проберет: смысла у тебя не хватит, чтоб понять его. И много ты наделаешь беды. Пока еще ты живешь, все кое-как у тебя ладиться будет, а умрешь — прахом пойдет твое дело. Иноземцы засилье возьмут, и будет у них твой народ рабами. Вот тебе мой сказ!

— Сестра! — воскликнул Петр. — Поми-

римся! Забудем! В великом почете я тебя около себя поставлю, вознесу так, как тебе и во сне никогда не снилось, Ваську Голицына тебе верну, пользуйся им на старости лет. Помиримся!

— Ого, какие ты песни, братец, запел! Так вот что я тебе скажу, царь-государь московский: как только выйду я за эти стены, хоть ты сам меня выведи, так сейчас же весь народ на тебя подниму. Знаешь ведь, Москва меня любит. Увидят меня — все за мной пойдут, а ты и ночи после этого не переживешь.

— Змея! — выкрикнул Петр, хватаясь за рукоять сабли. — И ты смеешь говорить мне это?

— А что же? — злобно ответила Софья. — Не одни немецкие шуты правду говорят русским царям. Чем еще сманивать выдумал! «Возвеличу», говорит! Что ж ты меня в постельницы, что ли, меня, царскую дочь и свою старшую сестру, к своей немчинской девке поставишь, когда на ней от живой супруги женишься и ее русской царицей сделаешь?

Софья оборвалась на полуслове. С хрип-

лым воплем вырвал Петр из ножен саблю и кинулся к ней. Софья стояла, не дрогнув, со скрещенными на груди могучими руками, статная, высокая, и даже великан Петр в сравнении с ней казался меньше.

Сабля уже взвилась в воздухе; еще мгновение — Софья упала бы пораженная, но тут кто-то кинулся к ногам царя и схватил их, громко крича:

— Государь! Не забудь, она — твоя сестра! Бога вспомни!

Это одна из монахинь, приставленных к царевне-заточнице, не помня себя, кинулась на защиту ее пред остервенившимся братом.

Этот вопль заставил Петра опомниться, сабля выпала из его рук, и он опрометью бросился вон из сестриной кельи.

На крыльце его ждал Лефорт.

— Что с вами, государь? — тревожно спросил он, видя перекошенное лицо своего царя и друга.

Петр в порыве бросился к нему на шею, шакал, обнимая его, и, прерывая свои слова рыданиями, произнес:

— Что эта за женщина!.. Как она умна, и

как жаль, что у нее такое злое сердце!

Это было последнее свидание Петра с сестрою.

Вскоре Софья была насильно пострижена в монашество с именем Сусанны, а затем ее заставили принять схиму. Вместе с Софьей пострижена была и другая неукротимая сестра царя, Марфа. Имя ей было дано Маргарита.

## LV

### Разрыв

Очередь была за царицей. Однако мало знал характер своей жены великий государь. Ни боярам, ни патриарху не удалось заставить Евдокию дать согласие на посестрие, то есть на пострижение в монастырь. Петр взялся за нелегкое дело сам.

На пороге ее покоев остановился надолго: о чем с ней говорить-то? Будет теперь слезы лить, в ноги бухаться. Эх, Аннушка, радость ты моя! Вздохнул и вошел.

— Поговорить надобно, Евдокия...

И замер пораженный. Не покорная раба

сидела перед ним — нет, то была орлица во всем блеске грозной красоты. Гневом пылало ее лицо. Сына крепко прижимала она к себе. Единственного, бесценного, второй ее ребенок умер в младенчестве. Перед нею лежал раскрытый псалтырь: она, видно, читала вслух мальчику.

— Пришел я, Авдотья, — с некоторым усилием выговорил Петр, — одно дело повершить... При нашем разговоре Алексею быть не надлежит... Вышли-ка его к мамкам да нянькам...

Тяжело сел на низенький стульчик. Накануне с сумерек была великая попойка, и без того больная голова болела еще сильнее. Да и направляясь в Большие Терема к жене, для храбрости, чтобы язык развязался, Петр тоже выпил, но теперь и хмель не брал его: как-никак, а в этом деле он не чувствовал себя правым, и слова туго шли с заплетавшегося языка. А тут еще горевшие ярим гневом глаза жены подсказывали ему, что объяснение будет не из легких...

— Знаю я, с каким ты делом пожаловал ко мне, Петр Алексеевич, — выговорила нако-

нец, едва сдержав волнение, Евдокия Федоровна, — ведомы мне твои помыслы и ведомо все, что надумал ты. Пусть же и сын мой все ведает, не хочу отсылать Алешеньку.

— Ой, Авдотья! — так и загорелся Петр. — Отошли лучше добром! Не спорь со мною, не таких, как ты, видывал и в ярмо вводил... Отошли сына...

— Не отошлю! — упрямо воскликнула царица.

Петр подошел к ней и схватил ребенка за плечо. Перепуганный царевич закричал, заплакал и вцепился в одежду матери, но в следующее мгновение он был уже в руках отца.

— У-у, змееныш! — проскрипел тот зубами. — Эй, кто там есть, мамки, няньки!

На зычный оклик вбежало несколько бледных как полотно боярынь. Евдокия Федоровна бросилась было к сыну, но отлетела в угол, отшвырнутая могучей рукой мужа.

— Возьмите царевича, — приказывал тот, — отвести в покои сестры моей, царевны Натальи Алексеевны и, пока я не вызову, близко сюда не подходить!

Царский наказ еще не был закончен, а бо-

ярыни уже исчезли, унося с собой плакавшего и кричавшего царевича. Супруги остались одни.

— Напрасно противиться задумала, Авдотья, — заговорил Петр Алексеевич, — счастлив твой Бог, что не гневен я еще, а то бы...

Он не закончил, но сверкавшие глаза и без слов выразили его мысль.

Царица поднялась с пола. Она не плакала, ее лицо словно застыло вдруг.

— Сказала ты, что ведомо тебе, зачем я сюда пришел, — продолжал Петр, зорко следя за женой, — ежели так, и лишние слова мне тратить не нужно... Да, Дуня, не судил нам, видно, Господь Бог счастья... Уж не кривой ли поп нас с тобой венчал? Разные мы с тобой, и ты ко мне подрядиться не можешь... Думать не хочу, что не желаешь; вижу — желаешь, да не можешь... Так вот, чем нам кошкой с собакой в одном мешке жить, лучше разойтись нам...

— Тебе в Кукуй-слободу, а мне в монастырь! — неистово выкрикнула Евдокия Федоровна.

— А что же, ежели и так? Я вон буян, шум-

ник, прелюбодей, — так мне и место в Кукуй-слободе, а ты тихая, кроткая, смиренная, кому же мои грехи отмаливать в монастыре, как не тебе? Я нагрешу, а ты отмолишь. Затем тебя я и в монастырь посылаю.

— Грех-то разве ты помнишь?

— А то нет, что ли? Эх, Дуня! Вот и теперь-то ты меня не понимаешь... Да ты подумай только, каков я? Ведь мать меня от какого-то небесного огня зародила.

— То-то и говорят! — усмехнулась царица.

Эти слова, да еще сказанные Петру прямо в глаза, ударили ему в душу. Недавно услышал такое же от сестры Софьи, теперь — и от нелюбимой жены.

— Молчать! — заревел он в бешенстве. — В застенки пошлю, батогами забью, а голову на Красной площади на рожне выставлю!..

— Посмей-ка! — злобно усмехаясь, ответила маленькая женщина, превратившаяся в тигрицу. — Пальцем только посмей меня тронуть, так тебя народ в ключья разорвет! Того не забудь, что царица я, венчанная царица! И любят меня, а тебя все ненавидят, антихристом считают. Ежели из-за твоей блудной

сестры гиль да смута не переводятся, так из-за меня, царицы, конец твоему царствованию придет. Не потерпят православные... Всех их тебе не казнить, найдется кому и с тобой управиться...

Такого отпора Петр не ожидал. Как ни был гневен, сразу понял, что в ее словах — правда, сообразил, что для него, для задуманного им дела нельзя доводить до крайности народное возбуждение. Теперь он уже ненавидел жену и в то же время боялся ее.

— Не будем, Дуня, препираться, — сдерживаясь, почти ласково сказал он. — Кто из нас неправ, то Бог рассудит... Он Один — Судья меж нами. Не ты первая с престола царского в монастырь идешь... Вспомни царицу Соломону.

— Так та бесплодна была, — возразила Евдокия Федоровна, — а я тебе двух сыновей наредила...

— Один остался...

— А второго, еще не рожденного, кто замутил?

Петр сделал вид, что не слышит этого вопроса.

— У царя Ивана Васильевича и детные жены в монастырь уходили, — словно вскользь заметил он, — а его царство от того не рушилось... И ты пойдешь! — вдруг снова раздражаясь, закричал он. — Даю тебе последний срок до завтрашнего утра, а то... а то, Дуняша, ведь и ты бездетной статься можешь... Подумай над этим моим словом...

Евдокия Федоровна страшно вскрикнула. Как ни закалилась она в эти годы душевных испытаний и бурь, но тут уже не выдержала и лишилась сознания.

Петр задумчиво посмотрел на нее, потом махнул рукой и вышел из царицына покоя.

— На завтра чем свет, — приказал он встретившейся на дороге боярыне, — приготовить надобно колымагу: царица на богомолье в Суздаль отъедет... Сейчас она мне о том сказывала, как я ей ни перечил...

Сказав это, Петр умчался в Кукуй-слободу. Мрачно было на душе.

Все вышло так, как желал царь Петр Алексеевич. Девятилетний сын Алексей был отнят у бедной женщины и передан на воспитание

родной сестре царя, Наталье Алексеевне, а несчастная Евдокия Федоровна была увезена в Суздаль, где и пострижена в монашестве с именем Елены в Покровском женском монастыре. Все было устроено, и теперь оставалось только залить кровью Москву, навсегда отучить ее даже думать о сопротивлении царю.

## LVI

### Кровавая заря

Утром 30 сентября из села Преображенского в Москву выехал страшный поезд в сто телег, которые ехали одна за другой, и в каждой сидело по два осужденных стрельца, с обрешанными у рубях воротами, с подстриженными сзади волосами. У каждого из них в руках по зажженной свечке. Сзади, неистово голоса, бежали их жены и дети. У Покровских ворот страшную процессию ожидал сам Петр, На этот раз он был не в немецком платье, а в старом московском.

В его присутствии были прочтены стрельцам их вины:

«В расспросе с пыток все сказали, что было придти к Москве и на Москве, учиня бунт, бояр побить и Немецкую слободу разорить, и немцев побить, и чернь возмутить... умышляли... И за то ваше воровство указал великий государь казнить смертью».

До 22 октября с перерывами продолжались казни. Стрельцов казнили у всех ворот города, вокруг Земляного города, на стенах по Белому городу, на Красной площади, в стрельецких слободах и у съезжих изб.

У Новодевичьего монастыря, как раз под окнами кельи царевны Софьи, повешено было более двухсот стрельцов, и трое из них, качавшиеся у самых ее окон, держали в руках копии с челобитной, в которой они просили царевну принять над ними правление. Целые пять месяцев оставались эти трупы пред окнами царевны, и она должна была глядеть, как воронье расклевывало тела преданных ей людей.

В Преображенском казни были обращены в забаву. Иногда, когда шумный пир достигал своего разгара, приказывали вывести из тю-

рем десятков-другой стрельцов, чтобы «поразить руки». Пьяные собутыльники царя рубили стрелецкие головы. Рекорд палачества остался за Алексашкой Меншиковым. Он доказал, что может, не выпуская из рук топора, одну за другою срубить двадцать пять голов.

Нелегко доставалось кровопролитие царю Петру. Его нервы не выдерживали этого ужаса. По свидетельству одного из близких к нему людей, он дергался по ночам так, что брал с собой в постель одного из денщиков и, только держась за его плечи, мог заснуть.

Страшен был царь. Однако и народ был устрашен. Искры пожара вконец залили стрелецкой кровью.

Сурово покарал Господь государя: один за другим умерли его друг Лефорт, преданный ему боярин Шейн, победитель мятежных стрельцов, и, наконец, Патрик Гордон. Но Анна Монс оставалась единственным его утешением. Петр уже не скрывал ни от кого, что хочет жениться на ней. Смерть Лефорта лишила Анну ее лучшего советчика, отодвинула планы Петра. Заметалась Анна. Казалось, до-

билась она всего: московский царь полюбил ее. Именно такая женщина была нужна ему — статная, видная, ловкая, высокогрудая, со страстными огненными глазами, находчивая, вечно веселая, это не слезливая курица Евдокия.

Анна Монс была идеалом женщины для Петра, и если бы Лефорт не умер, так, может быть, она и была бы русской царицей; но, оставшись без руководителя, она помаленьку измельчала, показала себя только жадной мещанкой и похотливой бабенкой. Ослепленный любовью Петр осыпал ее подарками, дарил ей целые поместья и назначал ей сборы. Он издал указ, по которому все, за исключением простолюдинов, должны были брить бороду; тот же, кто хотел сохранить эту красу, должен был платить особую пошлину, и весь сбор шел в качестве ренты все той же Анне Монс. «Остановись, Анна, будь умной», — говорил ей Лефорт. Теперь кто скажет? Анна выпрашивала подарки. Кто хотел добиться чего-нибудь от Петра, прямехонько шел к ней, к Анне, бил поклоны, нес приношения.

Алексашка Меншиков, превратившийся

уже в Александра Даниловича, только практиковался в лихоимстве, Анна брала, не стесняясь. Данилыч языком поцокивал: какова?

В конце 1699 года царь выехал под Азов. Нежнейшие письма писала ему из Немецкой слободы его Анхен, и чаще всего эти письма, посмеиваясь, диктовал ей заменивший Лефорта саксонско-польский резидент князь Кенигсек. Любовница царя до безумия сама влюбилась в него, красавчика, который в своем кругу зло высмеивал и кукуевскую возлюбленную, и венценосного рогоносца. Глупый был красавчик, не Лефорт, не Гордон.

Петр читал эти письма где-нибудь в палатке, на берегу холодного моря, под шум ветра, и чудилась ему в теплом доме, в ласковом свете любимая им до слез Аннушка, до которой сотни и сотни верст пути... И просил он у судьбы одной милости: сохранить ему любимую...

# НА ЗАКАТЕ ЛЮБВИ

## I

### Полет событий

Свезли на кладбище трупы казненных Стрельцов. Попритих народ московский. Лежали в земле верные товарищи Петра. Особенно горевал государь о Лефорте, на которого во всем мог положиться и советы которого высоко ценил.

Кто остался? Часто думал об этом царь, можно было по пальцам пересчитать верных людей. Шереметьев да Апраксин, Репнин, Долгорукий, Салтыковы... В Кукуй-слободе никого, кроме Аннушки, да и она странная какая-то стала, на ласки неохотная, часто грустит. Спросит царь:

— Что с тобой, Аннушка?

Она не ответит, только вздохнет.

Алексашка Меншиков увидит бурю на лице Петра Алексеевича — песней, пляской, метким словцом развеселит, как в былые годы. Но ненадолго — снова закручинится госу-

# НА ЗАКАТЕ ЛЮБВИ



дарь, с чего бы?..

— Стареем мы с тобой, Данилыч! — вздохнет Петр Алексеевич.

Может, и вправду другим стал Алексашка, вчерашний поручик Преображенского полка, верный друг царя? А может, дело-то в другом.

— Э, Алексашка! — скажет ему в редкие минуты царь. — Наследника у меня нету!

— Будет! — горячо отвечал Данилыч. — Ты что, государь, старик, что ли? Будут и парни, и девки у тебя, и какие еще! Да мы еще и Алексея Петровича поднимем! Будет тебе верным помощником!

Будет ли? Хилый, хворый царевич. Смотрит волчонком — все помнит.

— Мало у меня помощников, — нахмурился Петр Алексеевич. — Есть люди верные, да воры!

Александр Данилыч опускал глазки: за что обижаешь, государь? Жизнь за тебя отдам. И отдаст жизнь за царя Меншиков, а что вор — так натура такая, не переделаешь. Хоть кнут том исполосуй, хоть морду искровяни, как не раз делал государь, — не поможешь.

Великий был человек Александр Дани-

лыч — ив делах, и в воровстве. Такого мздоимца не знали давно.

— К Алексашке Меншикову, — говорил между прочим московский гость Романов одному из своих знакомых, — государева милость такова, что никому такой нет.

— Што ж, — отвечал знакомый, — молитва о том Алексашки к Богу, что государь к нему милостив.

— Тут Бога и не было: черт его с ним снес, вольно ему, что черту, в своем озере возиться, желает, что хочет.

В Анне Ивановне Монс Меншиков конечно, видел не только соперницу, но и страшного врага своего. Он знал, что Петр намерен жениться на ней, и как бы он высоко ни поднялся при государе, не подданному было бороться с царицей, хотя бы уже по одному тому, что «ночная кукушка всегда дневную перекукует».

И Меншиков скоро сообразил, как ему бороться с этой всемогущей женщиной.

## Друг другу равные

**Х**итер был Алексашка, знал, что клин клином вышибают. Только некогда было ему заниматься войной с бабами. Возвратившись из-под Азова, царь никому не давал передышки, и даже о пирах ничего не было слышно. Да и до того ли было Петру? Успевай только поворачиваться!

В Москве беспокойно. Развелись и дневные, и ночные грабежи, грабили даже монахи. Однажды сам царь подвергся нападению смиренных иноков, еле отбилсЯ с помощью Меншикова. Что уж о простом народе говорить.

А тут еще новые войны назрели: к Балтике нужно было прорываться сквозь шведов. Датский король Вольдемар, польский король Август (Саксонский) втянули Петра в коалицию против Швеции. Шведский перебежчик Паткуль льстивыми и вкрадчивыми речами успел так завлечь царя, что тот подписал союзный договор и принял обязательство вы-

ставить против шведов достаточное войско.

Между тем Швеция в то время была ближайшей соседкой России. Шведские владения начинались за Псковом. Все побережье Рижского залива, а вместе с тем и вся Нева от Ладожского озера до устья были шведскими. Здесь, при истоке Невы, стояла сильнейшая шведская крепость Нотеборг, а выход в устье заграждала другая крепость — Ниеншацц. Издревле вся эта местность вплоть до реки Сестры к северу принадлежала русским и была уступлена Швеции лишь при первом Романове по Андрусовскому договору.

— Не быть России без моря! — говорил Петр. — Верну наши земли исконные!

А путь к землям исконным, путь к морю лежал через светлую холодную Неву. На то же и хитрый Паткуль напирал, соблазняя выступить против шведского короля Карла XII, которого Петр не на шутку побаивался. Побавался, завидовал ему и зорко следил за «коронованным викингом», как называли Карла XII. Он был государем такого же калибра, как и московский царь, только посдержаннее, однако тоже молодой и азартный. Он не рубил

сам голов провинившимся подданным — упражнялся на баранах. Деликатный в личных сношениях с людьми любого чина, он во время катания по Стокгольму вдруг приказывал своей свите штурмовать дома мирных граждан, а бывали случаи, что штурмом брались даже соборы.

— Мальчишка! — усмехались одни.

— Стратег, — говорили другие.

И были правы: и мальчишка он был, и стратег, и смелый человек. Карл не задумывался с малыми силами напасть на сильнейшего врага, его армия была уже закалена в боях. Седоусые ветераны боготворили его.

Русских Карл ни во что не ставил, не считал за какую бы то ни было военную силу, и когда была объявлена война, то прежде всего кинулся на датчан, захватил врасплох Копенгаген, заставил Вольдемара Датского подписать мир, а после этого двинулся на Августа Саксонского, в каждой битве разбивая его польские войска. Неутешительные вести доходили до Петра.

От него ждали решительных действий, а он занимался чепухой.

Пред 1 января 1700 года через герольдов, ездивших по Москве, было объявлено народу, что отныне год будет считаться не с 1 сентября, а с 1 января, и новогодние празднества было приказано справлять не менее как семь дней.

Праздник так праздник! Русские были всегда не прочь праздновать по какому бы поводу ни было. Семь дней с 1 января жгли по Москве смоленые бочки, на площадях пускали фейерверки, постоянно трещала ружейная стрельба, царевы кабаки торговали на славу, тем более, что в некоторых из них раздавалось даровое угощение — и реформа была принята народом без малейшего протеста.

Отпраздновали, отгуляли, и ближе к осени царь выехал в Новгород, где уже была собрана вся русская армия. Лихие семеновцы и преображенцы стояли рядом с новыми, наспех сколоченными полками. Безусые солдаты в мешковатых мундирах испуганно смотрели на царя, вздрагивая от пробной пушечной пальбы.

В ноябре 1700 года русская армия была уже под Нарвой. Взятие этой крепости Петр счи-

тал важнейшим делом, надеясь, что возьмет под свою власть весь край и, поднимаясь вверх по Неве, поставит сильнейший Нотебург между двух огней, выдвинув против него свои полки и со стороны Ладоги.

Но военное счастье обмануло русского царя. Вскоре после прибытия под Нарву было получено известие, что сюда же форсированным маршем идет шведская армия под предводительством самого короля.

Приутихли бойкие царевы советчики. В Нарве грозно гремели барабаны.

Петр ночью на 18 ноября, когда шведский король был недалеко, покинул свою армию, оставив главнокомандующим австрийского принца де Кроа, надушенного, напудренного, ни слова не говорившего по-русски. Уже в Москве Петр получил известие: русская армия разбита наголову. Спаслась бегством только быстрая конница Шереметьева. Карл захватил огромное количество пленных и ликовал. Были отчеканены медали, на одной стороне которых гордый Карл-победитель, а на другой — бегущий русский царь.

— Погодите! — грозился Петр. — Я еще покажу этому Карлу!

Шведский король, не задерживаясь, двинулся по пятам русской разбитой армии, но у Пскова русские полки, словно вспомнив былые победы дедов и отцов, встали намертво. Гибли сотнями, но не пропустили далее врага. И Карл не стал терять дальше своих солдат, ушел в Польшу, там начал гоняться за войсками Августа, разбивая их при каждой встрече в пух.

До него доходили вести о делах Петра — на них император давно махнул рукой: подумаешь, вояка! Вот разберется Карл с Августом — за Петра примется!

Плохо знал швед русского царя. Не сломила Петра нарвская неудача — подстегнула крепко, стал молчалив, пьянки забросил. Весь в делах, трубка в зубах, треуголка на бровях. Нарвский погром только разжег в нем желание победы над могучим противником. Приказав одному из своих любимцев, боярину Борису Шереметьеву, начать в Эстляндском

крае «малую войну», сам же немедленно принялся собирать новую армию, выбивать деньги на оружие. Ему опять приходилось жить в ненавистой Москве, где каждый уголок напоминал о кровавых жертвах или о потерянных друзьях. Но этого требовало дело, и Петр терпеливо покорялся необходимости.

Собрать новую армию удалось сравнительно легко. Кликнули клич по государству, явилось столько охотников послужить в царских войсках, что с излишком хватило бы на укомплектование разгромленных полков. Но не было денег на обмундирование, на вооружение, на военные припасы. Тогда Петр решился на крайнюю меру. На военное дело была отобрана казна многих монастырей, с колоколен были сняты колокола и перелиты в пушки; обучение новобранцев происходило быстро и жестоко и, словно по щучьему велению, у московского царя выросла новая, готовая для битв и побед армия.

Качали головами выдавшие виды иноземные послы, слали депеши своим королям и царям о русском чуде.

В Эстляндском же крае и в смежном Лифляндском творились ужасы. По всей стране были рассыпаны малые русские отряды. Они вытаптывали хлеб на полях, вырубали и выжигали леса, не щадя жителей, разоряли селения, нападали на хорошо укрепленные малые города. Весь край малой войны обращался в пустыню, и если бы в ту пору Карл двинулся на Москву, то на огромных пространствах он не нашел бы ни жилищ для своих солдат, ни провианта для них — все уничтожалось нещадно.

Малая война непрерывно тянулась около двух лет, принося жителям смерть и горе.

Наконец и русские стали одерживать желанные победы. 18 июля 1708 года Шереметьев разбил при Гуммельсгофе довольно сильный шведский отряд самого главнокомандующего генерала Шлиппенбаха. Почти вся шведская пехота легла на месте, сам Шлиппенбах с немногими всадниками пробился сквозь атаковавших русских и спасся бегством. В Москве звонили оставшиеся коло-

кола. Петр принимал поздравления.

От Гуммельсгофа Шереметьев решил пойти на городок Мариенбург, хорошо укрепленный, с порядочным гарнизоном, в изобилии снабженный провиантом, которого так не хватало русскому славному воинству.

### III

## Мариенбургская невеста

**Ж**ители Мариенбурга не ожидали, что так скоро надвинется на них военная гроза. Они твердо надеялись на свои стены и храбрость защитников и презрительно говорили, что русские могут разорять только эстские и латышские деревни, но на город напасть не посмеют; отучил их-де от этого король Карл. И беспечные мариенбуржцы решительно ни в чем не изменили своей обычной жизни. В городе все шло, как изо дня в день прежде: лавки были открыты, таверны и кабачки полны веселившимся людом. Правда, под защиту городских стен стекались жители разоренных деревень, но и их было не так много, чтобы особенно опасаться русского нашествия.

Однажды по городку пронеслась весть: Вольмар взят, разрушен и сожжен русскими — камня на камне там не оставлено; а Вольмар — ближний городок, такой же веселый, такой же чистенький, как и Мариенбург.

Лишь тогда зашевелились беспечные мариенбуржцы. Закрыты были городские ворота, подняты подъемные мосты, по ночам ни огонька не было видно в домах, и только как тени бродили по городским стенам часовые.

Тревожные минуты переживали жители и, как всегда, утешение пред надвигающейся бедой искали у своего пастора.

Добрый, душевный старик был этот мариенбургский пастор Эрнст Глюк. Немудрые проповеди говорил он в кирке своей пастве, и всякий, кто приходил к нему, мог рассчитывать на доброе слово и дружеский совет.

Пастор был вдов. Его хозяйством занималась старушка-сестра, вместе с нею жила приемная дочь пастора Марта.

В злополучные для Прибалтийского края годы Марта была уже взрослой девицей, высока ростом, полна, румяна и считалась одной из первых красавиц Мариенбурга. Как и

все здешние женщины и девушки, она была не особенно застенчива, свободна на язык, любила посмеяться, потанцевать и не особенно задумывалась над тем, что будет с нею. Да и чего ей было думать о своем будущем? Пастор был добр и хотя не богат, но сбережения у него были, и Марта питала полную уверенность, что старик не оставит ее необеспеченною. Было еще обстоятельство, которое позволяло ей вовсе не думать о своем будущем: Марта была помолвленная невеста. Ее жених Иоганн Рабе, молодой красивый веселый парень, только и мечтал о том дне, когда наконец Марта станет его женою; оба они с нетерпением ждали этого. Марта первую молодую любовью любила своего жениха, Рабе пылко любил невесту.

Но пронеслись тревожные слухи о том, что русские готовятся напасть на Мариенбург.

Душа Иоганна полна была тревогою. Как-то пришел мрачный.

— Марта, Марта, — с тоской произнес он. — Что же будет с нами?

— А что же, дорогой мой? — спокойно спросила его девушка. — Что может быть?

— Русские идут сюда. Придется воевать: ведь я капрал.

— Знаю, Иоганн. Ты думаешь, русские возьмут Мариенбург?

— Все может быть, Марта.

— И боишься их?

— Да нет же, Марта, нет! — с досадой воскликнул Рабе. — Не за себя страшусь я... Не за себя, а за тебя мне страшно.

— Но что же? Что такое? — встревожилась девушка.

— Эх, ты совсем дитя! Неужели не понимаешь, что должно произойти, если русские ворвутся в город?

— Что же? Разве они — не люди?

— Они солдаты. А когда солдаты воюют, они хуже лесных волков; только волки не жгут дома, а эти все разрушают, грабят... Если Мариенбург будет взят, Марта, я живым не дамся в руки. Но тебя они пощадят: ты ведь — женщина, и женщина красивая.

Лицо девушки покрылось ярким румянцем: она наконец поняла, что хотел сказать жених.

— О, милый! — пылко воскликнула она. —

Будь спокоен! Я буду твоею или ничьею. Ты сказал: я — женщина, но ведь и мы, женщины, умеем умирать...

— Спасибо, Марта! — восторженно воскликнул Рабе. — Ты делаешь меня героем... Так слушай же! Что ты скажешь, если мы пойдем к преподобному пастору Глюку и попросим его соединить нас на жизнь и смерть?

Марта опять покраснела и промолвила:

— Делай, милый, как знаешь, я на все согласна.

Однако ни на другой, ни на третий день Рабе не явился в дом пастора: боялся, что Глюк неодобрительно отнесется к его предложению: ведь война на пороге. Но девушке по сердцу пришла мысль возлюбленного. Она сама заговорила об этом с приемным отцом, и Глюк снисходительно отнесся к ее словам.

— Кто знает, милое дитя, что может быть в военное время... Сегодня побеждают одни, завтра одолевают другие... Во Священном Писании сказано, что волос не упадет с головы человека без воли Божией, однако кто же может знать волю Господа? И я смертен, и меня

могут убить в своем ожесточении враги... Не плачь, не плачь! — заметил он слезы на глазах своей питомицы. — Помни, я — слуга алтаря и свято верую, что будет так, как угодно Господу. Я говорю ведь не о том, что это будет непременно, а о том, что может быть. Так вот! Что ты будешь без меня? Одинокая, бесприютная сирота, без родных, без друзей. Если же ты будешь женою Рабе, то в случае несчастья всегда найдешь приют у его родственников. Я согласен ускорить вашу свадьбу, пусть он приходит, и я благословлю вас пред алтарем как мужа и жену.

Рабе прибежал, принеся весть о взятии русскими Вольмара и об их походе на Мариенбург...

Ужасы рассказывали вольмарские беглецы. Солдаты, разоряя несчастный город, не знали пощады: кровь лилась, и пламя пожара скрыло в себе следы неистовств. Рассказывая, Рабе от волнения многое преувеличивал, и впечатление, произведенное его рассказом на слушателей, было потрясающее.

В тот же день пастор Глюк благословил свою плачущую воспитанницу и капрала.

Марта и Иоганн стали мужем и женою.

А через два дня ближайшие окрестности Мариенбурга были заняты русскими отрядами.

Со стен осажденного города видели, как Шереметьев с многочисленной свитой объехал вокруг, осматривая укрепления и назначая места для предстоящего штурма. Городку даже не предлагали сдаться на милость победителей. Зачем? Он был осужден на разорение. Русские дружины не могли пощадить город, оставив его бастионом для шведских войск, каким была еще и доселе находившаяся в тылу у русских Нарва. Боевая необходимость заставляла разрушить все до основания, и Шереметьев не замедлил начать свое ужасное дело.

Никогда ни прежде, ни потом, поднявшись из развалин, не испытывал несчастный Мариенбург того, что в эти дни. Со всех сторон летели к нему тучи ядер. Пушки вокруг гремели не смолкая, стены, не рассчитанные на долгое сопротивление, быстро обсыпались и разрушались. В городе вспыхивали пожары;

треск и шум горевших зданий, рев пушек, отчаянные вопли женщин, — все сливалось в один хаос звуков.

И вдруг совсем близко от стен городка раздалось громовое «ура», вырвавшееся сразу из тысяч здоровых глоток: шли на штурм шереметьевские дружины.

— Последние времена наступают! — воскликнул пастор Глюк, стоя пред дверьми кирки. — Нет, попускает Господь, он карает нас за грехи; чувствую, не будет нашему городу спасения.

Он ушел в церковь и в жаркой молитве склонился пред алтарем. Марта осталась стоять у входных дверей.

## IV

### Овдовевшая новобрачная

Русские между тем подошли к городскому рву, быстро закидали его фашинником, перебрались под выстрелами осажденных на другую его сторону и по штурмовым лестницам полезли на стены. Сверху прямо на их головы осажденные бросали лавины камней, лили горячую смолу, кипяток, но все было напрасно. Часть штурмующих уже прорвалась через бреши за стены. Бой закипел на узких улицах обреченного городка. Начался ад: пылали улицы, разъяренные солдаты бросались в дома, убивая всех подряд. Улицы покрылись кровью...

— Марта! Марта! — вдруг услышала молодая женщина голос мужа.

Она вскрикнула. Зарево было так ярко, что ей удалось рассмотреть Рабе, бежавшего к дому пастора. Он был в крови, его одежда была изорвана, и голос прерывался.

— Я здесь, здесь! — вне себя от ужаса закричала Марта и очутилась около мужа в тот

момент, когда он, задыхаясь от быстрого бега и обессилив от потери крови, упал на крыльцо дома Глюка.

— Скорей, милый, скорей! — дрожа, говорила молодая женщина. — Двери нашего дома прочны. Мы спасемся.

Но она не успела втащить раненого.

На противоположном конце площади показалось несколько русских солдат.

— Ой, — крикнул один, — здесь еще, кажись, никто не бывал.

— Видно, что так, — ответил товарищ. — Поживимся.

— Вот их кирка! — выкрикнул третий. — Пойдем. Там, поди, набилось их, что клопов.

Солдаты, разгоряченные боем, вбежали в церковь и увидели коленопреклоненного пред алтарем пастора Глюка.

— Смотри, их поп, — вполголоса сказал один из русских.

— Вижу. Пришибем-ка его, молодцы!

— Оставь, не трожь! Хоть и не нашей веры поп, а все же Богу молится.

Эти слова подействовали. Как ни разгорячены были штурмом и бойней солдаты, свя-

тость места заставила их пощадить священника. Они тихо вышли из кирки, и тут опять ими овладела прежняя ярость.

— Смотри! — указал их старший на дом пастора Глюка. — Вот куда поганый немчин, за которым мы гнались, укрылся. Идем туда!

Они очутились у крыльца.

— Вот кровь, — раздались голоса, — тут он свалился.

— Я видел, как баба за двери его втащила! — крикнул кто-то.

— Коли так, ломай, ребята, прикладами! — и удары тяжелых прикладов градом посыпались на дверь пасторского дома.

Марта тем временем уже успела перевязать раны мужа. Они были не серьезны, но крови потерял он много. Страшные картины, которые проходили пред его глазами, вконец измочалили его нервы. Рабе плакал, как дитя.

— Ах, Марта, Марта! — восклицал он. — Что за ужас! Всюду смерть, кровь, пламя... Гибнут ни в чем не повинные... Ужас, ужас!..

— Я верю, что мы спасемся, — попробовала успокоить его жена. — Бог не даст нам погибнуть... Мы так молоды, мы любим друг друга,

судьба отнесет от нас весь этот ужас.

— Слышишь? — вскрикнул Рабе, хватая ружье и спешно заряжая его. — Это русские идут сюда.

В дверь застучали приклады.

— Они! — закричала Марта. — Русские!

— Не бойся! — ответил на ее крик муж. — Я защищу тебя... Я своими руками тебя убью, но ты им не достанешься!

Дверь поддалась могучим ударам и соскочила с петель.

— Вот, вот они! — вбегая, закричали солдаты. — Вот немчин-супротивник, вот и баба...

Щелкнул ружейный выстрел. Рабе не промахнулся: один из солдат рухнул на землю. Тотчас же другие разразились яростным ревом.

— Коли его, бей прикладами! — заорал сержант. — Пусть знает, как наших бить!

— Негодяи! — кричал Рабе, но солдаты не поняли его. — Впятером на одного!..

Он бросил ружье, в его руках очутились пистолеты.

Марта, не помня себя от ужаса, упала к его ногам, цепляясь за его одежду.

— Один — им! — крикнул несчастный, стреляя в толпу. — Другой — тебе! — направил он пистолет на жену, но ближайший солдат ловко выбил оружие из рук Рабе, а его товарищ вонзил ему в грудь штык.

— Марта, я умираю! — раздался пронзительный крик несчастного, смешавшийся с воплем его жены.

В тот же момент еще несколько штыков вонзились в трепещущее тело; кровь хлынула из ран, тело подергивалось предсмертными судорогами, страшные хрипы вырывались из горла...

— И немчинку пришибить! — орали разъяренные неожиданным сопротивлением победители. — Вот ей сейчас!..

— Оставь, не трожь бабы! — крикнул сержант. — Не видишь, что ли, красotka... пригодится еще...

## Солдатская добыча

Это были последние слова, которые слышала в тот вечер несчастная Марта Рабе. Страшная сцена убийства ее мужа так поразила ее, что она лишилась чувств.

Только с рассветом Марта пришла в себя. Ее голова болела, все тело ломило, она едва-едва могла пошевелить рукой.

— Эй, голубка, — раздался над ней ласковый мужской голос (Марта Рабе несколько понимала по-русски), — ишь как тебя наши ребята умаяли... Да ничего, ваше дело женское, то ли еще бывает.

Марта сделала попытку поднять голову. Это ей удалось не сразу. Голова была налита свинцом. Однако, кое-как приподнявшись, она увидела около себя сержанта, остановившего накануне разъяренных солдат. Он так и пожирал ее глазами. Марта взглянула на себя и увидела, что она была почти обнажена, — все ее платье в ключьях.

— Убейте меня, — простонала она, — убейте-

те, ради Бога!

— Зачем убивать? — рассудительно ответил сержант, — таких, как ты, красоток не убивают... Может быть, через тебя я свое счастье найду... Вот на, выпей! — протянул он бедной женщине оловянный стакан, налитый до краев водкой, — выпей, говорю, легче будет.

Марта до того никогда не пила водки, да еще простой русской, но теперь ей было все равно. Если бы ей поднесли стакан с отравой, то она выпила бы яд, только бы перестало ломить тело, болеть голова, только бы на миг забыть пережитый ужас. Она не взяла, а схватила стакан и залпом опорожнила его.

— Молодец баба! — выкрикнул сержант. — Желаешь еще? Налью!

Огонь, а не кровь, побежал по телу Марты, сердце вдруг забилося, в голове зашумело, но боль уменьшилась.

— Налей! — ответила она.

— Изволь! Только больше не дам... Дело большое впереди...

Марта выпила еще и почувствовала себя легко, совсем легко...

С тех пор всю свою долгую жизнь оставалась она верна этому так быстро исцелившему ее средству. Оно стало ей дороже всего, и много лет спустя Марта Рабе, впоследствии носившая совсем другое имя, умерла от него...

Но губительный яд, несколько облегчив изможденную женщину, тут же и доконал ее. Непоборимая дремота смежила очи бедняжки, она заснула крепким, тяжелым сном.

Марта проснулась, разбуженная все тем же солдатом, который, видимо, взял ее под свою охрану.

— Ну-ка, сердешная, — будил он ее, — вставай, пойти нам нужно... Вот я тебе одежонку собрал; много у вас всякого добра накопилось, богато тут люди жили...

Он так и сказал: «жили», и от этого слова мороз пробежал по коже Марты: она поняла, что для Мариенбурга, как и для Вольмара, все кончено.

## VI

### На развалинах

Сержант показал ей на груди всякого платья, наваленную прямо на пол, и деликатно отошел в сторону. Марта сообразила, что нельзя слушаться, и стала перебирать одежду. Слезы капали из ее глаз. Она узнавала одежду знакомых ей мариенбургских женщин... Когда Марта совсем уже была одета, сержант возвратился к ней.

— Ишь ты, какая ладная! — с наивным восхищением восклицал он. — Этакой красоте, да пропадать... Разве это возможно? Ну, как тебя — я там не знаю, а будешь ты меня благодарить... Очутишься в счастье — не забудь, смотри! Вспомни, кто тебе его устроил... Идем же!

— Куда? — почти бессознательно спросила Марта. — Куда ты ведешь меня?

— А это увидим там; теперь-то я еще и сам не знаю, куда, — был суровый ответ.

Он вскинул ружье на плечо и заставил Марту идти впереди себя. Так они вышли из

дома, каким-то чудом уцелевшего от пожара, и первое, что бросилось в глаза бедной женщине, был отвратительный труп старухи. Ее голова была размозжена так, что узнать лицо было невозможно. Марта брезгливо обошла труп, даже и не подумав, что пред нею была ее воспитательница, сестра Эрнста Глюка...

Она шла, провожаемая сержантом, и не узнавала города. Там, где еще недавно высились опрятные, чистенькие домики с острыми черепичными кровлями, теперь чернели их уцелевшие от огня остовы, лежали бесформенные груды развалин.

Словно вихрь прошел над Мариенбургом и разом смял его. Развалины были всюду. Среди них догорало пламя, грудями валялись трупы мужчин и женщин, около которых запеклись лужи стусившейся уже крови... Но Марта теперь смотрела на все это равнодушно. После того, что пережила она сама, уже ничто не ужасало ее. Хмель после скверной водки, все еще бродивший в ее голове, приводил ее в состояние полнейшей апатии. Ей в эти мгновения все было безразлично... Хуже того, что уже было, быть не могло.

Сержант вывел ее из развалин, пред ними на поле белели палатки, и Марта сообразила, что он ведет ее в лагерь русских. Ее что-то резнуло по сердцу, но опять апатия преодолела все, и она не сказала своему спутнику ни слова. Он же шел, не обращая на нее внимания, зорко вглядываясь вперед.

В лагере было движение, доносились крики. Большая группа всадников рысью мчалась к разоренному городу.

Сержант остановил свою пленницу и, грубо схватив ее за плечо, сказал, глядя на нее злыми глазами:

— Слушай ты, немчинка! Никак сейчас поедет великий государев боярин... Во всем по-такай ему, что бы он ни пожелал, а ежели перечить будешь, так дух твой поганый из тебя вышибу!

Всадники быстро надвигались на них. Марта рассмотрела впереди нестарого человека, с бритой бородой и маленькими усиками. Он молодцевато держался на коне, но в то же время казался смешным в своем старомосковском одеянии и в высокой горлатной шап-

ке. Его спутники были кто в немецком военном платье, кто в прежних русских костюмах.

Едва кавалькада поравнялась с сержантом, тот, молодцевато выскочив вперед, отдал честь, согласно новому воинскому артикулу, и потом закричал по-старому:

— Государь-боярин, прикажи мне слово молвить!

Ехавший впереди боярин остановил коня, с любопытством взглядывая на стоявшую пред ним пару.

Это был сам главнокомандующий боярин Борис Петрович Шереметьев. Он ехал собственными глазами посмотреть, как обработали его воины Мариенбург, и докончить там разрушение, если что-нибудь важное случайно уцелело.

— Ну, говори, — милостиво сказал он, любясь Мартою, — что тебе от меня надобно?

— Дозволь челом тебе бить, государь-боярин, — смело заговорил сержант. — Поработали мы вот здесь до пота лица во славу его царского величества и на защиту веры православной, а при дележе досталась мне в добычу вот эта самая немецкая баба... А куда мне

ее? Сам, поди, знаешь, какое наше солдатское житье-бытье... Сегодня — здесь, а завтра — там, сегодня — жив, а завтра — мертв...

— Чего же ты от меня-то хочешь? — нетерпеливо перебил сержанта боярин. — Говори скорее!..

— Дозволь тебе челом бить этой немчинской бабой. Ежели не возьмешь ее к себе, одно остается: пришибить. А жаль все же: как ни на есть, а Божья живая тварь, хотя и немчинка.

Шереметьев несколько раз оглядел пленницу. Суровый он был человек, но человеческое ему не было чуждо. Вспомнил он оставленную в Москве семью, жену, на свидание с которой не пустил его царь «прежде окончания дела», и жаль ему стало эту красивую женщину.

— Ну, ин быть по-твоему! — ласково сказал он сержанту. — Пожалуй, у тебя возьму ее, пока сам я здесь, для услуг... Потом же пусть она на все четыре стороны идет, куда глаза глядят... Сведи ее ко мне на кухню, пусть там пока побудет, и сам останься, пока не вернусь я... С Богом, господа кавалеры! — крикнул он

свите и, еще раз взглянув на мариенбургскую пленницу, погнал вперед коня.

Марта не сказала ни слова, но понимала, что в ее жизни совершается новая важная перемена. По крайней мере теперь она освобождена от мучителей-солдат, и это уже радовало ее, хотя на кухне у боярина разве немногим будет лучше. Сержант же между тем чуть не плясал, идя за Мартой через поле; он стал снова ласков с ней.

— Смотри же, — сказал ей, — ежели мне что от тебя понадобится, так не забудь за меня боярину словцо закинуть.

Марта ничего не ответила. Да и что могла ответить она?..

Боярин Борис Петрович хотя и онемечился, и снес себе бороду, и привык к едкому голландскому кнастеру, все же сохранил много замашек дедовской старины. В далекий поход он шел, волоча для одного себя порядочный обоз, и главное место в этом обозе было отведено его боярской кухне. Любил боярин покушать. Много ездило за ним по разоренной стране поваров,стряпок и всякой челяди, нашлось среди нее место и новой служанке —

мариенбургской пленнице Марте Рабе.

## VII

### Старый знакомый

Сержант, доставивший ее на боярскую кухню, остался ожидать возвращения боярина с осмотра мариенбургских развалин. Он оказался веселым, разбитным парнем, но его постоянно бегавшие глаза, не останавливавшиеся подолгу ни на чем, выдавали, что на совести у него не совсем чисто. Будто прикрывая свои мысли, он болтал без удержу, смешил кухонную челядь и очень скоро стал среди нее своим человеком.

— Как зовут-то тебя? — спросили его.

— Вот тоже, нашел, у кого спрашивать! — ответил сержант. — Я-то почему знаю?

— Как? Своего имени не знаешь?

— А то что же? Откуда мне это известно может быть, ежели я и отца с матерью не помню? Надо полагать, я при дороге под кустом родился.

— Крестил тебя поп-то?

— И это мне неизвестно: ежели крестил, так

он мне про то не сказывал.

Все эти ответы вызывали оглушительный смех у невзыскательных слушателей.

— Чудной парень! — говорили они. — Так ведь как же-нибудь тебя зовут?

— Зовут, зовут! Кочетовым сыном прозвали. Промеж своих в полку так за Кочета и иду. Вот мое имя. Ежели угодно, им и величайте, а другого у меня и в завете нет.

Действительно, это был тот самый Кочет, который за десять лет пред тем подсматривал через окно вместе со своим закадычным другом Телепнем за юным царем Петром, когда тот занимался у пастора Кукуй-слободы анатомией, изучая по скелету строение человека. Потом он мучился на дыбе, выдержал немалую пытку и, оправившись после нее, сумел устроиться так, что очутился в рядах новых войск. Кочет был еще молод, пытка не оставила на нем видимых следов, служил он усердно и довольно скоро успел добраться до чина сержанта. Нельзя сказать, чтобы товарищи по полку любили Кочета, но он держал себя так, что они повиновались ему во всем, и среди них он пользовался полным авторитетом.

Кочет сам напросился в отряд, боярина Шереметьева и во время военных действий сумел отличиться так, что был не раз замечен даже самим главнокомандующим.

— Чего ты стараешься? — спрашивали Кочета. — Ведь этакий ты пострел, везде-то поспел!

— А как же иначе? — обыкновенно отвечал тот на такие вопросы. — Счастье — что птица, так вот я хочу его за хвост поймать! — И он упорно продолжал свой путь к какой-то определенной, давно им намеченной и одному ему известной цели.

Человек уж так устроен, что если его охватит какая-нибудь навязчивая мысль, то он так и живет всю свою жизнь под ее властью, стремясь только к тому, чтобы выполнить свое страстное, порою совершенно невозможное желание.

Под властью такой мысли жил уже много лет и Кочет.

Когда-то, еще во времена возмущения Шакловитого, он был взят в розыскной приказ по обвинению в хулении высочайшей царской особы.

Давно это было, а словно вчера: немецкая слобода, дом пастора, освещенное окно, и в глубине комнаты юный царь Петр Алексеевич перед человеческим костяком.

— Дурак, экий я дурак! — ругал себя теперь Кочет за ту глупость: чуть было не погубил и слободу, и Москву, и себя, бестолкового! Телепень-ка увалень скрылся, а он, ловкий, попался! И теперь спина чешется, как кнут вспомнит, и сейчас к непогоде руки от дыбы ломит. Еще хорошо, что тогда в приказе не взялись за него по-настоящему: постегали, подвесили, пошпарили пылающими вениками, а потом и бросили, — «глупый парень, возиться с ним нечего»...

Очутившись на свободе, Кочет запылал дикой ненавистью к неповинному перед ним царю Петру и страшной клятвой пообещал сам себе быть ему врагом во всю свою жизнь...

Кочет, хотя и давал такую опрометчивую клятву, был настолько умен, чтобы сообразить, что такое ничтожество, как он, не может причинить решительно никакого зла великому государю, и поэтому начал стараться

создать себе такое положение, при котором он мог бы очутиться поближе к Петру. Он поступил добровольно в его новые войска, служил ревностно, выделялся своей исполнительностью и храбростью, и наконец ему показалось, что он близок к осуществлению своих мечтаний: красивая пленница, боярин Шереметьев, близкий к царю Петру человек, помогут ему.

И он как будто не ошибался...

## VIII

### Новый властелин

**Б**оярин Шереметьев запомнил о встрече на дороге и, как только возвратился в стан, сейчас же потребовал к себе Кочета и его пленницу.

Долго и внимательно рассматривал он Марту, рассматривал так, что взор ее то и дело потуплялся от стыда, а щеки заливал яркий румянец. Видно, в конце концов Борис Петрович остался очень доволен этим осмотром.

— Ну, добро, добро! — несколько раз повто-

рил он. — Счастье твое, красавица, быть может, пришло к тебе. Ты — твоего попа дочь, говоришь?

— Воспитанница.

— Ну, какая там воспитанница! Ваши попы не польские ксендзы, попадья-то у них под боком, а ведь этот Глюк-то твой вдовый.

— Да, вдов он.

— То-то! Я его изловить приказал. Да ты не бойся, чего запугалась-то? Ежели он уцелел, так мы ему худа не сделаем. Только ты всем говори — слышишь? Всем, кто бы ни спросил тебя, что ты — поповская дочь. Жаль, что твой батько не архиереем был, это еще гораздо лучше было бы. Ну, да ты говори всем, что твоя мать знатного рода, дескать, у нее в числе дедушек и прадедушек шведские короли были. Понимаешь? Пусть там какой-нибудь шведский Густав или Эрик твоим прадедом будет. Ври и не красней, ежели себе добра хочешь!

Боярин так расчувствовался, что даже не заметил, как жадно вслушивается Кочет в каждое его слово.

— Ну, иди, иди! — махнул он рукой плен-

нице. — Помни, что я тебе сейчас сказывал, я же о тебе большое попечительство буду иметь. А так как ты у солдатушек-озорников моих побыла, то, как все обдумаю, для возвращения чести поставлю тебя под знамена, чтобы никто тебя после корить не смел... Теперь же иди, отдохни, тоже досталось ведь.

Марта, поклонившись, вышла.

— А тебя, — обратился боярин к Кочету, — я пожалую... Твоя служба не пропадет.

— Благодарствую тебе, боярин, — поклонился в пояс Кочет, — взыскиваешь ты меня, безродного.

— Погоди благодарить-то, скажи прежде, чего бы тебе хотелось, а я там посмекаю, можно ли устроить сие для тебя или нет.

Кочет переминался с ноги на ногу, не решаясь высказаться.

— Ну, чего же ты? Не держи меня! — выкрикнул Борис Петрович.

— Да вот, боярин-государь, сплю я и во сне вижу, чтобы в гвардии мне служить. Кабы ты словечко замолвил обо мне пред царем!

— Ишь ты какой! — усмехнулся Шереметьев. — Служил в стрельцах-сорванцах, а те-

перь в первое царское войско захотел? Про тебя ли такая честь?

— Да уж там как ты надумаешь, боярин, — нагло глядя на Шереметьева, ответил бывший стрелец. — Приказал ты мне, чтобы я сказал тебе, что мне хочется, так я свое желание и высказал.

Шереметьев засмеялся.

— Ишь ты, ловкач! — проговорил он. — Поймал-таки меня на слове! Ну, быть по-твоему! Подумаю я о тебе, посмекаю, нельзя ли что и сделать, а теперь пойдй на кухню до покормись там.

Он милостиво махнул ему рукой, и Кочет, довольный удачей, с поклонами вышел из шатра боярина.

А в кухонных палатках уже шел дым коромыслом. Каким-то путем пришла и разнеслась повсюду весть о том, как встретил новую пленницу всемогущий боярин и как милостиво говорил с ней.

Марту, по возвращении ее от Бориса Петровича, встретили особенно. У нее уже были и друзья, и враги, и благожелатели, и завистники, и хулители, и льстецы. Вымуштрован-

ная и понимавшая каждый оттенок голоса своего господина, дворня чувствовала, что за милостивыми словами боярина кроется нечто другое, что, может быть, не сегодня завтра красивая пленница будет сильнее всех при Шереметьеве, и загодя старались на всякий случай снискать ее благоволение.

Когда в кухонные шатры пришел Кочет, там шел дым коромыслом. Марта, порядком проголодавшаяся во весь этот день, с тупой покорностью отдалась судьбе. Она не вспоминала о пережитом ужасе, а, может быть, и вспоминала, да старалась подавить в себе всякое воспоминание. Пред нею стояли блюда с вкусными яствами, кубки со всевозможными напитками, и Кочет, едва взглянув на ее покрасневшее лицо, на подернутые пеленой глаза, сразу сообразил, что Марта сделала большую честь последним.

А боярин Борис Петрович Шереметьев еще долго-долго расхаживал большими шагами по своему шатру. Видимо, думы всецело овладели им, роились вокруг него.

— Да, — иногда шептал он, — так-то так, а

только без этого мерзавца Алексашки ничего тут не поделаешь. Счастье еще, что он Монсову Анку терпеть не может, на сем его и изловим. Вот придет он, так посмотрим, что и как...

Даже улегшись в свою походную постель, долго еще не засыпал боярин: слишком уж много было у него всяких дум.

## IX

### Высокий гость

Русские войска не уходили от разоренного Мариенбурга.

Собственно говоря, в Лифляндии все их дело было окончено. После поражения при Гуммельсгофе отряды Шлиппенбаха даже не осмеливались показываться в поле. Страна вся была опустошена до самого Пернова, Риги и Ревеля. «Не осталось целого ничего, все разорено и сожжено», — доносил Шереметьев Петру, который сам ему приказывал «как возможно землю разорить, дабы неприятелю пристанища не было и сикурс своим городам подать было невозможно», — «и в болотах ни-

чего не осталось», — отвечал на это Шереметьев.

Делать в Лифляндии было больше нечего, и Шереметьев только и ожидал царского повеления как можно скорее покинуть разоренный край, в котором и самим победителям угрожали теперь бедствия голода. С таким повелением в лифляндский отряд был послан Александр Данилович Меншиков.

Он прибыл в шереметьевский лагерь под Мариенбургом и был встречен родовым боярином, как дорогой и любезный друг.

Вначале о деле говорили мало, да и нечего было особенно говорить. Царь повелевал Шереметьеву отойти к Пскову и высказывал ему свое благоволение.

— Ну, — обрадовался было Борис Петрович, — как только приведу в Псков полки, сейчас у царя на Москву отпрошусь.

Меншиков даже расхохотался.

— Чего это ты? — удивился Борис Петрович.

— Так, друг! — был ответ. — Напрасно ты себя такой надеждой тешишь.

— А что? Зазимуем под Псковом?

— Отложи попечение! Наслышан я, что в другое место лететь придется.

— Да ну? Куда?

— О том не осведомлен. Одно тебе скажу потайно: зимовать не под Псковом будем.

Шереметьев так и затуманился.

— Ахти, беда! — сказал он. — Притомился я тут за военным делом, сплю и вижу, как бы на родимой Москве побывать!.. Но ежели царю нужна моя служба, так что поделать? Дело допреж всего, а отдыхи и радости потом.

На этом пока разговор кончился. Боярин повез гостя сперва к развалинам Мариенбурга, а потом устроил парад войскам.

Во время парада с толпой шведских пленников была подведена под полковые знамена и Марта Рабе.

Меншиков или боялся Шереметьева, или искал его помощи, но только с ним он был на редкость ласков и почтительно вторил ему.

После осмотра Шереметьев хотел было шумным пиром отпраздновать приезд важного гостя, но Меншиков, намекнув, что времени остается у них мало, а им нужно с глаза

на глаз поговорить о деле первой важности, предложил покормиться запросто, как военным людям полагается, и во время трапезы обменяться мыслями с радушным хозяином.

— Только ты так устрой, боярин Борис Петрович, — сказал он, — чтобы нашего с тобой разговора ни единая живая душа не слышала.

— Или и в самом деле важное что-либо? — спросил Шереметьев.

— Да уж на это как ты, боярин, взглянешь. Важное или неважное — сам суди, а при разговоре нашем и сам того не заметишь, как лишним словом обмолвишься. Что же такое лишнее слово, ты лучше меня знаешь. Немало людей из-за таких слов у князя-кесаря в лапах побывало.

Шереметьев понял, что такой пройдоха, как Меншиков, недаром предпринимает подобные предосторожности, и, стало быть, то дело, о котором он хотел говорить с ним, — чрезвычайно тайное и представляет собою большую государственную важность.

— Ин быть по-твоему, Данилыч, — ответил он. — Устрою я, как ты желаешь. Ни лишний глаз нас видеть не будет, ни лишнее ухо речи

не услышит. Есть у меня тут девка пленница, в Мариенбурге взята. По-нашему она ни слова не понимает, все равно, что немая. Так вот я и скажу ей, чтобы она за столом прислужила и все нам подавала. Других в шатре никого не будет. Снаружи караулы поставлю, так никто близко не подойдет. Только мы сперва потрапезуем чем Бог послал, а потом, как за чарки примемся, так и разговор поведется.

На том и порешили.

Трапеза была обильная, но и гость, и хозяин ели лениво. Видимо, далеко были их мысли. Шереметьев подробно рассказывал о своих походах, восхвалял мудрость государя, и после погрома под Нарвой не утраившегося Карла. Меншиков ограничивался только поддакиванием и с нетерпением ждал, когда можно будет начать столь желанный ему разговор.

## Х

### С глазу на глаз

Когда обед был покончен, Шереметьев вышел отдать распоряжение. Из кухонных шатров была прислана Марта Рабе. По приказанию боярина, она была роскошно одета, красиво причесана; румян ей не нужно было — и без того ее щеки пылали. Боярин внимательно оглядел ее и тихим шепотом отдал ей приказание:

— Будешь нам служить, не моги слушать, что мы говорим, а ежели гость от тебя что потребует, так исполняй все беспрекословно. Да на тот случай, ежели он тебя спросит, кто ты и какого рода, так ответствуй, как я тебе приказывал. Ослушаться осмелишься, будет тебе беда.

После этого он вернулся к Меншикову.

— Ну, теперь все сам усмотрел, Данилыч, — сказал он, — сейчас нам такое вино подадут, какого, пожалуй, и за рубежом мы не пивали. Здесь, в городишке, награбили. Как прикатили бочки, да взглянул я на них, так

сердце и выиграло: столь долго бочки в погребе стояли, что поверху мхом поросли.

— Нда, — рассеянно сказал Меншиков, — надо полагать, хорошее будет вино.

В это время вошла в шатер Марта Рабе, вся покрасневшая от смущения. Она несла поднос с кубками и чарками и с низким поклоном поставила его на походный стол перед собеседниками.

— Что, Данилыч, каков кус-то? — легонько толкнул хозяин гостя в бок. — Взгляни-ка! Ты в бабах толк-то знаешь больше меня. По-моему, картина писаная.

Меншиков быстро вскинув взор на Марту, слегка вздрогнул и уставился на нее своим наглым взглядом, видимо, восхищенный и пораженный.

— Что? Хороша? — усмехнулся Шереметьев, заметивший, какое впечатление произвела на гостя его пленница.

— Откуда она у тебя, боярин? — воскликнул Александр Данилыч.

— Да я ж говорил тебе: здешняя. При разорении в полон взяли... Слышь, Данилыч, королевского рода.

— Будто?

— Кто их там знает? Говорят! Пасторова дочь. Как брали, так проклятые озорники-солдатушки малость потрепали ее... Ну, да это ничего! Не погано море, ежели из него собаки лакают, а такой красоты на любой век хватит. Да к тому же я ее для возвращения чести под знамена подвел... Сегодня была, ты-то, кажись, не заметил... Ну, уходи, ты! — крикнул он по-немецки Марте. — Не смей без зова появляться!

Марта вышла, поклонившись и гостю, и хозяину.

— Ну, Данилыч, рассказывай, что у тебя такое. С нетерпением жду.

Меншиков встрепенулся.

— Ах, да, — сказал он, — поразвлек ты меня, Петрович, и все мысли, которые собирались у меня, разлетелись... Истину тебе говорю.

— Что? — со смехом заметил ему хозяин. — Или уж тебе моя немчинка так по сердцу пришла?

— Не то, Петрович, не то. Сам, поди, знаешь, видал я такого добра немало; чем дру-

гим, а этим меня не удивишь.

— Так что же тогда?

— Да то, что все мои мысли, которые я доселе имел, на новый лад перевернулись. Вот ежели теперь закрыть глаза, так то, что надумано, совсем инако представляется.

— Разве? — спросил Шереметьев. — Так ты мне, друг сердечный, и поведай без утайки, что ты допрежь всего думал и что теперь. Таиться тебе от меня нечего; знаешь, поди, люблю я тебя, как брата, и не мне тебе зла желать.

Борис Петрович говорил это, а его взоры так и пронизывали гостя, как будто старались проникнуть в самые сокровенные его помыслы.

— Ин будь по-твоему, боярин! — сказал Александр Данилович и даже слегка стукнул кулаком по столу. — Верю я тебе и душу открою. Если потом вздумаешь предать меня, так Господь покарает тебя, как Иуду. А, все равно!.. Вот что я хотел сказать тебе: государь-то неладное задумал...

— Что еще такое ему в голову пришло? Опять новшество?

— Да еще какое! Если до этого новшества Петра Алексеевича допустить, так ему, пожалуй, и на престоле не усидеть.

— Да что ты, Алексаша! — воскликнул Борис Петрович. — Пугаешь ты меня! Уж не разума ли лишился государь?

— А вот ты послушай да сам посуди. — Меншиков совсем склонился к хозяину и заговорил так тихо-тихо, что Борис Петрович едва улавливал его шепот. — Задумал государь на Монсовой Анке жениться, и ежели женится, так не потайно, а вьяве, и станет она над нами царицей. Вот что он задумал.

— Не ново это: не раз уже болтали такое-то, да все одна болтовня была.

— И мне ведомо, что болтали, — возразил Меншиков, — да только прежде болтали зря, а теперь государь сам про это дело говорит и твердо на нем стоит. Сам, поди, знаешь: на чем упрется государь, с того его не сдвинешь. Вишь ты, наследник у него ненадежен, так для продолжения рода жениться он хочет; а от этого действия великие беды могут последовать для народа, а более всего для нас — для тебя, Петрович, для Репнина князя, для Долго-

руких, Апраксина, а про себя, нового человека, я не говорю. Такое может выйти дело, что все наше государство погибнет. Вот что выйдет!

— Если смута, — раздумчиво произнес Шереметьев, — так действительно большая будет. Только что же смута-то? Не впервой ведь нам нашу землю кровью заливать! Справлялись со смутьянами — и впредь справимся. Святая православная церковь за нас будет. Прежде, пожалуй, против такого действия патриарх заговорил бы, а теперь кто голос подымет? Степка Яворский, местоблюститель патриаршего престола? Так он из тех, которые на лисьем наречии говорят. Прикажи ему государь завтра весь наш народ в турецкую веру перевести — он и переведет. А потом кто? Феофашка Новгородский? Так тот больше бражничает да о себе заботится... То же лиса большая. А из ближних бояр немногие пойдут и правдивое слово скажут...

— Вот я-то и говорю, — перебил его Меншиков: — если тут напрямую идти, сразу все погубить можно. А Монсова Анка, поди, сам знаешь с Францком Лефортом еще раньше ца-

ря путалась. Сама она глупа, только и умеет, что вымогать, и Францка ее на вожжах вел.

— Так ведь он умер.

— В том-то и дело, что ему на смену другой явился: граф Кенигсек из Польши. Он эту Анку так взнуздал, как и Францку не удавалось. Что он только захочет, то она и творит, а по ее и государь делает. Отчего, Петрович, ты думаешь, у нас такая дружба с Августом Польским повелась? — Это — Анки Монсовой дело, она Петра Алексеевича в польскую дружбу втравила, а ее на это оный Кенигсек науськал. Она с его голоса в дудочку играет, а наш государь под эту дудочку и пляшет. Так вот ты и посуди обо всем! Уж теперь мы не знаем, как беду изжить, а если Монсова царицей будет, — тогда-то что? Ведь оный Кенигсек царствовать над нами будет и, конечно, прежде всего нас, верных слуг подберет.

# XI

## Перекрещенка

**Ш**ереметьев хорошо знал все, что делается около царя Петра. То, что говорил ему Меншиков, вовсе не было новостью для него, и он сам не раз задумывался над тем, что может выйти, если Анна Монс будет женой царя и у нее пойдут дети, которых она так старательно избегала во все эти годы. Но, зная это, Борис Петрович, несмотря на свою близость к государю, чувствовал себя совершенно бессильным. Что он мог поделать? Перечить Петру он не смел: ведь и не такие, как его, головы летели за попытки перечить государю. Но этого еще не так боялся Шереметьев. Он был русский человек и любил родину; знал он, что таких, как он, немного остается, а если и эти последние будут выведены, то от выскочек, вроде сидевшего пред ним Меншикова, трудно ожидать добра для русского народа. Поэтому рисковать собою Шереметьев не хотел.

В новшествах государя Борис Петрович не

видел ничего серьезного и опасного для России. Бритье бород, переодевание в иное платье, курение проклятого зелья — табака, — все это, по его мнению, было пустяками; но в то же время он в переустройстве государственного быта видел много полезного. Так, под Нарвой он убедился, что новые войска по своей стойкости нисколько не уступали шведским войскам; переустройство приказов также было полезно для России; заведение флота было благодетельной мерой, точно так же, как и стремление к морю, через которое можно было свободно вести внешнюю торговлю. Но он не мог примириться, чтобы место чистой, непорочной русской царицы Евдокии на престоле заняла немецкая баба; обманывавшая его, государя, может быть, и не с одним только Лефортом. Поэтому он был рад, что Меншиков, близко стоявший к государю (как Басманов-сын был близок к Ивану Грозному), заговорил об Анке Монс. Конечно, Меншиков и не думал о благе России: он просто стремился уничтожить опасного врага. Но ведь и это было хорошо: в конце концов фаворит проклятый стремился к той же цели, к ка-

кой направлял свои помыслы и сны Шереметьев.

Но все-таки нужно было заставить Меншикова высказываться более определенно.

— Выпьем-ка, друг сердечный! — перебил разговор боярин. — Эх, хорошо винцо!.. Только надо кубки переменить.

Он захлопал в ладоши. Вошла Марта, и Борис Петрович приказал ей подать вина снова.

— Как зовут-то ее? — спросил Меншиков, кивая головой на молодую женщину.

— Марфушкой, — ответил Борис Петрович. — По-ихнему — Марта, по-нашему, значит, — Марфа.

— Нехорошее имя, боярин! — воскликнул Александр Данилович.

— А почему так?

— Да ты бы ее еще Софьей назвал. Знаешь, поди, кого Марфой-то зовут? Государь, как услышит это имя, чернеет весь... Солоно ему и эта сестрица пришлась!..

— А ведь правда! — согласился Шереметьев. — Да и голова у тебя, Алексаша!.. Быть по-твоему! Попало ей, как ее в плен брали, так пусть она, в память святой Екатерины ве-

ликомученицы, Катькой называется.

— Ну, вот это дело! — одобрил Меншиков. — Государь свою тетку, царевну Екатерину Михайловну, всегда жаловал. Катька, так Катька. Немчинскую девку и без попа перекрестить можно.

Марта принесла новые кубки. Фаворит не спускал с нее взора, и наблюдавший Шереметьев видел, что во взглядах Меншикова горела не животная страсть, а что-то другое. И он понял, что нежданный союзник не только стремится к той же цели, как и он, но и путь к ней выбирает тот самый, который надумал боярин после первой ночи с мариенбургской пленницей. Исполнялось все точь-в-точь, как наметил он, и душа Бориса Петровича ликовала.

Между тем Меншиков воскликнул:

— Ай в самом деле хороша! Не принято чужое добро в глаза хозяину хвалить, да правды как же не сказать? Так вот, Петрович, излил я пред тобой душу мою; суди меня, как знаешь...

— Не до конца ты душу-то излил! — возразил Шереметьев. — Не все сказал. Ты вот от-

крылся бы мне, какое же средство придумано тобой, чтобы отвратить нашего государя от кукуевской прелестницы?

— Да какое же? Думал я сперва о простом, но самом верном средстве... Мало ли что бывает... Ну, предположим так: Анка возьмет с кого-нибудь гостинец, а дела не сделает. Так ведь если человек от неудачи в гнев придет, то все равно, что безумным делается, и в гневе так может изобидеть, что вместо «Исаия ликуя», — с нехорошей улыбкой сказал Александр Данилович, — «вечную память» попам петь придется.

— Ну, это ты, Алексаша, оставь! С глаз таким средством уберешь, а из сердца не вытравишь...

— Так ведь я тебе, Петрович, и сказал, что то мои старые мысли были, а теперь у меня новые явились. Надумал я, как Монсову Анку из царева сердца вытравить, и я не я буду, если своего не добьюсь; только мне твоя помощь нужна...

— Ну-ка, ну-ка, скажи!

— А помочь обещаешься?

— В таком-то деле? И спрашивать тебе не

надобно, сердечный друг! Прикажи только — весь я твой.

— Ну, так вот! Уступи ты мне эту девку Катьку?

— Какую? Что кубки приносила?

— Ее, ее! Не для себя прошу, а для дела, Петрович...

Шереметьев возликовал: Меншиков готов сделать как раз то, чего добивался он. Однако он не подал вида, что догадывается о замыслах временщика.

— Больно девка-то хороша! — сказал с сожалением. — Да и у меня она еще недавно...

— Для дела, Петрович, для дела. Увидишь сам, что будет!

И, сказав это, Меншиков вопросительно поглядел на задумавшегося боярина.

Несколько минут они молчали. Шереметьев по привычке, от которой он не мог отстать, почесал затылок, потом вдруг воскликнул:

— Эх! Быть по-твоему, Данилыч! Ежели для дела, так не жалко мне. Бери Катьку из полы в полу и действуй, как надумал.

— Боярин! — вскочил и протянул к нему

объятия Меншиков. — Ты своим согласием спасаешь Россию, нас спасаешь...

— Ну полно, полно! — добродушно возразил ему Шереметьев. — Если так спасать, то не велика заслуга. Бери Катьку, Данилыч, бери! Слаб у меня ум; совсем я не смекаю того, что ты задумал, а чувствую, что выйдет хорошее дело. Когда она надобна тебе?

— Приказано мне государем, — ответил Меншиков, — возвращаться нimalo не медля, так завтра утром я выеду во Псков. Ее же, Катьки, я с собой не возьму, а ты день спустя пошли ее мне вслед да караул приставь, чтоб не сбежала...

— Спокоен будь, Данилыч! Исполню все, как ты желаешь. Доставлю Марфушку... Тьфу, тьфу!.. Катьку, то есть. Так ты заночуешь? Добро! Я пошлю Катерину тебе постель сделать. А теперь довольно разговоров. Выпьем за твой успех! Делу время, а потехе час.

Все было приготовлено у радушного хозяина, чтобы повеселить гостя. Уже поздно ночью разошлись хозяин и гость, и вплоть до рассвета ключом кипел около них веселый, шумный праздник.

## XII

### На пути к счастью

С трудом припоминала Марта Рабе то, что случилось в последующие дни. Хорошо ей жилось на боярской кухне среди ухаживавшей за нею челяди. До сей поры строго держала ее в руках сестра пастора Глюка; она была сурова, как вообще суровы все старухи, да притом еще была пропитана до мозга костей святошеством и ханжеством. Пасторский дом казался ей чем-то особенным, чем-то таким, где все, от мала до велика, должны были находиться постоянно в особенном елейном виде, говорить не иначе, как возводя взоры к небу и пересыпая речь всевозможными текстами из Писания. Смех, веселость, даже самая невинная шутка строжайше преследовались и изгонялись. Не принимались во внимание ни молодость, ни темперамент.

Марта под надзором старухи жила строже, чем в монастыре. Замужество манило ее потому, что в нем она видела освобождение от строгостей, и вдруг она очутилась на свободе,

на такой свободе, какая ей и во сне не снилась. Жизнь вокруг нее кипела, ключом била — ведь это была жизнь военного лагеря, где каждый жил днем нынешним. Елось вкусно и сытно, пилося вдоволь, и вина были такие сладкие, что и самое опьянение после них казалось райским блаженством.

Меншиков действительно уехал под утро, расцеловавшись с Шереметьевым. Борис Петрович, правда, после этого губы отер и долго плевался, но Алексашке слаще меду казались эти поцелуи родовитого боярина. Как ни недоверчив он был, как ни подозрителен, а все-таки уверовал в искренность боярина, не заметил того, что сам-то он явился в его руках послушным орудием.

Под вечер этого же дня Борис Петрович приказал позвать к себе Кочета.

— Ну-ка, Кочет, — сказал он, когда тот явился на его зов, — просил ты меня, чтобы я тебя пожаловал... Случай подходящий выходит, и сам я не прочь от сего.

— Постарайся, боярин! — шустро ответил Кочет. — Век не забуду твоей милости, вер-

ным слугой буду.

— Спасибо на том! Только на многое ты не надейся.

— Да мне бы, боярин, зацепочку малую, а там я и сам сумел бы.

— Вот и будет у тебя зацепочка, да, пожалуйста, и не малая, а великая. Только сам старайся!

— Рад стараться, боярин. Глазом моргни — все сделаю.

Должно быть, Кочет нравился Шереметьеву, а может быть, ему и нужен был верный человек, шустрый, разбитной. Милостиво глядел на него боярин и столь же милостиво объяснил, что ему требуется от стрельца.

— Поедешь ты в Псков город, — сказал он, — и должен ты туда отвезти Марфушку, вон ту самую, которой ты мне поклонился. И так отвези ее, чтобы непременно она была доставлена. Береги ее больше зеницы своего ока. Сможешь?

— Еще бы не смочь, батюшка-боярин? Предоставлю, куда прикажешь, хоть в самое Москву.

— В Москву не надобно; в Москву, — зага-

дочно усмехнулся Шереметьев, — другой найдется ее отвезти. Ты только во Псков доставь. Возьми караул... Таких товарищей подбери, на которых ты надеяться бы мог, а в Пскове сдашь бабу при моем письме самому Александру Даниловичу Меншикову.

— Боярин милостивый! — воскликнул Кочет. — А ведь и на самом деле зацепку ты мне даешь не малую!

Шереметьев опять усмехнулся.

— Говорил я тебе, — сказал он, — только уж ты сам свое счастье за хвост лови. Сумеешь поймать — в гору пойдешь, не сумеешь — себя виновать. А в письме-то я про тебя нарочно помянул.

Кочет так расчувствовался, что даже бросился к ногам боярина.

Ему было приказано явиться с выбранными им товарищами на следующее утро. Кочет ушел в лагерь радостный. Но на его губах змеилась такая улыбка, что, если бы увидел ее Борис Петрович, он, наверное, призадумался бы...

На другой день по дороге от русского лаге-

ря и Мариенбурга к русской границе уже двинулся небольшой поезд. Впереди шли солдаты в походной форме, сзади них тряслась колымага, а в ней крепко спала мариенбургская красотка. Рядом с колымагой шли двое солдат; один из них был Кочет. За колымагой двигалось несколько подвод, нагруженных провиантом; тут же ехали солдаты, которые должны были сменять пеших конвоиров. Путь совершался беспрепятственно. Кочет был весьма предупредителен к Марте, шутил с ней, и они частенько выпивали, так что Марта почти не замечала пути.

Как-то им пришлось заночевать в поле. Разожгли костры, ночь была сырая (стоял конец августа), и солдаты были рады погреться около веселого пламени. Тут впервые Марта заметила какого-то нового человека. Это был высокий, мускулистый парень с глуповатым лицом. Приглядываясь к нему, она заметила, что этот парень был хорошо знаком с ее другом и покровителем. Кочет разговаривал с ним так, как будто знал его давным-давно.

Марта спала целый день и теперь к ночи

не могла заснуть. Она видела, как разбрелись к подводам солдаты и у костра остались только Кочет да парень в крестьянской одежде. Ночь была тихая, лунная. Марта потихоньку выбралась из колымаги: ей хотелось движения, хотелось ходить, но она боялась, что Кочет не пустит ее из возка. Выбравшись потихоньку, она сперва прошла по полю, потом, обойдя круг, очутилась в леске, на опушке которого был разложен костер.

Тут девушке вдруг сделалось страшно, ее невольно потянуло к людям. Недолго думая, Марта Рабе пошла туда, где сидел Кочет со своим знакомцем, но подойдя совсем близко, остановилась.

Кочет и его собеседник, уверенные, что их никто не слышит, говорили вполголоса, насколько не стесняясь.

— Да, Телепень, да, — произнес сержант, — наступает и наше времячко расквитаться с злым ворогом и послужить еще раз матушке-царевне.

— Что ж, и послужим! — ответил Телепень. — Я к тому не прочь.

— Знаю это, друг, потому-то и говорю я с

тобой. Не испугался ты труда, пришел на-  
встречу ко мне, так я и впредь на тебя наде-  
юсь.

— Надейся! Не прогадаешь! А только, что  
делать надо, скажи?

— Да ничего пока. Я так устроился, что за  
великие свои заслуги в гвардию попаду, —  
иронически засмеялся Кочет. — Совсем близ-  
ко буду от нарышкинского антихриста. И вот  
тогда, как только случай выдастся, себя не по-  
жалую, а в затылок ему пулю всажу: не забыл  
я ни дыбы, ни плетей, ни паленых веников.  
Мал я человек, да велика моя злоба... Из за-  
стенка до гвардии я добрался, и во все-то эти  
годы только об одном и думал, как бы мне с  
врагом расплатиться. Чего мне себя-то жа-  
леть? Один я. Так все равно.

— А мне что делать? — спросил Телепень.

— Будь всегда ко мне поближе, и ты пона-  
добишься, а пока делай, что делал. Трещи  
всюду, как стрекоза, что, дескать, не царь у  
нас, а антихристово порожденье.

### XIII

## Тайные враги

Марта плохо помнила, что говорили люди, но, услышав последние слова, не на шутку испугалась. Как только помянули царя, то она сообразила, что если двое собеседников узнают, что их подслушали, ей придется плохо. Она потихоньку, крадучись, отошла прочь, пробралась в возок и там постаралась забыть то, что ей удалось услышать.

А если бы она осталась, то услышала бы и другое...

К Телепню и Кочету присоединился еще один человек, по виду простец, но с гордым, выразительным лицом.

Этот третий был боярский сын, Михаил Родионович Каренин, личный враг Петра, ненавидевший его так, как только может ненавидеть человек человека...

Когда-то, в дни ранней юности, в те дни, когда царь Петр потайно наезжал в Немецкую слободу не для утех у его Юдифи, а повинаясь своей любознательности, часто бывал в

этой же слободе и Михаил Родионович со своим младшим братом Павлом. Этих юношей влекло сюда нежное чувство. Они оба были с детства сиротами, и воспитывала их служанка отца, кроткая и разумная немчинка фрау Фогель, не устоявшая однако против домогательств боярина и ставшая матерью его «зазорных» детей.

Когда боярин Родион Каренин перебрался на Москву, где действовали суровые законы царя Алексея Михайловича, фрау Фогель, испугавшись за участь детей, поспешила укрыться в Немецкой слободе.

Михаил и Павел любили свою воспитательницу, которую они считали второю матерью и которую сумели-таки разыскать.

В Немецкой слободе Михаил увидел девушку Елену, которую полюбил со всем пылом первой юношеской любви.

А тем временем в Немецкую слободу зачастил молодой царь Петр, и Михаил Каренин заподозрил в нем соперника. Этого было вполне достаточно, чтобы он возненавидел царя.

Напрасны были уверения Елены, что не

она, а Анна Монс привлекает Петра, Михаил не верил ничему... Случилось же так, что Павел Каренин обратил на себя царское внимание, Петр Алексеевич, узнав от него, что брат косвенно причастен к делу Шакловитого, хотя и простил Михаила, но услал за границу для «совершенства в науках» обоих молодых Карениных вместе с фрау Фогель.

За рубежом Павел Каренин умер, Михаил тайно бежал на родину, пробрался в Москву и узнал здесь, что Петр выдал замуж его возлюбленную Елену, которая вскоре после свадьбы умерла... Отчаянию молодого человека не было пределов... Ненависть к Петру вспыхнула с такой силой, что желание отомстить ненавистному человеку овладело Михаилом Карениным и с течением лет обратилось в манию... На его беду, судьба столкнула его с Кочетом и Телепнем, и эти трое составили между собою союз против заклятого врага...

Теперь они опять вместе, сошлись, обуреваемые самыми мрачными помыслами.

— Вот, говоришь ты, — хмурился Телепень, — толковать везде, что царь у нас — не царь, а антихристово порождение... Только

кой прок от того? В этих-то местах на рубеже никто такому разговору не поверит. Здесь народ всякие виды видывал, и что ему антихрист. Другое дело пойти на Волгу, на Дон: там только слух об антихристе пусти, все за то и уцепятся.

— Верно он говорит, — мрачно сказал Михайло Каренин, — здесь с таким делом только пропадешь напрасно...

— Тогда вот что! — воскликнул Кочет. — Пусть Телепень на Волгу идет. Там благочестивых старцев — видимо-невидимо, в пещерах живут, и великое около них народное стечение бывает. Да и народ тамошний, что порох... Только искорку пустить — так и вспыхнет!

— Что же, — согласился Телепень, весьма довольный тем, что его мысль признана его сообщниками удачной, — такое дело совсем по мне.

— А мы здесь останемся, — отозвался Каренин, — видится мне, что ежели с терпением ждать, так будет для нас удача...

— А все я! — похвастал Кочет.

— Да, такое это дело, — согласился Михай-

ло, — только, друг ты мой любезный, — усмехнулся он, — без ума такого дела вокруг пальца не обернешь...

— Мой ум да твой — вот и два ума! — сказал Кочет. — Ну-ка, посоветуй, Михайло Родионович, что мне теперь в первую голову делать?

— А ты что думал?

— А думал я, как привезу немчинку к Меншику, так буду проситься, чтобы меня в гвардию взяли.

— Ну возьмут, а дальше что?

— Такое время теперь пришло быстрое: ежели в гвардию, так до большого чина весьма скоро дослужиться можно, и стану я тогда к царю-то совсем в приближении...

— И чем выше ты станешь, тем скорее голову себе свернешь. Не всем так, как Алексашке Меншику, удача везет... Да и он, Меншик-то, постарается всякому ногу подставить, кто вровень с ним взбираться будет.

— Что же делать-то тогда? — даже растерялся Кочет, сразу понявший, что Михаил Родионович говорит правду. — Научи, боярин...

— А вот что. Ты так устрой, чтобы тебе

Меншиком вертеть во все стороны можно... За большим не гонись: ведь все мы клятву дали для одной только мести жить. Живота своего не жалеем, так о достатках ли нам заботиться. Увидишь ты Меншика, так не в гвардию просись, а к нему в денщики. Возьмет он тебя — служи ему верой и правдой. Ежели меня под топор отправить понадобится, не задумываясь, отправляй... Только пусть он уверится, что предан ты ему всею душою. Поверит он тебе, станет потайные свои дела тебе поручать — и возьмешь ты тогда такую силу, что все по задуманному тобой исполняться будет. И станут тогда на Руси все великие дела вершить антихристово порождение да ты, ада исчадьё...

— Ой, сумею ли я? — задумчиво произнес Кочет, — пропаду я, ежели ты мною править не будешь...

— За мною дело не станет, — мрачно усмехнулся Каренин, — ты лишь уговора нашего не забывай. А Телепень пусть на Волгу к казакам идет. На Волге-то еще Стеньки Разина дух живет. Ежели там народ взбудоражить, так оттуда пламя-то на Дон, на Буг, на

Кубань, на Терек перекинется, и такой пожар разгорится, что почище московских стрелецких будет...

Он замолчал.

Кочет смотрел на него и давал сам себе зарок следовать всему, что будет указано этим мрачным человеком.

На рассвете маленький обоз тронулся дальше. Псков был недалеко; русская граница была уже перейдена, и теперь все чаще и чаще попадались навстречу русские люди. Марта с любопытством разглядывала все то, что видела, и наконец действительно позабыла слышанный ею разговор.

## XIV

### По ступеням к выси

Красив был Псков того времени, вотчина Господина великого Новгорода. Из-за белых стен кремля, целые века охранявших русскую землю и от Литвы, и от меченосцев, а в Смутное время и от шведов, высились золотые кресты множества церквей, а вокруг города раскинулись богатейшие предместья со складами всяких заморских товаров.

В это время Псков кишел военными людьми. Новое, большое дело затевал царь Петр Алексеевич, собрав сюда всю свою ратную силу, уже вполне оправившуюся от нарвского погрома.

Кочет, расспросив встречных, прямо с пути явился к тому дому, где жил Александр Данилович Меншиков.

Время было походное; даже царь и тот ютился кое-как, чуть не в лачуге. Однако его любимейший фаворит занимал дом довольно поместительный, в кремле.

Петр как будто умышленно выставлял себя

в самом простом виде, своих же ближайших сподвижников, напротив того, словно заставлял жить пышно, роскошно — контраст был в его пользу; государь-де трудится, тогда как другие только пьянствуют и бездельничают.

Потом, с годами, все это вошло уже в привычку. Петр Алексеевич не был богатым царем, личное его состояние было невелико, а денег государства он на себя не тратил, памятуя, как сам в былые годы относился к мотовству старших сестер, то и дело требовавших из приказов денег на свои личные затеи и прихоти.

Мелкие людишки, окружавшие в ту пору царя, пользовались казной без малейшей застенчивости.

Дом Меншикова и в Пскове был обставлен с такой роскошью, какая, пожалуй, и для царя была бы большой.

...Возок с пленницей остановился у крыльца, и, должно быть, Меншиков, бывший дома, сразу сообразил, что это такое: сейчас же выбежали люди и стали спрашивать у Кочета, кто он и с чем явился к их господину. Хитрый Кочет тотчас сообразил, что для него весьма

важно попасть на глаза к самому, а потому ответил:

— Привез я гостинец и письмо от боярина, Шереметьева и отдам их только в руки господину вашему.

Сколько с ним ни бились, он уперся и стоял на своем.

— Боярин Борис Петрович приказал, — говорил он, — я его послушаться не смею.

Тогда его отвели к Александру Даниловичу.

Тот сперва распалился на смелого солдата, но, когда первый пыл прошел, сообразил, что иначе Кочет поступить не мог, и принял письмо.

По мере того, как фаворит читал послание боярина, его лицо все прояснялось и прояснялось. Должно быть, так, как хотелось ему, писал Борис Петрович, — без сучка и задоринки.

— Ты привез от боярина пленницу? — спросил он, взглядывая на Кочета. — А по дороге ни с кем не допускал ее разговаривать?

— Никак нет! — ответил Кочет. — Марфушка!

— Какая там Марфушка? — закричал на

него Меншиков. — Никакой я Марфушки не знаю. Екатерина ее зовут.

— Так точно, Екатерина, — поправился Кочет. — Она ни с кем, кроме меня, ни словечка ни пикнула.

— Ну, ин быть так, поверю я тебе. Молодец, если хорошо боярскую службу справил. Вот пишет мне боярин, что ты, Кочет — парень дельный, так можно судить — ухарь; а такие нам надобны. Просит за тебя боярин Борис Петрович. Сделаю я по его за твою службу; если хочешь, я тебя к себе денщиком возьму.

Это было более того, чего мог ожидать Кочет. Он даже покраснел от радости и сразу не нашелся, что ответить.

— Ну-ну, вижу, что хочешь, — милостиво сказал Меншиков, — иди, погуляй по Пскову, а к вечеру назад возвращайся да Катерину-то в дом пошли. Я уж тут о ней позабочусь.

Веселый, радостный ушел от Меншикова бывший стрелец. Злобная усмешка кривила его губы: погоди, великий государь! Ужо я тебе все припомню, проклятый нарышкинец!

И темные, мрачные мысли все больше и больше овладевали этим человеком, которого

ненасытная злоба и яростная жажда мести делали и хитрым, и настойчивым.

Марта Рабе, или теперь уже Екатерина (ее фамилией Александр Данилович не больно интересовался), осталась в доме всесильного фаворита и жила в нем уже не как простая служанка. Хотя Меншиков относился к ней и не с особенным почтением, однако обращался с Мартой далеко не как с рабой, обязанной беспрекословно повиноваться всякой его воле, всяким капризам. После встреч с царем, после нередких попоек он спешил к Екатерине, затворялся с нею в отдаленном покое и вел долгие-долгие негромкие разговоры. Екатерина слушала внимательно, запоминала: не дура ведь была. К тому же Меншиков прекрасно владел немецким языком. Пытавшиеся подслушать слуги не понимали его, но по тону заключали, что Александр Данилович, пред которым нередко как в лихорадке дрожали с перепуга знаменитые бояре, лебезит пред мариенбургской пленницей.

## XV

### Поиск на Орешек

А дни между тем шли. К десятому сентября в Пскове собралась вся шереметьевская армия. Государь налетел в Псков из Новгорода, умчался обратно туда, и вскоре после этого разнеслась весть, что не сегодня завтра начнется новый поход на Ладогу. Тут уже всякому стало понятно, что царь затеял «великий поиск» на шведскую крепость Нотеборг, преграждавшую выход из Ладоги в Неву.

В невозможную осеннюю распутицу, как две живые реки, покатались своими живыми волнами петровские армии из Новгорода и Пскова, направляясь к древнему новгородскому Орешку. Путь не был очень длинен, если бы не распутица.

Главнокомандующим этих армий был назначен боярин Борис Петрович Шереметьев, на Ладожское же озеро был послан генерал-адмирал Апраксин, брат царицы Марфы, вдовы царя Федора.

В начале пути переходы были не слишком

тяжелы: как-никак, а в пограничном крае были сносные дороги; но вскоре сплошными стенами встали приволховские лесные трупщобы. Дорог не было, приходилось продира́ться сквозь лесные чащи, осиливать топи, болота, и, чем дальше шли полки, тем тяжелее и тяжелее становился их путь. Мозглая осень этого года была надежным союзником шведов, но закаленные в малой войне солдаты, теряя товарищей, в конце сентября были на левом берегу Невы возле грозной крепости. Задирали головы, глядя на стены: такие враз не одолеешь.

Хотя шведы и были застигнуты врасплох, боязни у них не было: Нотеборг был хорошо укреплен, запасов немало. Стоял он на острове, от правого берега был отделен широким невским рукавом, с севера лежало холодное Ладожское озеро — попробуй подойди!

Подошедшие войска стали на левом берегу Невы. Шереметьев до прибытия царя не решился начать боевые действия и ограничился тем, что занял высоты правого берега, переправив туда часть войск по Неве ниже крепости.

В мозглый, скверный день первого октября русские полки приветствовали громким «ура» прибывшего государя. Он был не один: в его свите было много поляков и саксонцев. Увлечение «другом Августом» еще не прошло, и эту свою дружбу Петр особенно подчеркивал, всюду таская с собой его посланцев.

В свите царя был и польско-саксонский резидент красавчик Кенигсек. К нему особенно благоволил московский царь: видно, чем-то похож был тот на верного друга Лефорта. Его счастливый соперник уже не раз сменял царя на роскошной кровати с золочеными занавесами, а Петр так любил Анну Монс, что ему и в голову не приходило, что горячо любимая им женщина, обласканная, одаренная с величайшей щедростью, поднятая из ничтожества, женщина, для которой он решался на все, вплоть до женитьбы, осмелилась бы нагло и дерзко обманывать его с каким-то иноземным проходимцем.

В эту пору Петр писал в Немецкую слободу Аннушке нежнейшие письма, в которых так и сквозила жаждающая ласки, любящая душа.

«Пиши, пиши!» — хмурился Меншиков.

В сопровождении своей свиты, придворной знати и столь любезных ему иностранцев Петр каждый день ездил по невским берегам, осматривая осадные сооружения.

— Как ни крепок сей Орешек, — говорил он, — а все-таки с помощью Божиею мы разгрызем его.

А осень становилась все мрачнее, все туманнее, с Ладоги веяло промозглой сыростью. Шереметьев докладывал царю: если простоять здесь еще, то войско может «истребиться от болезней». Действительно, смертность среди солдат была высока. Царь и сам понимал, что медлить под Нотеборгом невозможно, и на одиннадцатое октября назначил решительный штурм.

В сильнейшем волнении проводил царь все эти дни; похудел, почернел и даже не замечал, что Алексашка Меншиков редко показывался ему на глаза, а если и показывался, то какой-то встревоженный, как будто был занят делом, за успех которого страшился более, чем за свою жизнь.

Меншиков действительно был занят. Его

денщик Кочет стал близким к нему человеком, и они все чаще и чаще, удалив слуг, шептались о каком-то тайном деле.

— Смотри, Кочет, все сделай, как мы говорим. Большая тебе награда будет! — сказал однажды Меншиков.

— Не изволь беспокоиться, милостивец! — с жаром ответил бывший стрелец. — Мне ли в таком деле не послужить тебе? Ты только устрой так, чтобы ворог-то твой со мной вместе был, а об остальном и не думай.

— Как не думать, — качал головой неустрашимый Меншиков. — Тут сто раз подумаешь...

## XVI

### Под грохот пушек

Утром одиннадцатого октября подполковник князь Михайло Голицын с храбрейшими из двух полков гвардии, переправился на остров и подступил к крепости. К несчастью, штурмовые лестницы оказались на полторы сажени короче, и русский отряд, находясь под самыми стенами, поражаемый сверху картечью, гранатами и камнями, был на грани полного истребления. Пали убитые и раненые. Петр метался и готов был уже дать приказание отступить, но судьба улыбнулась ему.

— Скажи государю, — ответил сурово Голицын посланному, — что теперь я принадлежу не ему, а Богу!

Он приказал оттолкнуть лодки от берега и бросился на крепостную стену. Отступать было некуда — всюду смерть. Изумленные столь отчаянным мужеством русских, осажденные дрогнули.

И в это страшное утро царь, наблюдавший за ходом штурма, не видел около себя Меншикова. Тот же был недалеко. В эту ночь он напросился в гости к графу Кенигсеку.

— Быть может, моя последняя ночь, — сказал он графу. — Хочу весело провести ее.

Ночь была проведена более чем весело. Позднее осеннее утро застало участников попойки еще за столами. Русские выдержали: Александр Данилович был трезвее других, зато непривычный хмель свалил с ног Кенигсека. Его голова была налита свинцом, веки смыкались, язык переставал повиноваться.

Утром в шатер, где была попойка, вбежал Кочет.

— Великий государь требует к себе вот его, — зашептал он Меншикову, указывая на графа Кенигсека. — На своей батарее государь пребывает и повелеть изволил, чтобы до начала пушечного боя вся его свита около него собралась.

— Ахти! — воскликнул Александр Данилович. — А мыто даже и не вздремнули. Граф, а граф! Слышишь? Государь тебя требует.

— К черту!.. — проговорил спросонок пья-

ный Кенигсек. — На что я там понадобился? Что мне делать? Никакой у меня охоты нет на вашу бойню смотреть.

— Да пойми же, граф, нельзя! Разгневаается государь...

— А мне какое дело? Мой государь Август, а вашего царя я и знать не хочу...

— Полно, перестань! За такие словеса, знаешь, что у нас бывает?

— Так вы кто? Рабы! А я — свободный человек. Вас батогами бьют, и стоит. Чего вы сами-то стоите, если ваш царь у свободного человека его любовными остатками пользуется? Правду я говорю, или нет?

— Тс... ни слова! — закрыл ему ладонью рот Меншиков. — Я ничего не слышал, граф, что ты спьяна болтал. Поезжай скорей на батарею. Государя нельзя заставляя ждать.

Должно быть, и Кенигсек почувствовал, что сказал слишком много, но пьяное упорство не позволяло ему сдаться без ломания.

— Куда я еще поеду? — замычал он. — Я и дороги не знаю...

— Поезжай, мой денщик тебя проводит, — сказал Меншиков.

— Разве только что он, — сдался Кенигсек. — Ну, если так, ведите меня... Черт с вами, поеду. На лошадь только посадите, а там я удержусь.

Глаза Александра Даниловича так и блеснули. Он быстро взглянул на Кочета, и тот ответил ему таким же быстрым и острым взглядом.

— Вот так-то лучше! — нервно смеясь, заговорил Меншиков. — Ты, граф, поезжай на государеву батарею, а я в другие места поспешу. У меня тоже в такое утро хлопот полон рот.

Вместе с Кочетом он вывел графа и усадил его в седло.

— Дай еще на дорогу выпить! — воскликнул тот и залпом осушил поднесенную ему сейчас же чарку. — Ну, теперь едем.

Через мгновение они скрылись в сумраке только что наступавшего утра.

Меншиков немного постоял, смотря им вслед; его так и трясла лихорадка. Потом он лихо вскочил на другую лошадь и один помчался по хорошо знакомой ему дороге к царской батарее.

Артиллерийская подготовка штурма уже

началась. Русские пушки так и ревели на обоих берегах, посылая в осажденную крепость тучи ядер. Царская батарея находилась на холме, у самого берега небольшой речонки, переправляться через которую нужно было по лавам. Речонка была глубокая и быстрая, с крутыми берегами. Меншиков во весь опор промчался по колеблющимся плотам и взнесся на холм.

Царь зверем посмотрел на него и крикнул:

— Где ты шлялся, негодник? Я тебя ищу, ищу, а все нет нигде!

— Прости, государь, — смело ответил Александр Данилович, — о твоём же царском деле я заботился. По всему берегу я проехал, везде все осмотрел. Сам же ты говоришь, что свой глаз — алмаз, а в этом-то деле без верного досмотра и обойтись нельзя.

— То-то! — уже более милостиво проговорил Петр Алексеевич. — Ах, этот Шлиппенбах! Какой комендант он, если такую крепость сдаст!

— А не сдаст он ее, государь, — воскликнул Александр Данилович, — так мы и сами для тебя возьмем!

Пушки на мгновение смолкли, от берега отчаливали баржи с голицынскими штурмовыми колоннами. Настала томительная, удручающая тишина.

— Помогите, кто в Бога верует! — раздался из-под холма с речонки громкий вопль.

Царь нахмурился.

— Что еще там такое? — проговорил он. — Никак кто-то тонет. Поди, Алексашка, догляди; может быть, от Петровича с донесением гонец.

— Сейчас, государь, — крикнул Меншиков и умчался с царской батареи.

Пушки опять заревели. Начался невообразимый хаос. Штурмовые колонны уже были близки к островку, теперь заговорили и пушки Нотеборга; в сумраке осеннего утра стены крепости то и дело опоясывались огневой лентой выстрелов.

Царь Петр забыл об услышанном им вопле, забыл обо всем, увлеченный открывавшейся перед ним ужасной картиной начавшегося штурма. Глаза его горели, губы дергались.

Обреченные на явную гибель голицын-

ские полки совершали чудеса храбрости; солдаты, срываясь и падая, лезли на стены. Петр в ярости кусал ногти. И вдруг глубокий вздох облегчения вырвался из груди его: он увидал взвившийся над неприступной крепостью белый флаг.

— Ура! — закричал он в восторге, срывая треуголку. Скользя, побежал к крепости.

— Поберегись, государь! — испуганно кричали ему вслед.

— Слава, слава! — шептал Петр, и слезы лились из его глаз.

## XVII

### Помраченная радость

Тяжело тянуло пороховым дымом. Петр стоял на холме, овеваемый ветром, а кругом из десятков тысяч глоток, заглушая последние пушечные выстрелы, рвалось могучее русское «ура».

— Великой важности дело свершилось, Петрович, — улыбаясь сказал государь Шереметьеву. — Древний наш Орешек стал для нас ключом к свободному морю. Так пусть же он

в назидание потомству о сем останется таковым. Отныне да будет имя сей твердыне — Шлиссельбург!

Громовое «ура» покрыло последние слова царя-победителя. Распахнулись крепостные ворота, и из них на прибрежные отмели островка повалила толпа разного люда.

От пристани отвалили лодки: это сам комендант сдавшейся крепости вез царю ее ключи.

Петр милостиво принял побежденных, удостоил их, как храбрецов, воинской почетной встречи, пригласил Шлиппенбаха и высших его офицеров в свой шатер на пиршество в честь победы русского оружия.

Впрочем, это не походило на обычное шумное петровское пиршество — слишком уж утомлен был царь. Да и Меншикова не было за столами, а ведь он — главный вдохновитель всех царевых попок.

Уже к концу пира заметил Петр своего любимца. Ему показалось, что Александр Данилович прячется за чужие спины, стараясь не попадаться царю на глаза.

Этого было достаточно, чтобы возбудить

любопытство и подозрение царя.

— Эй, Алексаша, дитя моего сердца! — воскликнул государь. — Что-то я тебя не вижу? Где ты там укрываешься? Подойди сюда!

Повинуясь царскому приказу, Меншиков выдвинулся вперед, и Петр, подозрительно взглянувший на него, сразу заметил, что случилось что-то особенное: его любимец потуплял взоры, отворачивался в сторону и как будто не решался заговорить.

— Что еще там у тебя такое? Что приключилось, рассказывай? — крикнул царь.

— Прости, государь, — тихо ответил Меншиков, и Петр заметил, что его голос дрожал.

— Да в чем прощать-то? Сказывай, в чем ты провинился? Опять какого-нибудь купца обобрал, негодник, и жалобы на себя боишься?

— Нет, государь, не то. Беда приключилась, несчастье...

— В столь радостный день? Что стряслось?

Меншиков совсем близко подошел к царю и вполголоса проговорил:

— Граф Кенигсек утонул. Это, государь, ты его вопли слышал, когда на батарее был.

Петр вздрогнул.

— Что? — закричал он. — Друга моего короля Августа верный слуга погиб? Да как же это случиться могло?

— Доподлинно не ведаю, государь, — так же тихо ответил Александр Данилович, — сам знаешь, я при тебе на батарее был. А когда я расспрос учинил, то рассказывали мне, что граф-то спешил к твоему царскому величеству на батарею и пустил лошадь вскачь через лавы. Вот тут разное говорят: одни — что лавы разведены были, а граф в утренней темноте того и не заметил, другие — что поскользнулась лошадь и вместе с графом с лав в речку свалилась, граф же будто в стремях запутался.

Царь опустил голову на руки. Видимо, это известие не только опечалило, но и страшно поразило его.

— В столь радостный для меня день, — тихо проговорил он, — и такая беда приключилась! Уж не знамение ли это для меня? Как подумаю, так поверить не могу. Граф Кенигсек... — Царь сверкнул глазами на Меншикова. — За него я двоих таких, как ты, отдал бы,

негодник!

— Твоя на то воля, государь, — дерзко взмахнул головой Александр Данилович. — Да вот только хорошие-то твои друзья иноземные что-то не держатся при тебе: одни сами уходят, других Бог отнимает от тебя, — а мы, русские негодники, с тобой постоянно, и каждый-то из нас, негодников, как князь Михайло Голицын, свой живот за твое государево дело ежечасно готов положить. Да, великий государь, знать, поэтому мы и выходим для тебя негодниками.

Дерзость всегда действовала на Петра. Смелые слова Меншикова охладили его вспышку, он почувствовал в них горькую правду и сразу укротился.

— Ну, полно, Алексашка, полно! — мягко сказал он. — Не гневись да не гонись за каждым словом. Ведь мы свои здесь; побранимся — и все такие же будем. А ты сейчас же на рожон лезешь. Нет того, чтобы помилосердствовать и не раздражать государя...

— Да я, государь, и не для раздражения сказал, — ответил Меншиков, поднимая на Петра взор. — Не впервой мне от тебя за мою

службу обиды терпеть. К тому речь веду: покойный-то граф...

— Вытащили его? — перебил его Петр.

— Не в реке же, государь, тело было оставлять, водой бы в Неву унесло, а там в сегодняшний день для рыбьего и рачьего прокормления и без того немало русских негодников плавают.

— Алексашка, перестань! — загремел государь. — Не натягивай струны — лопнуть может.

— Да я к тому сказал, — с еще большей дерзостью ответил Меншиков, — что если такая мертвечина иноземная, которая ласки не помнит, на добро плюет, да рыбам на снесь попадетя, так все они, рыбы-то, передохнут...

Петр напрягся. Хорошо он знал своего фаворита, всю его душу вызнал и понимал, что если Меншиков хулит кого-нибудь, хотя и покойного, так разведал про него что-то такое, что ему язык развязывало.

— Говори, Алексашка, что ты сказать мне хотел. Да в обиняках не путайся! Нечего мне тут твои предерзости выслушивать. Довольно, больше не желаю... Дело говори!

— Да ты меня сам, государь, постоянно перебиваешь, а если бы не то, так я давно осмелился бы напомнить тебе, что граф Кенигсек своим лицом королевскую особу представлял, всякие у него тайные бумаги в шатре могут быть, письма от короля Августа и прочее... Вот я, как его из воды вынули, так осмелился и по карманам пошарить и в потайном кармане камзола на груди большой пакет нашел...

— Развертывал? — грозно посмотрел на него царь.

— Смелости не хватило. Да и то сказать: какое мне дело? Вы, помазанники Божии, сами между собой посчитаетесь, а я-то что?.. Мне ваших тайн не знать. Взял я пакет и в шатер Кенигсека отнес, там и тело положено. А к шатру караул приставил, чтобы никто не смел близко подходить. Как повелишь быть? Забрать мне бумаги, или, быть может, сам их возьмешь?

Петр на мгновение задумался.

«Кто их там знает, какие у покойника бумаги были? — промелькнули у него в голове одна за другой мысли. — Может быть, брат

Август такое ему писал, что никому, кроме нас двоих, и ведать не надлежит. Доверь-ка я Алексашке, так он, лиса, все тайны выкрадет, а потом, кому выгодно, продаст. Лучше уж сам я потружусь, недалеко шатер Кенигсека, проеду и его праху поклонюсь».

## XVIII

### Удар в самое сердце

Во время этого разговора все в шатре притихли. Борис Петрович Шереметьев, сидевший поблизости от царя, не спускал взгляда с Меншикова. Он так и впивался в него своим взором, стараясь прочесть все его сокровенные мысли. Боярин чувствовал, что в печальном происшествии этого дня есть какая-то связь с тем разговором, который Меншиков и он вели во время наезда Данилыча под Мариенбург.

«Ой, Алексашка, — думал он, — ой, лиса, ой, конюхово отродье!.. Как он дело-то ведет!.. И что только он задумал? Ведь и впрямь выходит, что этот граф-то не без его помощи преставился».

Громкий возглас царя прервал думы боярина.

— Ин быть так! — проговорил Петр. — Поеду я сам и заберу бумаги. А вы тут, — встал он со своего места, — пируйте, пока я не вернусь. Я недолго... Жаль графа, жаль, а все-таки живые мы, так о живом и думать будем. Ну, Данилыч, веди меня к шатру!

У царской палатки всегда стояли готовые кони, и минуту спустя царь, в сопровождении Меншикова и трех гвардейских офицеров, уже мчался по лагерю, направляясь в ту сторону, где стоял шатер погибшего графа.

— Признайся, Алексашка: заглядывал ты в графские бумаги? — спросил царь.

— Видит Бог, государь, нет, — искренним тоном ответил Меншиков, — взглянешь, так сам увидишь. На пакете все печати целы...

— Да он, может быть, размок?

— Саму малость. Ежели бы трогал я, так бумага разлезлась бы, а вот взглянешь ты, государь, и увидишь, что она цела.

— То-то! Ой, Алексашка, если обманываешь ты меня — берегись. Все спускаю, а обманна не помилую.

— Да зачем мне обманывать тебя, государь? Ведь я — не иноземец, — ответил с ядовитой усмешкою Александр Данилович.

И Петр опять почувствовал, что не без основания говорит это Меншиков и что его ядовитая усмешка неспроста.

У шатра Кенигсека стояли часовые.

— Ты меня здесь жди, я один пойду! — спешиваясь, сказал царь Меншикову.

Он бросил поводья и пошел в шатер; Меншиков с прежней ядовитой усмешкой смотрел ему вслед.

Войдя, Петр остановился и огляделся. На походном ложе лежало тело утонувшего графа, небрежно брошенное, не прибранное и ничем не прикрытое. Царь подошел и опустился пред покойным на одно колено, творя поминальную молитву и крестясь. Потом встал, провел рукой по своим увлажнившимся глазам и тихо, с чувством проговорил:

— Да, это был друг искренний. Немного таких у меня. Покойся до Страшного Суда, незабвенный! Ты мною не будешь забыт.

Он отошел от тела и огляделся. Было еще довольно светло, и государь сразу заметил на

столе большой пакет. Он догадался, что это был тот самый пакет, о котором говорил ему Александр Данилович, и, подойдя к столу, взял его в руки.

«Отправлю, не вскрывая, брату Августу, — подумал он, — зачем мне чужие тайны?».

Он слегка потрянул пакетом... Тряпичная бумага, намокшая в воде, а потом замерзшая на осеннем холоде, лопнула, и перед Петром, как бы сама собою, вскрылась внутренность пакета. Он увидел его содержимое, и вдруг лицо потемнело, голова затряслась, губы искривила страшная конвульсия. Петр лихорадочно стал рвать пакет, и хриплые, безумные выкрики то и дело срывались с его уст.

Первым из-под рваной бумаги выпал его собственный портрет, подаренный им когда-то, в мгновения нежности, первой красавице Кукуя; потом появились его же письма к Анне, письма Анны к Кенигсеку. Бегло просмотрев некоторые из них, Петр заскрежетал зубами: как?! он, всемогущий повелитель огромного народа, он, постоянно твердивший, что правда для него краше солнца, был нагло обманут, и кем?!

Стон, рев рвались из груди пораженного в самое сердце человека. Он был оскорблен и как владыка, и как любовник; он, могучий и властный, стал жалкой игрушкой в женских руках. Ведь ради кукуевской прелестницы он прогнал жену, лишил своего единственного сына матери, он хотел поставить ее наравне с собою на ту высоту, куда вознесла его всемогущая судьба.

И кому он предпочтен? Польско-саксонскому проходимцу, без рода, без племени, которого он же сам вытащил из грязи! Вот кто был его счастливым соперником!

Петр, сжимая кулаки, бросился было к трупу Кенигсека, но в самое последнее мгновение великая тайна смерти, запечатлевшаяся на застывшем лице мертвеца, остановила его. Петр схватился руками за голову, кинулся к столу, скомкал бумаги, распихал их по карманам и выбежал из шатра.

Меншиков, едва взглянув на царя, понял, что произошло. На миг на его лице отразилось ликование: теперь для него не было сомнения, что его план удался, что могучая соперница повержена в прах.

## ХІХ

### Возвращение царя

**П**етр, ни слова не говоря, вскочил на лошадь и так пришпорил ее, что она испуганно рванулась вперед. Царь помчался как вихрь, Меншиков и немногочисленные провожатые едва поспевали за ним.

Были сумерки холодного, промозглого дня, с Ладоги дул пронизывающий сырой ветер. Камзол царя распахнулся, треуголка давно слетела прочь, но он не замечал этого. Он рад был буре: ведь в его душе ревела такая же буря, разом сметавшая все то, чему он еще недавно поклонялся, что нежно любил.

Кто знает, где были в эти мгновения думы Петра? Может быть, ему вспомнилось прошлое, вспомнилась кроткая жена его, которая никогда не изменила бы ему; вспоминалась могучая сестра, в роковой для него миг бросившая ему в лицо правдивые укоры; вспоминались иноземцы, для которых на их родине места и дела не хватало и которые им, царем, были поставлены во главе своего кроткого,

многотерпеливого народа. Теперь клокотавшая в его душе буря разом обратилась против них.

А эта распутная баба из Немецкой слободы? Да кто она такая? Имеет ли право даже гневаться на нее великий царь? Гордость мужская не должна допускать этого. Сегодня — она, а завтра — другая... Сотни таких и в своей земле, и за рубежом были бы рады его ласкам, так что же печалиться о ней. Вон ее из памяти царской, вон из сердца, как будто никогда и не было ее на белом свете!

Петр на всем скаку повернул своего коня.

Этот поворот был так неожидан, что следовавший за государем Меншиков на всем скаку налетел на него и тут же вылетел из седла.

— Прости, государь! — завопил он с земли. — Никогда больше не буду.

Страсти быстро менялись в огненной душе Петра. Чем страшнее был порыв, тем скорее он проходил, и всякая мелочь вызывала нередко смех. Вот и теперь фигура Меншикова, разодетого в богатейшее придворное платье и барахтавшегося на грязной земле, показала царю смешной.

— Вставай, шут поганый! — крикнул он.

— И рад бы, государь, — ответил Меншиков, — да не могу. Какая-то косточка хрястнула.

Петр, недолго думая, соскочил с лошади и мощным рывком приподнял своего фаворита.

— Ой, государь, не могу. Не то ногу вывихнул, — голосил тот, — не то спину поломал.

— Нежен больно! — сумрачно проговорил царь. — Вот я тебя к князю-кесарю в приказ на дыбе полечиться пошлю — живо выздоровеешь.

— Что ж, пошли. Быть может, мое место при тебе для графа Кейзерлинга понадобится? Очищай, очищай от нас места для иноземцев!

Тон фаворита был нагл и дерзок. Царь опять понял, что неспроста эта выходка Меншикова.

— Садись, что ли, на лошадь, Алексашка! — сурово проговорил он. — Поедем потихоньку. Мне с тебя спрос снять нужно.

Должно быть, Меншиков упал совершенно счастливо, и вся его проделка имела целью насмешить царя и тем вызвать его на разго-

вор. По крайней мере теперь, убедившись, что бешеная скачка по невскому берегу немного охладила и образумила царя, Меншиков вдруг выздоровел и легко, без всякой помощи, вскочил на лошадь.

— Поедем рядом, — сказал ему государь, — я тебя спрашивать буду, а те, — мотнул он головой в сторону провожавших, — пусть подалее отъедут.

Александр Данилович махнул рукой. По этому знаку всадники отстали.

Несколько минут царь и фаворит ехали молча. Теперь ладожский ветер дул им в спину. Меншиков ежился — его словно ледяные иглы насквозь пронизывали. Петр же словно не замечал непогоды. Он пыхтел, кряхтел, сопел, очевидно, не зная, с чего ему начать свои расспросы, и наконец обратился к Александру Даниловичу:

— Алексашка!

— Что повелишь, государь?

— А то повелю! Ты вспомни: ведь я тебя из грязи вытащил. Чем ты был бы без меня? На бочке при конюшке ездил бы, а не то на базаре пирогами с тухлой начинкой торговал

бы...

— Так, государь, — перебил его Александр Данилович. — Всем я тебе обязан. А пироги, коими я торговал, порочить не изволь: свежие они были, никогда родительница в них тухлятины не клала. А если я торговал на базаре, так нет в том для меня позора. Семеро нас у родителя было, значит, с ним да с матерью девять ртов, да дедка с бабкой; я меньшим был и с малых лет в честном труде родителям помогал. А разве можно корить этим человека, хотя бы и царю? Твоя воля надомной теперь! Залетел я вон на какую высь, так и скрывать от тебя не буду, что и с правого, и с виноватого шкуру деру, хуже душегуба на большой дороге граблю... Так за это мне от всех почет и уважение, а за честный труд покор да попрек. Эх, царь-государь Петр Алексеевич! Мудр ты, наш Соломон российский, да язык-то у тебя не всегда на привязи. Повели меня казнить за правду!

— Да что ты, Алексашка! Какой белены объелся? Не попрекаю я тебя, а напоминаю и хочу я, твой царь, правды за все, что я сделал тебе. Скажи и ты мне правду: знал ты, какие

бумаги при Кенигсеке были?

— Знал, государь, — прозвенел голос Меншикова.

— А-а-а! — вырвался хриплый рев из груди Петра.

— Да ты погоди. Если спрашиваешь у меня правду, так я тебе всю ее выложу, благо время такое подошло, а после делай со мной что тебе угодно. Не сегодня я об этих бумагах узнал — обо всем том, что в письмах писано, давно мне было ведомо. Да разве мне одному? Вся Москва взапуски говорит. Царь с кровати, а немчин на тепленькое место.

Новый стон вырвался у Петра.

— Так чего же вы молчали? Чего ты молчал?! — закричал царь так, что эхо переливами разнесло его крик.

— Э, государь, — возразил фаворит, — да подумал ли ты, о чем меня спрашиваешь? Кто до тебя приступиться смеет? Ведь у всех одна голова на плечах, а твоему князю-кесарю все равно, в чьей крови купаться. Тоже золотце!.. Ну уж коли на то пошло, государь, так слушай же... Кенигсек утоп...

— А ты ему не помог в этом?

— Да уж там помог — не помог, этого никто не знает, кроме Бога. А ты Писание вспомни: «Волос с головы не упадет без воли Господней», и на этом остановись да не перебивай меня, если правду у меня спрашиваешь. Так вот, говорю я, графчонок этот августов утоп, а немчинка твоя, как проводила его из Москвы, так с посланником Кейзерлингом спуталась.

— Быть того не может!

— Чего там «не может», государь? Поди-ка, достань посланника. Твой же собственный друг, король прусский Фридрих, за него тебе такую тютю пропишет, что ты и света не взвидишь. Что же, царь-государь? Вот один своим рылом кверху лежит, поди-ка с другим потягайся. Кто из вас кого из кровати выгонит?

Какие-то хриплые, надрывистые звуки — таких Меншиков еще никогда и не слыхивал во все долгие годы, проведенные с царем, — вдруг вырвались из могучей груди венчанного исполина. Петр рванул лошадь и опять Домчался вперед.

— Забрало, — пробормотал фаворит, — ко-

нец Анке!

И тоже пришпорил лошадь.

Царь мчался прямо к своей палатке. Бешеный, тяжело дышащий, ворвался в нее; участники пира еще не разошлись. Все вскочили, увидав возвратившегося государя.

— Эй, вина несите! — громовым голосом крикнул Петр. — Дураков и дурак сюда! Бейте в литавры, из пушек палите! Громче, громче! Радуйся, Москва: твой царь к тебе возвращается.

## XX

### Вино и женщины

Великое начало было сделано взятием Нотеборга, переименованного царем в Шлиссельбург (Ключ-город), велика была и радость Петра.

Но это была радость царя, возвратившего древнее свое достояние, радость полководца, одержавшего решительную победу; что делалось в душе Петра-человека, уязвленного неожиданно в самое сердце, об этом знал только он один.

Утонувшего Кенигсека повелено было похоронить просто; бумаги же, оставшиеся после него, разбирал сам царь, и каждая-то бумажонка была острой стрелой, впивавшейся в его израненное сердце.

Дипломатических бумаг в конверте не было. Несчастный Кенигсек держал при себе только письма Анны Монс, и теперь все они были в руках Петра; он читал их, и каждая строка заставляла его то вздрагивать от бешенства, то стонать от переживаемой муки душевной.

«Значит, все знают позор мой! — неслись в мозгу Петра огневые мысли. — Вся ненавистная мне Москва радуется... Что делать? Как поругание такое прикрыть?.. К Федьке Ромодановскому, что ли, эту тварь послать и в кипятке заживо сварить?»

Но это были только мимолетные вспышки ярости. Как бы ужасно ни было его отмщенье обманувшей его любовнице, даже самые страшные ее муки не заставят забыть тех блаженных, счастливых минут, которые он пережил в ее объятиях. Оскорбленному любовнику хотелось чего-то особенного. Если бы в

Преображенский приказ, к князю-кесарю, можно было послать душу кукуевской престлестницы?! О, тогда не было бы той муки, которую он бы придумал для нее; но в руках была не душа, а тело, ничтожное, смертное тело.

Как ни был могуч этот человек, как ни презрительно смотрел он на всех, кто окружал его, но одиночество в такие мгновения было нестерпимо... Гордость не допускала Петра опуститься до душевных излияний пред кем бы то ни было, а душа жаждала этих излияний. Пирьы, попойки, всякие «веселости» не тушили сжигавшего сердце огня, не успокаивали кипевшей в душе бури. И не было человека, с которым слово можно было бы сказать, такое слово, которое разом облегчило бы страшный душевный гнет.

Нестерпимо мучившийся царь не замечал, как внимательно наблюдал за ним Александр Данилович Меншиков, глаз не спускал с него, но не торопился, все еще выжидал.

«До настоящего каления дошел, — думал фаворит, иногда пристально глядя на царя, словно гипнотизируя его, — подождем, немножко еще подождем. Игра верная, проиг-

рыша не будет». И в эти дни Александр Данилович был куда счастливее своего повелителя.

Совсем еще мало был при нем Кочет, но Меншиков уже чувствовал, что этот человек становится ему все более и более необходимым. Кочет словно умел угадывать сокровенные мысли своего господина, и по временам Александр Данилович даже боялся его... Нередко он видел, как без слов, с одного намека исполняется то, что им было давно задумано и о чем он даже самому себе вслух еще не обмолвился.

Кочету было поручено оберегать Марту Рабе, привезенную в шлиссельбургский лагерь потайно, и Меншиков лучшего охранителя и найти бы не мог: Кочет так строго относился к молодой женщине, что даже ревнивец не мог бы заподозрить в нем любовные поползновения.

Меншиков пробовал сам следить за Кочетом, подсматривал за ним, когда он бывал у мариенбургской красавицы, подслушивал их разговоры и все более и более убеждался, что Кочет незаменим для него.

Марта-Екатерина, уже привыкшая к своему новому имени, расцвела. Ураган, промчавшийся с такой стремительностью и захвативший было ее, не оставил на ней и следа. Ведь ей в ту пору шел всего только девятнадцатый год... Она была не по возрасту высока и крупна, но все в ней было пропорционально и красиво. Крупные черты лица соответствовали всей ее фигуре, а бархатные глаза делали ее неотразимой.

Меншиков подолгу смотрел на нее, и тогда на его выразительном лице появлялась довольная улыбка.

— Недужится мне что-то, — возвратившись с одной вечерней попойки, сказал однажды Меншиков Кочету, — боюсь, что слягу... Да и то, пожалуй, полежу завтра...

Он говорил все это неуверенно, словно ожидая со стороны Кочета совета.

Тот слегка улыбнулся.

— Ты чему? — нахмурился Александр Данилович.

— Хорошие мысли, милостивец, на ум пришли! — ответил Кочет.

— Какие еще там?

— Да такие, что, значит, нужно всем нам к царскому посещению готовиться.

Меншиков даже подпрыгнул на скамье от изумления.

— Ты... ты почему знаешь? — воскликнул он. — Колдун ты, что ли?

— Какой уж там колдун! — возразил Кочет. — И колдуном быть не надобно, чтобы смекнуть: ежели такой человек, как ты, милостивец мой, да занедужит, так великий государь болящего навестить не преминет!

— Ой, Кочет, — погрозил ему пальцем Александр Данилович, — сметлив ты не в меру!

— А разве худо? Вот теперь тебе и думать не надо, как такого гостя встречать... У меня из шведских погребов такое винцо припасено на сей случай, что царя угостить им не стыдно. Катеринушка кубок-то подавать будет?

Меншиков даже и не ответил, он только рукой махнул, чтобы Кочет уходил поскорее. Александр Данилович и сам был умен. Он теперь ясно видел, что Кочет проник во все его сокровенные помыслы.

«Ну и пусть его! — решил он. — Ежели

вздумает предать меня, так живо справлюсь, а ежели нет, так такого слугу верного мне и надобно... На зиму в этих местах мне придется остановиться, так пригляжусь к нему и увижу, каков он человек».

На этом Меншиков и порешил.

На другое утро он сказался больным и послал с вестовым нарочное о том извещение государю.

В ту пору Меншиков жил уже совсем позимнему. Он был назначен губернатором всего отвоёванного у шведов края, и ему действительно приходилось оставаться здесь на зиму, дабы подготовить все к весеннему походу к невавскому устью. Меншиков переселился в один зимний дом в городском крепостном поселении на правом берегу Невы не только с комфортом и уютom, но и с роскошью — он это умел. Сказавшись больным, он, конечно, и остался в постели. Государь немедленно прислал к нему своего доктора Блументроста, а потом оправдался и тайный расчет Меншикова: Петр Алексеевич и сам явился навестить больного любимца.

— Что, Алексашка, — заговорил он, входя к больному, — никак тебя здешние ветры сокрушили...

— Ой, государь! — заметался на постели Меншиков. — Прости, помилуй... Сейчас поднимусь я... Людишки окаянные и не сказали, что такой гость жалует!

— Лежи, тебе говорят, лежи! — прикрикнул на него Петр. — А я вот тут на кровать присяду к тебе... Поговорить надобно; я ведь уезжать собрался, и за меня ты здесь остаешься.

Между ними начался деловой разговор.

Александр Данилович видел, что государь находится в необычно угнетенном настроении. Мрачен, часто замолкает на полуслове.

— Прости, всемиловитивейший батюшка мой! — вдруг прервал он деловую беседу. — Совсем, видно, негоден я стал от болезни: гость такой в дому, а я и угощения не ставлю...

И он хлопнул в ладоши; сейчас же в спальном покое появился Кочет.

— Пусть вина сюда подадут, — приказал больной хозяин, — того, знаешь? Из швед-

ских погребов...

— Шлиппенбаха обобрал! — усмехнулся Петр.

— А чего, батюшка, его жалеть-то? — в тон ему ответил Меншиков.

Кочет распахнул дверь, и в спальню вошла, неся поднос с кубками и чарками, Екатерина.

Повторялась та же сцена, как в лагере под Мариенбургом, с тою только разницей, что на месте Меншикова был сам грозный царь Петр Алексеевич.

— Это кто же такая у тебя? — проговорил он, вперя внезапно загоревшийся взор в лицо красавицы.

— Сиротка одна, всемилостивейший, — ответил Меншиков, внимательно наблюдая за царем, — говорят, благородного шведского рода... Вот хочу тебя за нее просить...

— В чем дело? — все не спуская глаз с Екатерины, спросил Петр.

— Хочу ее к сестре Дарье отправить, а ты из сих мест отъезжаешь, так не доставишь ли ты ее вместе со своей царской челядью на Москву? Одну-то, признаться сказать, боюсь

ее с подлыми людишками отпустить.

Петр не ответил. Любуясь Екатериной, он принял из ее рук чару.

— Хорошо вино, — произнес он, — а хозяйка у тебя, пес Алексашка, и того лучше.

— Да не хозяйка, не хозяйка она моя! — воскликнул Меншиков. — Просто, батюшка, видя ее сиротство, приютил... Катерина! — обратился он по-немецки к молодой женщине. — Знаешь ли кто это? Это — наш великий царь, наш отец!

Краска залила лицо Екатерины.

— Я счастлива видеть государя, — ответила она на том же языке, — эта минута останется навсегда незабвенной в моей памяти...

— Пусть она уходит! — сказал, перебивая ее, Петр.

Меншиков даже побледнел, услышав эти слова. Ему показалось, что молодая женщина не понравилась его гостю.

А в душе Петра вдруг забушевала буря...

Вот-вот наконец пытка для души изменившей возлюбленной... Взять эту первую встречную и поставить на то место, где досель царила Анна... Да, да! Плети, батоги, го-

рящие веники, клещи, клинья под ногти — все это пустое в сравнении с муками ревности, со скорбью о том, что потеряно... Он сам пережил все это, так пусть же и изменница негодная переживет те же муки!

— Вели, Алексаша, шахматы принести, — проговорил Петр, — сыграю я с тобой, дабы не скучно было тебе, больному, а о сиротке Катеринушке ты больше заботы не имей: я сам о ней позабочусь...

В душе Александра Даниловича запели победные гимны.

## XXI

### Новая звезда

**П**ервая красавица Немецкой слободы, уже раздобревшая и поблекшая, узнала о своей опале только тогда, когда государь Петр Алексеевич возвратился в Москву. Московский народ словно почувствовал что-то новое в своем государе и встретил его уже не с прежней неприязнью. В Москве произвело большое впечатление и то обстоятельство, что, возвратившись, Петр не поехал, как это

было всегда, прямо с дороги в любимую им Немецкую слободу, а, поклонившись московским святыням, отправился в свое Преображенское. Говорили, что вместе с ним прибыла с Невы новая немчинка — и молодая, и собой пригожая, и до московских людей приветливая и ласковая. Любители придворных новостей тайно шушукались о том, что эту свою новую даму государь увидел у Меншикова за какой-то домашней работой. Понравилась она его царскому величеству, и выиграл он ее в кости у своего любимого холопа.

Впрочем, о Катерине Васильевой (так царь приказал именовать Марту Рабе) говорили в Москве без всякой злобы. Она держалась просто, была приветлива и без всякой гордости. Кто к ней за советом ли приходил или с просьбой о ходатайстве, или с какой-нибудь другой нуждой, ко всем она относилась ласково: горюющих утешала, тревожащихся успокаивала и при всем том не мздоимствовала, как Анка Монс, а делала что могла Бога ради. Все это рождало если не любовь, то какую-то приязнь к новой подруге царя и желание, чтобы она надолго заменила Петру ненавист-

ную Монсиху.

Анна, узнав, что государь не желает видеть ее, попробовала было бороться, но, должно быть, с годами недавняя вострушка сильно отупела; вздумала она возвратить себе любовь государя разными приворотными зельями и, конечно, на том сейчас же попалась. Царь вместо того, чтобы вернуть ей свою любовь, приказал возбудить против нее судебное дело да кстати велел прихватить в суд и ее сестру Матрену Балк с мужем, пощадив только младшего брата Виллима, красивого бойкого юношу, славившегося среди своих земляков поэтическим дарованием.

Да и вообще заметно было, что царь охладил к иностранцам и хоть не разрывал былых своих связей, но отношения уже были не прежние. Все ближе и ближе стали к нему коренные русаки, из иностранцев оставались лишь те, которых долгие годы знал Петр и которым верил. Впрочем, самого себя и весь свой двор царь по-прежнему держал не по старомосковскому, а на иноземный лад. К своей Кетхен он относился с замечательной сердечностью. Очевидно, улегся юный пыл,

страсти, обуревавшие могучую натуру, уже поуспокоились, да и организм, надорванный еще в детском возрасте, стал ветшать и требовать отдыха после бесчисленных жизненных бурь. В жизни Петра наступила та пора, когда всякий человек, кто бы он ни был, заботится о семейном очаге, о домашнем уюте. Нужна уже не жгучая, испепеляющая страсть, а добрая, кроткая, покоящая чувства любовь. И после всех бурь молодости Петр в мариенбургской пленнице нашел то, что ему нужно было: тишину и уют семейного очага, и даже прежние дружеские попойки стали сравнительно редкими.

Заметив, что Екатерина Алексеевна (Марта Рабе уже приняла православие с этим именем и отчеством) скучает без женского общества, Петр решил создать для нее такой женский кружок, в котором она могла бы первенствовать. Ближайшею подругою Екатерины Алексеевны стала замужняя сестра Меншикова Дарья; не брезговала бывать у нее с дочерьми и царица Прасковья (вдова Иоанна V), да и любимая сестра государя царевна Наталья Алексеевна нередко оставляла и свою библио-

теку, и своего питомца, царевича Алексея, чтобы провести часок-другой с этой неглупой, всегда веселой подругой державного брата. Женщинам нравилось и то, что Екатерина Алексеевна была не прочь осушить чарочку вина, и не только они, но и сам царь Петр находил в своей новой подруге отличного собутельника.

Создавая женское общество для Екатерины, Петр вспомнил об одной сиротке, которая давно врезалась в его память. Поискали маленькую Машеньку Гамильтон (Гамильтову, как ее называли на Москве), поднесшую ему букет на том давнем веселом пиру. Но, сколько ни искали, ее уже не было в Немецкой слободе, и никто не знал, куда она девалась.

Судебное дело, возбужденное против Анны Монс и ее сестры, было быстро доведено до конца. Страшное по тому времени преступление — колдовство было доказано. Но Петр не стал мстить страшно оскорбившей его женщине; ей повелено было сидеть дома, никуда не отлучаясь, и только под конвоем ходить в кирку.

## В трудах без отдыха

**Б**ыстро промелькнула зима, и, едва стал таять снег, царь уже умчался на Неву, чтобы докончить начатое им великое дело.

Завоеванный русскими Нотеборг преграждал путь из Ладоги в Неву, а ближе к ее устью стояла другая сильная шведская крепость Ниеншанц, которую русские, населявшие этот край, называли попросту Канцами.

Крепость была разрушена, и из ее камней впоследствии были возведены многие постройки в городе, основанном царем на Березовом острове (нынешней Петербургской Стране в Петербурге).

Наконец свершилось то, о чем так мечтал Петр Алексеевич: ему было куда уйти от опротивевшей ему Москвы, было к чему приложить творческие силы. За Петербург пришлось выдержать упорную борьбу со шведами, которые не раз добирались до самых стен крепости. В той местности, которая ныне называется Каменным Островом, происходили

жесточайшие битвы за Петербург, и каждый раз шведы были разбиты, наступала короткая передышка, для жизни, для любви. В 1705 году двадцатитрехлетняя Екатерина Васильева была перевезена в Петербург и поселилась в маленьком домике государя вместе со своей наставницей Анисией Кирилловной Толстой.

Не до любовных утех было в то время Петру. Его могучий противник Карл наконец заметил русских, и России стало угрожать шведское вторжение. Собиралась могучая армия шведского короля. Притихла Москва. Все то, что составляло старую Русь, насторожилось и ожидало исхода.

Одной тревогой, правда, стало у Петра Алексеевича меньше: в 1706 году умерла царица Софья, и стрельцы потеряли тот центр, около которого постоянно зрели все их мятежные замыслы.

Эти годы Петр проводил в разъездах и, не видя подолгу своей подруги, влюблялся в нее все более и более. Он постоянно писал ей, все его письма, даже незначительные писульки начинались словами: «Марта, здравствуй, Мудер, Катеринушка, друг мой». Катеринушка

словно любовным корнем обвела Петра, даже в разгар своей ожесточенной борьбы с Карлом он помнил о ней и заботился. Так, он велел ей с дочерью Анной выдать три тысячи рублей, что при скупости Петра составляло огромную сумму.

Что же влекло государя к этой женщине, лишенной всякого образования? Черты ее лица были скорее неправильны; она вовсе не была красавицей, но в ее полных щеках, во вздернутом носе, в темных, горящих огнем глазах, в ее алых губах, в круглом подбородке, в роскошном бюсте таилось столько жгучей страсти, столько неведомого изящества, что впечатлительный царь с каждым днем все более и более привязывался к своему «сердешенькому другу». С нею, Катериночкой, являлось к нему веселье, она, кстати, и ловко умела распотешить сумрачного друга, говорила, что его горе — это и ее горе, его радость — ее радость, словом, Екатерина была или, может быть, умела казаться лучшим и преданнейшим другом. Но в эти годы, как ни любил ее Петр, а все-таки, наученный горьким опытом, он и не думал о свадьбе с ней. У них ро-

дились дети — дочери, но «сердешненький друг Катеринушка» все еще не была венчана с их отцом.

## XXIII

### Тайные думы фаворита

**М**еншиков сумел сохранить огромное влияние на Екатерину Алексеевну, но и он не особенно торопился вывести цареву возлюбленную в русские царицы: для этого еще не настало время, у царя Петра бывали такие мгновенья, когда он с грустью вспоминал свою первую пылкую любовь. И Анна Ивановна Монс была жива, и во что бы то ни стало Меншикову нужно было окончательно погасить любовь к ней в сердце его властелина.

Анна постоянно старалась напоминать о себе своему бывшему возлюбленному: унижалась до жалкого выклянчивания ничтожных подачек, а когда убедилась, что это не действует, вздумала возбудить в царе ревнивое чувство.

Однажды хмурый Меншиков поднес государю ходатайство прусского посланника Кей-

зерлинга за Анну Монс. Потемнело лицо царя, вспомнились ему те обманы, какие приходилось пережить, но опять сдержался, ни слова не сказал своему фавориту, не наложил на ходатайство никакой резолюции.

— Кстати, ваше величество, — сказал весело Александр Данилович, — что-то давно не было никаких веселостей, и скука всех одолевает. Думаю я устроить малый вечерок...

— Что ж, доброе дело! — ответил государь. — Все работа да работа! Устал.

— Больше всех нас устаешь ты, государь! — воскликнул Александр Данилович. — Так склонись на мою просьбу: не откажи прибыть на мое веселье.

— Ладно, погляжу там, — мрачно косился Петр на бумагу.

— Да, вот еще, — напирал Меншиков, — думаю я иностранных послов позвать. Так, может, ты позволишь намекнуть им, что не их дело в твои царевы дела мешаться и беспокоить своими просьбами за всяких людишек?

— Что ж, не худо то будет, — согласился Петр. — Только осторожненько сделать надо.

— Будь спокоен, государь, — ответил Алек-

сандр Данилович, — так все устроим, что комар носа не подточит!

— Делай, как знаешь, — махнул рукой государь.

Меншиков поспешил уйти.

— Что, плохи дела, милостивец? — спросил его Кочет.

— Пошел к черту! — заорал Меншиков.

Да, плохи были дела пронырливого царедворца. В вихре хитросплетенных, тончайших придворных интриг он часто рисковал своею собственною головою. Сейчас этот риск особенно вырос, хотя и Данилыч стал другим. Пока он был молод и ничтожен, то изоощрял свои способности для того только, чтобы устроить, вознести себя повыше, обеспечить себе будущее; он не останавливался ради этого ни пред чем. Поняв всю сложную натуру друга-царя, верно уразумев основы его характера, Александр Данилович то потакал грубейшим, изменным инстинктам Петра, то начинал громить его с такою дерзостью, на какую никто не осмелился бы. И в конце концов он добился своего: поднялся так высоко, как еще никто не подымался в России. У него

теперь было все: и несметные богатства, и почести, и беспредельная власть — все, все...

Александр Данилович привык и к работе, которую он делал вместе с царем. Он втянулся в эту работу, как игрок втягивается в карточную игру. Часто рисковал, но, когда было нужно, ставил на кон свою голову, не задумываясь снимать и чужие головы, если выигрывал.

Теперь он затевал игру, самую, пожалуй, рискованную. Он прекрасно знал, что нет-нет да и вспомнит его повелитель о кукуевской прелестнице; видел, как затуманивались его глаза. Ничто — ни любовь друга-Катеринушки, ни упоение славою, ни победы над друзьями грозного соперника, ни быстрый рост Петербурга — не изглаживало из души царя памяти о первых днях первой радостной любви.

Меншиков знал это и боялся. Ведь царь был так впечатлителен, так легко поддавался порывам, что даже близкие к нему утром не знали, что будет в полдень.

Но было и другое обстоятельство, заставлявшее Меншикова среди ночи просыпаться

в холодном поту: со дня на день могла выдвинуться и преградить ему путь еще одна женщина. Уже многие годы она была только тенью, теперь же становилась кошмаром, и Александр Данилович дрожал всякий раз, как вспоминал о ней.

Эта женщина-тень, если бы только захотела судьба, в одно мгновение могла бы стать выше всех в русском народе. Без малейшего усилия она смяла бы, стерла с лица земли всех Аннушек, Катеринушек; первым пал бы с высоты в бездны небытия все тот же Александр Данилович Меншиков, которому она обязана была тем, что из роскошной красавицы стала только черной тенью.

Но вместе с ее возвеличением, с ее возвращением из небытия к бытию разом рухнуло бы все дело преобразования. Все, что совершил могучий царь, погибло бы... Погибла бы и народившаяся военная мощь, погибли бы и зачатки наук, погиб бы и новосозданный красавец-город — все, все погибло бы...

Эта женщина-тень, этот страшно мучительный для Меншикова кошмар была заточенная в монастырь царица Евдокия Федо-

ровна.

Ее сын подрастал. Не по дням, а по часам вытягивался болезненный, но пережитыми несчастиями развитый не по летам мальчик. Недаром же воспитывала его образованнейшая в России женщина того времени, его тетка, девушка-вековушка, царица Наталья Алексеевна.

Она не была враждебно настроена против брата, но быстрота, с которой он стремился вперед, грубо ломая на пути все, что ему попадалось, пугала и ее. Она вся отдалась делу воспитания наследника-царевича, просвещала его книжной премудростью, но не могла вытравить из его сердца, из его души память о несчастной матери.

Царевич Алексей, столь же впечатлительный, как и отец, считал ее страстотерпицею, великомученицею. Он, не зная матери, страстно любил тетку, но страх пред отцом заставлял его скрывать все чувства, притворяться, лгать, и из всего этого создавалась быстро возраставшая неприязнь против родителя, которая с течением времени начала обращаться в ненависть.

Александр Данилович, стоявший ближе, чем царь, к жизни народа, знал, что повсюду была масса людей, с величайшей надеждою ждавших, когда царевич подрастет. В то время как его могучий преобразователь-отец был почти один и опирался только на грубую силу, его слабый, тщедушный сын был с народом и опирался на его любовь. Народ терпеливо ждал того времени, когда возмужает наследник, а тогда... тогда... Что стрельцы! Если горсть пьяных буянов могла потрясать устойчивость государства, то воля всего народа мигом сокрушила бы хрупкое, основанное на непрочном фундаменте здание петровских реформ.

Все это соображал фаворит, стараясь заглянуть за завесу грядущего.

Он знал, что лава уже кипит в новом вулкане. По глуши русской земли бродили юродивые и пророчествовали о скором пришествии светлого царевича на смену духу тьмы, порождению антихристову. Во многих церквях поминали наравне с царем «благочестивейшую и великую государыню Евдокию Федоровну». Духовные особы, и не малого чина, из Москвы на поклон ездили к бывшей цари-

це. Нужно было тушить пожар, пока не поздно. Царь же, как на грех, все чаще и чаще призывал к себе сына, ласков был с ним, да и письма из Покровского суздальского монастыря от инокини Елены почитывал без гнева и с вниманием... Как отвратить царя от всего этого?..

Но сперва надо бы управиться с кукуевской прелестницей, и Меншиков решил разом покончить с нею; с этой целью он и устраивал веселый званый вечер, на который пригласил и государя.

## XXIV

### Прусский посланник

**Г**раф Георг Иоганн фон Кейзерлинг, прусский посланник, был для «Монши» (так тогда называли кукуевскую прелестницу) покровитель надежный: он для царя недосыгаем, и руки у него развязаны. Был он человек недалекий и притом упрямый. Если начинал что-либо, хотя бы любую глупость, то с упорством, достойным лучшей участи, доводил начатое до конца. Был он и на язык неосторо-

жен. Меншикову — плюс.

Когда Кейзерлинг начал хлопотать о Монше, то прежде всего стал грозить, что всю «эту историю» он напечатает в немецких газетах. Конечно, это было доведено до ушей Петра. Царь страшно вспылил, но вынужден был затаить гнев. А Кейзерлинг издевался, рассказывая, как будут читать в Европе про любовные похождения московского царя и как зло станут смеяться над неудачным любовником кукуевской прелестницы.

Нужно было показать зазнавшемуся немцу его место...

Александр Данилович щегольнул своим званым вечером. Богатейше, по-праздничному был разубран его дом. Тысячи восковых свечей горели и в залах, и в примыкавших к ним комнатах. Не смолкая гремела хоровая музыка, веселя собравшихся знатных гостей. А тут были все близкие к Петру придворные — все новые люди для России и Европы; явился весь тогдашний дипломатический корпус, с чопорным английским послом Чарльзом Видвортом во главе, блистая вели-

колепием одежд, бриллиантами украшений. Были и дамы, но их приехало немного: известно же, что вечер закончится попойкой, на которой уважающим себя женщинам не могло быть места.

Царь запоздал и, когда гости собрались, его еще не было. Меншиков был приветлив с Кейзерлингом, не отходил от него ни на шаг, и тупой немец, по всей вероятности, воображал, что всемогущий фаворит заискивает пред ним.

Меншиков был так любезен и мил, что Кейзерлингу показалось, будто наступило самое удобное время, чтобы частным образом разрешить такой близкий ему вопрос, как снятие опалы с «девицы Анны Монс». Недолго думая, он заговорил:

— Не будет ли сей день великого веселья вместе с тем и днем милости?

— О чем ты говорить изволишь, любезный граф? — представился удивленным и не понимающим вопроса Александр Данилович.

— Да все о том же, дорогой князь (Меншиков в то время уже имел этот титул)... Или ты не понимаешь нашего разговора? Нельзя ли

будет склонить его царское величество принять на службу только что прибывшего из-за границы Виллима Монса и простить его несчастную сестру...

— «Несчастную», говоришь ты, граф? — лукаво посмотрел на него Меншиков.

— Да, да, я говорю так! — с пылом воскликнул граф Георг. — Разве не несчастна эта ни в чем не повинная страдалица, силою вынужденная вести такую жизнь, какую ведет она теперь?.. Это постоянное пребывание в доме, этот непрестанный досмотр за нею князя Ромодановского... И за что? Кто мстит бедной женщине?

Прусский граф сам шел в расставленные ему сети.

— Оставь, граф! — меняя тон, с величайшим пренебрежением в голосе воскликнул ижорский князь. — Все ее беды от ее развратничанья!

— Что? — побагровел Кейзерлинг.

Меншиков повторил свой ответ в еще более грубых выражениях, называя вещи и понятия их собственными именами.

Разговор стал принимать бурный харак-

тер. На грубость фаворита Кейзерлинг ответил грубостями, Меншиков не уступал, ссора разгоралась.

— Что тут такое? — раздался громкий, властный оклик, заставивший всех вздрогнуть.

Никем не замеченный вошел царь. Он постоял на пороге несколько мгновений, слушая перебранку, и наконец, найдя нужным вмешаться, быстро подошел к спорившим.

Испуганные, они отскочили друг от друга.

— Ну, из-за чего у вас начинается драка? — спросил пока не гневно государь. — Петухи, вы, право! Только еще сошлись и уже ссориться начинаете.

— Не извольте гневаться, ваше царское величество, — скрипя от злости зубами, заговорил прусский граф, — начал ваш князь Меншиков поносными словами позорить мою персону...

— Из-за чего, Алексашка? — исподлобья взглянул на любимца царь Петр.

— Да помилуй, великий государь! — воскликнул Меншиков. — Восхваляет граф Моншу, она-де — страдалица...

— Да что ему до сей развратницы?

— Государь, — пылко воскликнул Кейзерлинг, — девица Монс — женщина... Долг чести каждого благородного человека — вступить за угнетаемую женщину. Я просил князя исходатайствовать у вашего царского величества разрешение ей на бракосочетание со мной, а он начал позорить ее...

Лицо Петра потемнело, глаза засверкали, но он все еще сдерживался.

— Воспитывал я оную Моншу для себя самого, — проговорил он, — с искренним желанием жениться на ней, но так как она, тобою, граф, прельщена и развращена, то я ни о ней самой, ни о ее родственниках ничего ни слышать, ни знать не хочу...

— А я скажу, — вдруг даже привзвизгнул Александр Данилович, подступая к самому графу и зачем-то подбочениваясь, — что девушка Монша — действительно публичная баба, и я сам с нею развратничал столько же, сколько и ты, граф!

Это было уже слишком! Но у Кейзерлинга еще оставались крупинцы благоразумия. Он сдержался и ответил:

— Будь мы в другом месте, князь, я доказал бы тебе, что ты поступаешь не как честный человек, а как...

Какое слово употребил здесь для сравнения разгневанный посол, об этом не сказано даже в его собственноручных письмах к прусскому королю Фридриху, но, должно быть, было сказано что-либо обидное, потому что Меншиков кинулся на Кейзерлинга, желая бросить его на пол подножкой.

— В этом искусстве, князь, ты упражнялся, — ловко увернувшись от подножки, кинул ему Кейзерлинг, — когда разносил по улицам лепешки на постном масле и когда после того был конюхом...

Кругом были представители всей тогдашней Европы. Они молчали, не зная, что сказать, как успокоить ссорившихся. Остервенившийся же после полученного оскорбления Меншиков надвигался на своего оскорбителя, что-то крича ему и размахивая руками.

Вспыльчивый Кейзерлинг выхватил шпагу. Он был искусен в фехтовании и, несомненно, ранил бы, если бы не убил Меншикова, но в это время к ним поспешил с обнаженной

шпагой в руке сам государь.

Его появление вызвало испуганные крики. Ведь граф Георг был представителем могущественного государства, и его оскорбление поставило бы Россию лицом к лицу с самой Пруссией.

Толпа дипломатов, глазевшая на скандал, разом отхлынула. Многие дипломаты отодвинулись далеко в сторону, делая вид, что ничего не замечают, или, по крайней мере, принимают все происходящее за шутку.

Раздраженный царь со шпагой в руке наступал на прусского графа, к нему присоединился Александр Данилович. Кейзерлинг фехтовал мастерски, несмотря на то, что гнев ослеплял его.

— Как это хорошо, как это по-рыцарски! — презрительно говорил он, парируя удары и атакая сам. — Двое на одного!

## Последняя вспышка

Скандал был полный. Ни царь, ни Меншиков не были опытны в искусстве владеть шпагой. Они делали грубые промахи, открывая себя для выпадов противника. Но как ни был ослеплен Кейзерлинг гневом, он понимал, какие могут быть последствия, если он хотя бы ранит московского царя, и потому ограничивался лишь тем, что отбивал его удары, отбивал легко, как бы шутя.

Положение Петра было уже не опасным, а прямо-таки смешным. Молодые дипломаты с трудом удерживались от улыбок.

Это понял тайный фискал Петр Павлович Шафиров, человек низкого происхождения, вытянутый царем из ничтожества на высоту. Нужно было как-нибудь поправить дело.

Положение Петра было бы еще более смешным, если бы он сам прервал этот неожиданный поединок. Это дало бы повод к ядовитейшим толкам и сплетням: прусский-де посол «отделал» московского царя, за-

теявшего с ним ссору из-за жалкой потаскушки...

Шафиров сообразил все это и вдруг, когда шпага валилась из рук утомленного и запыхавшегося Петра, бросился с громким криком между дерущимися.

— Великий государь! — закричал он. — Пощади сего неразумного! Тебе ли, царю могущественному, беспокоить свои руки обо всякого иноземного холопа?!

Хорошо, что Кейзерлинг плохо понимал по-русски, а то пощекотал бы острием своей шпаги кожу еврея-придворного. Но ему не до того было в эти мгновения...

Едва была прервана схватка, на него налетели меншиковские слуги, шпага была вырвана из рук, самого подхватили и потащили к дверям, пока еще только легонько подталкивая в спину. Но, как только он был выведен из зала, холопы ижорского князя перестали стесняться. Кейзерлинг был спущен с лестницы, внизу он попал в руки гвардейцев, а те тоже не замедлили показать знатному пруссаку, как в России провожают гостей. Посол Фридриха Великого был вышвырнут за двери,

где долго приходил в себя.

Стоя на холоде, Кейзерлинг тупо стал припоминать подробности происшедшего... Потаповка между ним и ижорским князем оказалась боевой: Меншиков порядочно поколотил его, у посла болела грудь, ломило левую сторону лица, да и в спине чувствовалась сильная боль, зато Кейзерлингу было чем утешить себя: он припомнил, что успел дать не одну затрещину Александру Даниловичу и перед схваткой, и когда тот собственноручно вытаскивал его из зала...

Но было и другое, чем утешал себя побитый посол. Немецкий сентиментализм подсказывал ему, что он — герой, рыцарь без страха и упрека, он пострадал за даму своего сердца...

Так стоял побитый граф Георг Кейзерлинг, размышляя о всем происшедшем и даже гордясь собою...

А царь Петр, образумленный Шафировым, сожалел о происшедшем.

— Вечно ты затеваешь то, чего и сам не понимаешь! — с неудовольствием сказал он Александру Даниловичу. — А я изволь отве-

чать за твои глупости! Советую тебе примириться с графом.

Государь был и в самом деле недоволен. Слишком уже казусное дело выходило тут.

Кто мог знать, как оно разыграется, но всегда в таких случаях самое лучшее перед дурной игрой делать веселое лицо. Так и поступил государь, и, как будто ничего и не было, закипел веселый пир. Веселым казался царь Петр Алексеевич, заходила круговая чарка, табачный дым облаками застилал залы; не сядясь за стол, бегал от гостя к гостю радушный хозяин князь Александр Данилович с синяком под глазом, так и сыпались направо и налево его веселые шутки-прибаутки, а на душе кошки скребли: царь будто вскользь заметил своему любимцу:

— Хорош презент приготовил ты мне ко дню моего тезоименитства, нечего сказать! Вон погляди на них! — и указал глазами в сторону иностранцев. — Смеются в своих душах, подлые, и мысленно рапорты своим владыкам сочиняют.

— И пусть их себе, государь! — весело потрянул головой Александр Данилович. — Сочини-

нять-то все можно, можно и послать, а вот дойдут ли?

Царь зорко посмотрел на него:

— Ой, Алексашка, задумал ты что-то непотребное...

— И ничего, государь, не задумал, — последовал быстрый ответ, — так, к слову сказал, чтобы успокоить тебя...

Но Меншиков и сам понимал, что затеял дело, которое вряд ли могло кончиться добром: тяжкое оскорбление иноземного посла было налицо, и еще никому неизвестно было, как отнесется к этому прусский король. Однако что сделано, то сделано. Меншиков понесся вперед, очертя голову.

По дорогам к границе понеслись курьеры, чтобы опередить посланцев, представителей английского, французского, польского дворов и других, бывших на злополучном «званом вечере» дипломатов, и каким бы то ни было способом их донесения своим государям изъять или по крайней мере возможно дольше задержать этих посланцев в пути. Сам же Меншиков с утра начал делать все, чтобы примириться с Кейзерлингом, и даже сам

царь усердно помогал ему в этом. Сначала спесивый граф ломался; плохой дипломат, он был уверен, что его король примет как личное то оскорбление, которое было нанесено ему, Кейзерлингу.

Так, вероятно, и было бы, но Меншикову везло.

В Польше разгорелась борьба за трон. Боролись два претендента на него — Август Саксонский и Станислав Лещинский. Прусский король Фридрих держал сторону последнего и заискивал пред царем Петром. При таких обстоятельствах он и не подумал принимать близко к сердцу оскорбление его посла. Граф Кейзерлинг получил от него порядочную нахлобучку и должен был даже извиниться пред оскорбившими его людьми. Чего не делает политика! Вскоре он был отозван, но рыцарски сдержал свое слово: женился на Анне Монс. Однако судьба уже отвернулась от кукуевской прелестницы: ей жилось очень скверно, и недолго пришлось быть настоящей графиней — Кейзерлинг умер, и его «графиня» осталась в России.

Однако сам Меншиков не выиграл ничего

из этой ссоры с прусским послом, хоть еще более отдалил от царя его бывшую возлюбленную. Но графиня Анна Ивановна Кейзерлинг все-таки осталась в России и все в той же Немецкой слободе. Ее жизнь в семье покойного мужа оказывалась нестерпимой — там над нею издевались даже слуги, и она предпочла вернуться домой, в прежнюю, привычную ей обстановку, уже не думая возвращать себе любовь царя Петра.

Да и царю в ту пору было не до любовных утех.

Наступал роковой момент. Коронованный северный викинг Карл XII наконец удостоил Россию своим вниманием и счел Петра настолько достойным себя, чтобы прийти и разбить его наголову.

Наступил 1708 год. Карл XII со своими закаленными в боях дружинами вторгнулся в пределы России. Петр срочно покинул Петербург, чтобы достойно встретить долгожданного гостя.

Отъезжая, государь кроме наказа Апраксину беречь Петербург обмолвился еще одним

словом, которое всех слышавших его повергло в недоумение, задав им такую загадку, которую они не в силах были разгадать.

— Берегите жену мою, — сказал государь уже при выезде из Петербурга.

Жену? Про кого говорил царь? Всему народу было известно, что Евдокия заточена в Суздальском монастыре. Неужели он надумал возвратить России законную царицу, а сыну-наследнику — любимую мать?

Но не про инокиню Елену говорил государь. Один только обер-комендант Петербурга Брюс мог бы сказать, кто была та, кого царь приказал беречь... Он помнил, как в холодный ноябрьский день по нарвскому тракту, мимо Сенной площади во весь опор по направлению к измайловским слободам мчалась лихая тройка. В санях сидели двое — мужчина и женщина: царь Петр Алексеевич и «друг его сердешненький Катеринушка». Сзади на другой тройке мчался, едва поспевая за царем, петербургский обер-комендант Брюс. Царская тройка остановилась около маленькой полковой церкви святой Троицы. Государь и его спутница вошли туда, был при-

зван священник, и недавняя мариенбургская пленница вышла из храма русской царицей...

Пока Петр находил нужным держать в тайне свой брак. Быть может, считал его исключительно своим личным делом, быть может, не был уверен в исходе своей борьбы с Карлом и боялся раздражать народ, но только при этой скромнейшей свадьбе никого, кроме Брюса, не было, и ее тайна была сохранена.

В то время у государя были уже дочери Екатерина, Анна и Елизавета, и, отъезжая на Украину, он обеспечил свое новое семейство имевшимися в его распоряжении четырнадцатью тысячами рублей — суммою огромною по тому времени.

Тяжелая борьба выпала на тот год. Либекер пробрался в верховья Невы и пытался переправиться у Пелловских порогов, близ нынешнего села Ивановского, на левый берег, чтобы разорить «строительные конторы» на Тосне. Но адмирал Синявин, скрывшийся в устье Тосны, встретил на невском просторе врага так, что шведская флотилия была рассеяна. Либекер попробовал напасть на Петербург со стороны залива, но был разбит наго-

лову у Копорья. Борьба за Петербург была закончена.

А вскоре на весь мир прогремел гром Полтавской победы. Судьба начала благоволить Петру. Победа при Головчине была последней для Карла XII, победа русских у деревни Лесной стала матерью «Полтавской виктории». Звезда Карла померкла после Полтавы и закатилась на берегу Буга, откуда он бежал, разбитый, уничтоженный и преследуемый теми самыми нарвскими беглецами, которых он так презирал с первой своей боевой встречи с ними.

В степях Украины, как говорил Петр, «фаэтонов конец восприяла» шведская, недавно непобедимая армия.

Вместе со шведами в России были надолго побеждены и все те, кто был против петровских преобразований.

## Собирающиеся тучи

Между тем после счастливого года надвигалась грозовая туча: Турция объявила войну России. Причины были ничтожные: поводом к войне явилось то, что русские, преследуя разбитых шведов, перешли границу Молдавии и нарушили нейтралитет.

Должно быть, нехорошо было на душе у царя Петра в эти месяцы. Он ясно видел, что предстоявшею турецкою войною он всецело обязан французскому королю Людовику IV, который желал бы во что бы то ни стало лишить Петра и Россию преобладающего влияния в северном союзе, направленном против Швеции. Карл, находившийся в Турции, не мог бы повлиять на султана так, чтобы тот решился на военные действия, когда Россия не давала повода к ним. Все это было известно царю, но он тщательно скрывал от всех свое беспокойство.

В этом году случилось несчастье, нагнав-

шее страх на многих в Петербурге: Нева стала, лед совершенно окреп, и вдруг в ночь с 10-го на 11 декабря без всякой причины, даже без ветра, река вскрылась, и льда не осталось и следов.

— Дурное знамение, — говорили в народе.

Вскрывшаяся Нева стала опять 29 декабря, но новый 1711 год, первый, встреченный царем на берегах Невы, прошел при общем унынии и смутном беспокойстве. Иллюминационные огни горели, казалось, более тускло, чем когда-либо. Транспаранты, зажженные на площадях, словно отражали своими надписями тревожное состояние духа царя. В предчувствии близких бед Петр с покорностью отдавал себя и свою судьбу в руки Провидения, и это особенно было заметно в сочиненных им надписях. На одном из транспарантов, на темном поле, светила звезда с надписью под нею: «Господи, покажи нам пути Твоя!» На другом транспаранте был изображен столб со скрещенными мечом и ключом и надписью: «Идеже правда, тамо и помощь Божия».

Еще больше уныния нагнали на петер-

буржцев отъезд царской семьи в Москву и предшествовавшая ему кончина молодого супруга принцессы Анны.

— Вот она, Нева-то! — толковали всюду. — Недаром среди зимы вскрылась.

— Если бы на этом и кончилось! — говорили наиболее суеверные. — А еще впереди что будет...

— На войне-то?

— А хотя бы и на войне... Турки — не шведы: кто одолеет — одному Богу известно...

Москва угрюмо и мрачно встретила нелюбимого царя... Больше десяти лет прошло с тех пор, как она была залита стрелецкой кровью, и здесь не были забыты ужасы массовых казней. Даже гром полтавской победы не заглушил плача и стона стрелецких вдов и сирот, а тут вдруг забили во всю мощь колокола кремлевских соборов, призывая народ молиться о даровании новых побед в борьбе с неверными.

— Ужо будут те победы, — втихомолку толковали москвичи. — Покажет те турецкий султан!

— Сам царь обнемчился, — шушукались в других кружках, — и все, кто с ним, тоже... Поганцами стали, только храмы Божии сквернят... Дымочадцы табачные...

— Только бы царевич скорее сил набирался да к престолу был годен! — высказывали третьи. — Он весь в блаженной памяти деда, даром на рожон лезть не будет и своего народа иноземцам на пагубу не отдаст...

Царевич Алексей Петрович был в это время в Берлине, усердно учился. Быстрый ум его легко схватывал и усваивал всякие «книжные премудрости», по своему времени он был прекрасно образован, но в то же время у него была душа русская, не озлобленная на свой народ. Он прекрасно понимал необходимость новшеств, но только без стрижки бород и багатов. Усердные у него были воспитатели: его тетка, царица Наталья Алексеевна, знаменитый педагог Никифор Вяземский, князь Долгорукий и иностранец барон Гюйзен.

Много страшного рассказала и другая тетка, царица Мария Алексеевна, единственная уцелевшая дочь царя Алексея от Милославской.

Около царевича все чаще и чаще стал появляться один из видных сподвижников царя Афанасий Иванович Кикин, президент адмиралтейств-коллегии, человек высокого ума и образования, сторонник полезных государственных реформ, но противник ненужной спешности в проведении их.

— Не спеши, — говаривал он царевичу. — Твое время еще придет.

И царевич таил свои думы и ждал, ждал с нетерпением, зная, что весь народ с восторгом встретит его, народного царя...

А в Москве на все лады повторяли слова Алексея Петровича:

— Из-за гнилого болота да православный люд губить?.. А Москва на что? Чем она хуже стала? Вот буду я, так у меня мой народ здоров будет... на питерское болото и глядеть не стану...

## XXVII

### «Матка Катеринушка»

Царь, мучимый предчувствиями, спешил все устроить на случай несчастья. Был учрежден правительствующий сенат, который должен был править вместо царя всеми государственными делами; Меншиков был оставлен губернатором всего Приневского края. Москве была сообщена и еще одна новость, которая как громом поразила всех. В день

1 марта была объявлена русскою царицею благочестивейшая супруга царя, государыня Екатерина Алексеевна... В Москве и раньше слыхали про нее, да только и не думали, чтобы она стала царицею... И про кукуевскую прелестницу то же самое говорили, да «в жалости» кончала она свои дни, а тут такое дело обозначилось!.. И сразу, словно снег на голову пал... Но и подумать о новой вести времени не было: прямо с напутственного молебствия царь умчался со своею «хозяйкою» из Москвы... Так и остались москвичи, рты разинув

от неожиданности да затылки почесывая.

Военное счастье как будто отвернулось от полтавского победителя. В Москве он перемогался, но в пути тяжкая болезнь заставила его лечь в постель. В Луцке Петр чувствовал себя так плохо, что «не чаял живота себе». Но богатырская натура превозмогла недуг. Он оправился немного, так, что мог продолжать свой путь дальше.

Ему шел только пятый десяток, но излишества детства, порочная юность, страсти в молодости и непомерная работа в начале зрелых лет надорвали здоровье. Царь все чаще и чаще начал прихварывать. Даже незначительные попойки вредно отзывались на нем. Его тянуло к мирной семейной жизни, в круг родимых детей, а тут, усталый, измученный, он должен был перекосить все труды походной жизни, постоянно волноваться за исход самых ничтожных стычек. Впереди же его ждало тяжелое горе, такой удар, какой не приходилось испытывать со дней нарвского погрома.

На Пруте, благодаря измене молдавского

господаря Кантемира, русская армия попала в ловушку, откуда ей не было выхода. С Петром было всего 37 тысяч пехоты и конницы, эту армию окружили 200 тысяч турок и татар. Русским оставалось или погибнуть, или сдать; царь Петр на Пруте был уже как бы в турецком плену...

У урочища Новое Станелище целый день была битва. Турки не прорвали русской обороны, но и русские не могли пробиться сквозь их толщу; к утру следующего дня вокруг попавшей в ловушку армии выросли вражеские укрепления, четыреста пушечных жерл глядели в упор.

Страшные мгновения испытывал Петр. В его палатке собрались генералы. Грозно смотрел на иностранцев царь. Ведь это генерал Ренне настоял на том, чтобы идти на Прут, и царь считал, что своим позором он обязан иностранцам. Теперь же отовсюду раздавались голоса о сдаче; царя убеждали, что сопротивление невозможно, гибель армии неизбежна, Петр метался: позор! Царь в плену! Как встрепенется ненавистная Москва! Царь в плену! Да ведь это — гибель всего, что

уже сделано. Все погибнет — все начинания, дела...

И вот в такие-то страшные мгновения в палатку вошла «свет Катеринушка». Она явилась без зова к своему хозяину, чувствовала, какая страшная тоска грызет его сердце, чувствовала и явилась утешить.

Но чем?

Одни говорили о гибели, другие — о позоре, который хуже гибели; царица же заговорила совсем о другом — о мире. Это было предложение, которого никто не делал ранее, и царь ухватился за него, как утопающий за соломинку.

— Погибнуть всегда успеем, — сказала царица, — хитрости в том нет, а попытка — не пытка, спрос — не беда! Не захочет визирь мириться — ну тогда пусть исполнится воля Божья.

Голос любимой женщины ободрил павшего духом царя; он уверовал, что еще не закатывается его звезда, что бережет его судьба для будущих великих дел.

Медлить было некогда...

## XXVIII

### Бриллианты царицы

Прошло немного времени, и к великому визирю был отправлен унтер-офицер Шепелев в сопровождении сына фельдмаршала Шереметьева — Михаила. Он вез визирю шкатулку с бриллиантами царицы. Екатерина отдала почти все, что у нее было с собою, лишь бы задобрить алчного турка. Петр мрачно наблюдал, как собирала жена свои драгоценности, и разгоралась в его сердце любовь к этой женщине. Неторопливая, величественная, она была настоящая царица, жертвующая всем ради спасения мужа, государя, троюна его.

Кругом грохотали турецкие пушки, их ядра разносили смерть, но Петр в эти мгновения уже верил, что попытка удастся, что добро и любовь спасут его от позора. Он не ошибся. Вдруг турецкие батареи смолкли, визирь пригласил русских уполномоченных для переговоров...

В турецкий лагерь были посланы барон

Петр Павлович Шафиров и сын фельдмаршала Михаил Шереметьев. Царь уже готов был уступить туркам Азов, Таганрог, все завоеванные области по Днепру и Бугу, мало того, он соглашался отдать шведам все отнятое у них, кроме Приневского края, взамен которого он соглашался уступить Псков. Но, к его великому удивлению, требования турок были более снисходительны, чем можно было ожидать. Видно, шведский король Карл XII, бежавший после Полтавы в Турцию, порядком надоел великому визирю.

— Я желал бы, чтобы черт взял его, — в сердцах сказал визирь Шафирову, — потому что вижу теперь, что он — только именем король, а ума в нем ничего нет. Буду стараться отпустить его куда-нибудь поскорее!

Шафиров, хитрый, вкрадчивый еврей, мигом оценил обстановку, и вот они уже друзья с визирем, «великим полководцем и мудрейшим человеком». И мышеловка, прихлопнувшая было русского царя, раскрылась пред ним. А тут еще царица отдала самое последнее, золото, визирь совсем подобрел, а Петр Алексеевич после этого стал еще более лю-

бить «сердешненькую Катеринушку».

Царь был выпущен. Вместе с армией. Напрасно Карл, сломя голову прискакавший из Бендер, и ласково, и с бранью уговаривал великого визиря изменить свое решение, уничтожить русских, тот остался непреклонен. Предварительные мирные переговоры были закончены, и величайшее военное несчастье завершилось не так уж и страшно.

Пережитое потрясение не прошло бесследно для государя, уже прибывшего к армии больным. Военные дела призывали его под Штральзунд, но он уже не мог отправиться туда. Нужно было лечиться, и Петр уехал на Карлсбадские воды; Екатерина, проводив его до границы, осталась в Торне.

Несколько отдохнув, царь снова стал метаться по стране — в делах, боях, походах, иначе было нельзя — заканчивалась его великая борьба со шведами. Редко видал он своего «сердешненького друга», зато самой горячей любовью дышали его письма к жене.

Екатерина Алексеевна умела поддерживать в своем царственном супруге такую лю-

бовь: никогда не корила его мимолетными изменами, но в то же время не упускала случая показать, что она ревнует его, дескать «старик-батюшка» позабыл ее, у него, видать, новые «портомой» завелись, так ее ли, «старую, утешаясь с ними, вспоминать?».

Петр, читая ее письма, светлел лицом, был весел, приветлив, милостив. Тут же садился писать ответные писульки. Он утешал свою «матку четверную», что она может быть спокойна: «иных государств портомой», когда есть своя, не привлекают его...

Это была идиллия...

А между тем судьба готовила ему новые испытания. Она как будто создавала для него призраки счастья только для того, чтобы еще сильнее, еще болезненнее разбить его сердце.

А пока были мир и покой. Душевной теплотой дышат письма Петра к Екатерине. Суровый деспот, человек с железным характером, Петр по отношению к Екатерине был неузнаваем. Он посылал «матке матерью по желтой земле да кольцо», а «маленькой» (дочери) — «полосатую матерью» с пожеланием носить на здоровье, либо покупал для нее

«часы новой моды, для пыли внутри стекла» да печатку, да «четверной лапушке втрайом с извинением, что более за скоростью достать не мог, ибо в Дрездене только один день был»; в другой день часы и печатки заменялись «устерсами» (устрицами), которые отправлялись в том числе, «сколько мог сыскать». Посылалась иногда и бутылочка венгенского с убедительнейшею просьбою: «Для Бога не печалиться, мне тем наведешь мнение, а мы про ваше здоровье пили».

Забывая первенца-сына и его воспитание, решительно изгладив из своей памяти злополучные образы своей первой супруги и первой метрессы, Петр как зеницу ока хранил «сердешненького друга». Вот что он пишет Екатерине в Торн: «Поезжай с батальоны — только для Бога бережно поезжай и от батальонов ни на сто сажень не отъезжай, ибо неприятелей округ зело много и непрестанно выходят из леса великим путем, а вам тех лесов миновать нельзя».

Счастлирое, святое время для Петра, время огромной, бескорыстной его любви...

## XXIX

### Конец прелестницы Кукуя

До далекого Петербурга дошла весть, которая заставила встрепнуться Александра Даниловича Меншикова: в Суздале заточенная царица сбросила с себя одежды инокини, оделась в прежние царские одеяния, и весь край с восторгом чувствует ее как русскую царицу.

«Эх, — загорелся Александр Данилович, — нельзя выпускать такую птичку! Кто знает, что там быть может? Сын-то ее уже подросток... Женится, свои чады у него пойдут, и тогда нам всем, новым людям, конец придет. Алексей-то никого не оставит!»

И думы, одна другой мрачнее, ползли в мозгу фаворита. Он чувствовал, что шатко его положение, что каждая ничтожная случайность может свалить в бездну — тут уж никто не заступится. Но думать — мало, нужно было действовать.

Обдумав все, Меншиков призвал к себе Кочета, и долго-долго они вели между собою та-

инственный разговор. Александр Данилович уверовал в этого человека еще после того, как тот помог ему под Шлиссельбургом избавиться от опасного соперника Кенигсека; судьба этих двух людей оказывалась тесно связанной в одно целое. За одной услугой последовали и другие. Кочет исполнял все с усердием, ни от чего не отказываясь, и Меншиков из всех своих холопов верил ему более, чем кому-либо другому.

После таинственного разговора Кочет живо собрался и уехал из Петербурга. Он держал путь в Москву, ехал скромненько, хотя на почтовых ямах предъявлял подорожные, из которых явствовало, что едет он по казенной надобности. Прибыв в Москву, Кочет ни к кому не заявился, а остановился на таком почтовом дворе, где мало знали его. Отдохнув, принялся выполнять данное ему поручение. Он бывал в кружалах, угощался и сам угощал, и не упускал случая поговорить на темы, больше всего интересовавшие его. А темой этих разговоров было житье-бытье Анки Монсовой, да вскользь еще Кочет ухитрялся прихватывать инокиню Елену, о которой в

Москве тоже немало было слухов.

— Живет Монсова на Немецкой слободе, — рассказывали Кочету. — Что ей делается. Пока при государе была, столько наворовала, что до смерти не прожить.

— Неужто так много? — удивлялся меншиковский холоп.

— Немало, — отвечали ему. — Грабила она, грабила, а на прожить не свое тратила. А потом, как замуж вышла-то, и от мужа досталась ей толика немалая.

— Что же она теперь-то делает?

— Что делает? Живет в свое удовольствие. Вон замуж собирается выходить.

— Да ну? — уже искренне изумлялся Кочет, дотоле ничего не слыхавший об этом. — За кого?

— Да есть тут пленный швед из-под Полтавы, так вот за него. Только он — парень обстоятельный, своего не упустит. Анка Монсова с нас, крещеных, шкуры драла, а теперь полтавский швед у нее животишки отбирает. И что только творится у нее на дворе! Все рвут: Балкша, Матрена, сестра ее, полоняник полтавский, братан младший, а она всех добрей к

шведу. Да что тут! Баба на возрасте, в соку, ну и понравится сатана пуще ясного сокола.

Кочет не пропустил мимо ушей этих разговоров. Он постарался навести все справки, и сплетни подтвердились. Анной Монс были забыты и московский царь, и бедняга Кейзерлинг. Сердце печальной вдовы снова было занято шведским капитаном фон Миллером, который безвыездно проживал в Немецкой слободе. Она и на самом деле решила выйти за него замуж, и это, пожалуй, было для нее выгоднее всего. Миллер, человек практичный, не брезговал ничем: брал за свою любовь с невесты и камзолами, и кувшинцами, и блюдами, и другими разными вещами.

Если бы около Анны Ивановны не было ее сестры Модесты-Матрены, так швед растащил бы все. В доме графини Кейзерлинг, бывшей Анны Монс, был ад. Жених тащил все, что можно было утащить, сестра и брат Виллим всеми силами восставали против этого. Когда-то разбитная Матрена Ивановна Балк поблекла, располнела и подурнела; из прежнего у нее сохранилась только ее ничем не насытимая алчность.

Виллим Иванович, молодой и очень красивый человек, благодаря ходатайству одного из царских любимцев Боура, был принят на царскую службу в русские войска и мечтал попасть ко двору, сделать там себе карьеру. Нельзя сказать, что он был жаден; нет, это была взбалмошная, поэтическая натура, способная на всякие увлечения, достаточно легкомысленная. Виллим Монс то и дело схватывался с возлюбленным сестры Миллером, который казался ему смешным, он дразнил его, доводя до белого каления, что было очень забавно.

Так день за днем проходило время в доме графини Кейзерлинг.

Кочет, узнав обо всем этом, послал Меншикову подробное письмо и довольно скоро получил ответ. Так случилось, что через несколько дней после этого Анна Ивановна Монс, графиня Кейзерлинг, умерла, не оставив после себя никаких прямых наследников. Тут же, около неостывшего трупа, произошла отвратительная сцена: ее брат Виллим чуть не разодрался из-за какой-то ветоши с ее женихом. Его тетка Матрена Ивановна Балк

влезла в драку, лишь вмешательство присланных для охраны имущества приставов развело ссорившихся. Так сошла со сцены женщина, сыгравшая немалую роль в истории России.

Казалось, что судьба развела семейство Монс с Петром навсегда, но рок-мститель избрал Виллима Монса исполнителем своих грозных предначертаний, и на его долю, в недалеком будущем блестящего камергера петровского двора, выпало еще немало страшного.

## Отверженная жена

Как только Кочет убедился, что все кончено в Немецкой слободе и что не встанет со смертного ложа та, которую так любил в дни молодости царь Петр и постоянно боялся Меншиков, сейчас же, никем не ведомый, скрылся из Москвы. Он держал путь к древнему Суздалю.

Еще только въезжая в пределы этого края, он уже понял, что здесь судьба созидает центр крупнейших событий.

Как молодое, только что заваренное пиво, бродил весь край. Каждый громко говорил о «благоверной государыне, царице Евдокии Федоровне», говорил с радостью, с величайшим упованием на будущее; говорил о наследнике престола так, как будто это уже был царствующий государь.

— Хоть бы скорее желанненький наш вертался из зарубежных земель, — слышал Кочет откровенные разговоры, — да за великое государево дело принимался! А то жить нельзя

стало от всех этих новшеств.

Те, кто видел Кочета — а появился он во многих местах в одежде простого человека, — радовались ему: он был новым лицом да наезжим с невского болота; одни спешили разузнать у него новости, другие сами были рады рассказать ему все происходящее.

— Уж так-то тяжела жизнь, — толковали ему в суздальских кружалах, куда он не преминул заявиться, — так-то тяжела стала, будто и в самом деле последние времена наступают!.. То и дело народ для войны набирают, а какая от того польза государству — никому неизвестно.

— Какая там польза! Ходит нынешний царь по зарубежным государствам да чужие дела устраивает, а о своем народе у него и думы нет.

— Что у него и за дума о своем народе, ежели весь он иноземцем сделался?!

Кочет пробовал было возразить, что не так страшны иноземцы, как думают о них в этой глуши, но никто и слушать его не хотел: весь край жил еще под впечатлением прежних ужасов и казней, о царе Петре говорили, как

об антихристе, и не было про него ни одного хорошего слова.

— Вот только бы скорей царевич вернулся, уж тогда-то мы поживем!

— Да что же он сделает-то? — допытывался Кочет.

— Как «что»? Святую попранную веру установит, иноземцев прогонит, царицу-мать во дворце посадит, и пойдет все, как при Тишайшем.

А инокия Елена, она же заточенная царица Евдокия Федоровна, которой в это время шел уже четвертый десяток, взбунтовалась, решив взять наконец от жизни свое, что было отнято у нее долгими годами монастырского заточения. Жить, любить хотела она. И прочь полетели монастырские одеяния, забыт был клубук. Заточенная царица блистала в роскошных царских одеждах. Все в монастыре склонялись пред нею: игуменья, сестры, священники, что доселе видели в ней неповинную мученицу, страдальицу, а тут увидали возвращавшуюся на свой престол государыню. Тысячами народ собирался в монастырь на

поклон царице. Суздальские власти были за нее. Местный архирей Досифей отдал приказ, чтоб на ектениях Евдокия Федоровна поминалась наравне со своим супругом, чтобы в храмах Божиих никогда не раздавалось имя «богопротивной немчинки Катерины». И все это сотворило то, что подрос и возмужал сын заточенной царицы, наследник престола царевич Алексей.

Мать не видала его с тех пор, как силой разлучили их, то есть с того времени, когда бедняжке-царевичу шел девятый год, но тем сильнее были чувства царицы Евдокии к сыну. И сюда, в эту глушь, приходили радостные для материнского сердца вести: царевич любит свою родимую, да так любит, что души в ней не чает. Не удалось злым разлучникам задушить в нем любовь к матери. Как они ни спаивали его с детства, к каким художествам ни приучали, а все-таки он остался любящим сыном. Изредка от него приходили в монастырь потайные грамотки. Читая их, заточенная царица чувствовала великую любовь к себе своего детища. Она, плача, делилась своими мыслями и надеждами с любимыми сест-

рами, показывала им сыновние грамотки, а те разносили эти вести по добрым людям, и в народе разрасталась и крепла молва: идет к престолу молодой царь, идет им на радость...

А тут еще другие дела случились...

## XXXI

### Майор Глебов

**В** суздальский край прибыл из Петербурга для закупки лошадей в царскую кавалерию майор Степан Глебов, лихой служака, забубенная головушка. В Полтавском бою он так рубился со шведами, что даже царю стало известно о его подвигах. Как и все воины, он был человек прямой, бескорыстный и увлекающийся. Сама судьба нанесла его на Суздаль, где томилась в заточении царица Евдокия. Он слышал жалостные толки о ее житье-бытье и сам быстро проникся жалостью к этой несчастной, захотел увидеть ее. Нетрудно было это: стоило только пойти в монастырь к церковной службе, где царица всегда бывала на богослужении, благодаря чему монастырский храм был постоянно переполнен бого-

мольцами.

«Эх, была не была, пойду! — как-то после попойки мелькнула мысль у лихого служаки. — Хоть глазком поглядеть, какая настоящая царица бывает. А то наши питерские все не то!».

Как ни был храбр Глебов на поле битвы, а здесь он поколебался. Дело-то, знать, темное, раз законная жена государя в келье сидит, хоть памятовал слова Писания: «Что Бог соединил, того человекам не разъединить».

Полный такими мыслями, он отправился в монастырский храм на богослужение. Странно затрепетало его сердце, когда он вошел под старинные монастырские своды. Он увидел такое множество народа, который стоял и на паперти, и на церковном дворе. Глебову удалось пробраться в первые ряды; он взглянул на клирос, и его сердце дрогнуло. Среднего роста, не первой молодости, но все еще красивая женщина стояла с гордо поднятой головой и смотрела поверх людей с каким-то, как показалось Глебову, особенным величием. Монашеское одеяние и клубок оттеняли глубину ее глаз, белизну лица.

— Царица! — прошептал потрясенный Глебов.

Он стоял окаменелый, словно вдруг его зачаровала невидимая сила, не спуская взора с царицы; мысли вихрем проносились в его голове, но что это были за мысли, он понять не мог — какие-то обрывки. Глебов сравнивал эту женщину и с Анной Монс, которую не раз видал в Немецкой слободе, и с новой царицей Екатериной Алексеевной, и обе они казались ему жалкими, бледными, ничтожными в сравнении с величественной русской красотою царицы Евдокии. Глебов смотрел и не мог оторвать от нее свой взор.

Вдруг словно что-то кольнуло его, и он вздрогнул. Должно быть, его пристальный взгляд подействовал на Евдокию Федоровну, заставил ее повернуться в сторону майора. Ее карие с поволокой очи скользнули по Глебову, и она сейчас же отвернулась: такие пристальные взоры были привычны ей. Но зато Глебов не привык, чтобы на него так вот, в упор глядели царицы; он почувствовал, что в его груди не хватает воздуха, голова кружится, что если он останется у клироса и еще раз

взглянет на него царица Евдокия, то он, отчаянный рубака, десятки раз выдавший пред собою смерть, потеряет сознание и тут же без чувств упадет вблизи нее.

Грубо расталкивая богомольцев, как безумный, кинулся он к выходу.

Шум, происшедший при этом, снова привлек внимание царицы. Она обернулась и шепотом спросила у ближайшей инокини:

— Кто это?

Ей сказали. «Красивый какой», — подумала Евдокия и тут же сердито нахмурилась. Молилась, клала поклоны, а свечи плыли перед глазами, и стояли перед ней безумные страстные его глаза. «Увидеть бы, — мелькнуло в голове, — расспросить, что там на белом свете делается...».

А Глебов, выскочив из храма, выбежал за монастырские ворота, где его ждал вестовой с лошадью. Не помня себя, майор вскочил в седло и умчался в город на постоялый двор, где он остановился.

Там он устроил попойку, созвав всех, с кем только познакомился. Сам Глебов пил, но не

хмелел. Мысли, как пчелы роившиеся в его мозгу, начали в конце концов принимать все более и более стройный образ.

«А что если счастья попытать? — подумал он отчаянно. — Что если вырвать благочестивейшую царицу отсель и в народ ее повести? Ведь любят ее все, за царицу считают, тысячи за ней пойдут, если она клич кликнет, головы не пожалеют. Да и можно ли жалеть себя за такую красоту? За одну улыбку, за взор милостивый, за слово ласковое я первый всю кровь отдал бы!».

Глебову подумалось, что через царицу-зачочницу он может и свое великое счастье составить. Только бы не упустить случая, благо он сам в руки дается!

«Сынок-то ее благочестивейший, — размышлял он, — не сегодня завтра царем будет, так нешто не отблагодарит он того, кто его мать облагодетельствовал? Вот царь Петр то и дело болеет, всякие недуги одолевают его, и не два века ему жить осталось; а преставится он — по-иному все будет. В силе и могуществе будет царица законная. Эх, Степа! Счастье — что птица. Лови его за хвост, если оно само те-

бе в руки дается!»

## XXXII

### Несчастный царевич

Так всю ночь до рассвета продумал майор, но не мог прийти ни к какому решению. Страшно было: как-никак, а, заступаясь за царицу-заточницу, приходилось против грозного царя идти, а у того на супротивников расправа короткая. Хоть скончался от старости князь Ромодановский, в крови купавшийся, да не осиротел без него Преображенский приказ в Москве: новоявленный граф Галушкин место князя-кесаря там занял, а в Питере в застенках Андрей Иванович Ушаков объявился, пред ним не только Ромодановский, но, пожалуй, сам Малюта Скуратов малый ребенок. И бедняга-майор колебался. Да видно, не миновать человеку того, что на роду написано...

Был уже белый день, в монастыре к ранней обедне отблаговестили. Вдруг на постоянный двор прибежала беличка-монастырка.

— Тут у вас, что ли, наезжий из Питера во-

ин пристал? — спросила она у хозяина.

— Тут, тут. А тебе, сестричка, надобен он?

— Слово к нему имею, с тем и послана.

— От кого?

— Да уж там от кого бы то ни было, — уклонилась монастырка от прямого ответа. — Ты, почтенный, чем расспрашивать, вызвал бы его лучше да сам ушел на малое время, потому что говорить я с ним должна потайно.

Глебов слышал этот разговор и поспешил сам выбежать. Увидел он — плутовски глядит на него монастырка, бесы в молодых глазах так и скачут. Смутился, а беличка, заметив это, сама первая с ним заговорила.

Словно ответом на ночные думы были ее слова.

— Пожаловал бы ты, милостивец, — сказала беличка, — после обеден в монастырек наш. Хочет тебя там видеть некая персона. Видишь ты, заметила она тебя вчера в церкви и смекнула, что ты здесь, в Суздале, наезжий. Ну, известно дело, хочется ей знать, как вы там с царем живете, здоров ли царевич молодой. Так подумала она, персона-то, что ты ей обо всем этом рассказать можешь, и пожела-

ла побеседовать с тобою. Не погордись нашим житьем-бытьем монастырским, пожалуй к нам, только как будто ненароком, будто ты святым мощам поклониться желаешь, а о том, что я призвала тебя, и во сне не обмолвливайся.

Как в забытьи слушал майор Глебов эти речи. Понял он, про какую персону говорит беличка, но сообразить не мог, что с ним такое: явь ли, или пьяный сон после попойки видит.

Однако пошел — в этот день пошел, на следующий, и скоро стал в скромной обители постоянным гостем.

Монастырские стены ненарушимо хранят все тайны. Что было там, в душевной келье, разве одно Всевидящее Око видело да ночи темные, когда заглядывали в окна; люди же пока молчали; но только в то самое время и сбросила с себя иноческие одежды заточенная царица и стала жить, как Бог велел жить людям, памятуя, что жизнь коротка, а на ее долю и так пришлось много испытаний.

Около этой поры и появился в Суздале Кочет. Он не был никому известен, действовал

пронырливо и осторожно, и для него не было сокровенных тайн. Без особенного труда распознал он всю подноготную, а раз ему было все известно, так и князь Александр Меншиков оказался осведомленным о всем, что творилось в Суздале.

Почва для интриг создавалась превосходная. Между царем и его уже женатым сыном начались большие нелады. Хоть царевич Алексей ни в чем особенно не противился отцу, но возмущал его своею отрешенностью. К тому времени царь остался почти один: Ромодановский умер, Шереметьев состарился, ни на какие государевы дела более не годился, старик Репнин оказался в опале, а на новых, выведенных им из ничтожества людей Петр не особенно полагался. Даже к Александру Даниловичу Меншикову он относился все холоднее и холоднее. Из родовитых бояр оставались Долгорукие и Голицыны, но Долгорукие были Рюриковичи, Голицыны — Гедиминовичи, а Петр был всего только внуком первого царя из Романовых, рода не особенно древнего. Династия не так прочна была на престоле, и Петр хотел, чтобы его единственный сын

был таким же, как он. Он старался приучать своего наследника к делам государевым, но из этого ничего не выходило.

Царевич Алексей Петрович почти насильно был женат на принцессе Софии Шарлотте Брауншвейгской. Да и она без любви вышла замуж за него. А тут еще как на грех вместе с нею приехала в Россию ее любимая подруга принцесса Юлиана Луиза Ост-Фридландская, сварливая старая дева, проводившая с молодой царевной почти все время и постоянно восстанавливавшая ее против нелюбимого мужа. В семье несчастного царевича были нелады, ссоры, и, чем дальше, тем неприязненнее относился он к своей молодой супруге.

— Женой мне чертовку навязали, — жаловался камердинеру, особенно когда возвращался хмельным с какой-нибудь попойки. — Как ни приду к ней, все сердится и не хочет со мной говорить. Эх, когда будет мне время без батюшки! Шепну я архиреям, архиреи — священникам, а те — прихожанам, и тогда-то мое время настанет! Все поверну по-иному, не дам народа в обиду!

Все чаще и чаще говорил во хмелю такие речи Алексей Петрович, придумал болезнь, чтобы поехать за границу в Карлсбад и там хоть немного отдохнуть от семейных передряг.

Как раз в его отсутствие супруге предстояло разрешиться от бремени. Царь Петр в это время тоже находился в отсутствии и пожелал, чтобы в такой важный момент, как рождение первого ребенка у наследника престола, около родильницы непременно были знатные особы из русских. Тут им не каприз руководил: по собственному опыту знал, что выдумывается людьми насчет рождения царских детей. Самого называли подмененным сыном немца Лефорта, и на этом приверженцы Софьи во время стрелецкого батьки Хованского раздули первый свой бунт. А тут вышло хуже: должна была родить немка, супруг отсутствовал. Сам царь и царица Екатерина Алексеевна быть при родах не могли, кругом же столько недругов, что досужие люди что угодно могли распустиť. Царь в почтительных выражениях уведомил сноху, что означает состоять при ней жену канцлера,

графиню Головкину, генеральшу Брюс и князь-игуменью Ржевскую. Не зная этих сообщений свекра, София Шарлотта страшно разобиделась на него; его распоряжение приняла как оскорбление. Но Петр оставался непреклонен.

Наследница престола родила девочку, названную в честь тетки Натальей. Более всех была довольна этим царица Екатерина Алексеевна. В ласковейших выражениях приветствовала она молодую мать. Петр, тоже ласково поздравляя сноху с рождением дочери, все-таки высказал, что «так как на этот раз она манкировала родить принца, то он надеется в следующий раз быть счастливее».

Принцесса как будто пожелала угодить свекру и в следующем году действительно произвела на свет внука, названного по деду Петром. Роды были вполне благополучны, но София Шарлотта была хрупким созданием, а ее на четвертый день после родов заставили встать, принимать поздравления. Принцесса переутомилась, простудилась и скоро умерла.

Алексей Петрович был неотлучно при ней, дни и ночи не отходил от страдальицы-жены и

трижды падал без чувств у ее ложа. Принцесса умерла, благословляя мужа, говорила, что только теперь она узнала, какой он добрый человек.

Петр, пораженный этим горем, тоже был около умирающей, но Екатерины не было. Царица как раз была на сносях и безвыходно сидела в своем летнем дворце.

Вскоре после похорон несчастной принцессы у Екатерины родился сын, которому также по отцу дали имя Петр. Это был уже третий сын Петра и Екатерины. Первые двое — Александр и Павел — умерли во младенчестве. Новорожденный же казался здоровым.

Откуда ни возьмись по Петербургу, а отсюда и по всей Руси понеслись слухи, что быть царевичу Алексею пострижену: неспособен он государством править, а теперь у царя сын родился, и неспособного можно устранить от престола. Слухи скоро дошли до царевича, а тут, как бы в подтверждение, и царь-отец гневное письмо прислал. Тучи повисли над головой царевича, а тут еще его старый учитель Никифор Вяземский и Александр Кикин,

которым Алексей Петрович верил более, чем самому себе, взапуски советовали ему отказаться от престола.

— Тебе покой будет, если ты от всего отстанешь, — нашептывал Кикин. — Я ведаю, что тебе за слабостью своею не снести всех тягот государственных, а в монастыре люди живут: ведь иноческий клубук к голове не гвоздями прибит, всегда сбросить можно.

— Волен Бог да корона, — твердил Вяземский.

Царевич сдался на эти уговоры и в ответ на отцовское письмо послал Петру просьбу о позволении уйти в монастырь.

## XXXIII

### В своей крови

Не ожидал этого грозный царь от своего наследника, рушились все его надежды: сын и в самом деле не помощником ему оказывался. Страшная буря разразилась во дворце. Петр всегда был невоздержан в гневе, а тут кричал, метался, грозил всеми карами, небесными и земными.

Все было мигом передано царевичу, который стал бояться за свою жизнь. А тут и близкие люди еще более страха нагнали.

— Я тебя у отца с плахи снял, — хвастался князь Василий Долгорукий, — только до которого времени — не знаю.

А Петр так разгневался на сына, что с ним случился припадок, один из сильнейших в его жизни. Сдерживая себя и перемогаясь, он пошел на именинный пир к старику генерал-адмиралу Апраксину, выпил там чересчур много и после этого слег, да так слег, что министры, секаторы ночи проводили в царских покоях, ожидая кончины государя. Вто-

рого декабря 1715 года царь был особенно плох, но, видно, еще не все свои дела совершил он для России, Петр оправился.

Пока он хворал, его перепуганному сыну говорили:

— Твой отец вовсе не болен, он исповедывался и причащался нарочно, а все — при творство... А что причащается он — так у него закон на свою статью.

Поправившийся Петр письменно увещевал сына отказаться от своей мысли, но царевич Алексей настаивал. С перепуга он тоже захворал. Отец пришел к нему, был с ним ласков, спрашивал его, желает ли он уходить в монастырь, и получил в ответ:

— Слаб я, государь, отпусти меня.

Петр не решился покончить с этим делом. Уезжая за границу, он сказал сыну:

— Одумайся, не спеши, а как решишь — напиши мне!

Царь уехал. Тяжко было на душе у царевича. Страх за жизнь все более и более овладевал им, а те, кого он считал своими друзьями, уговаривали его спасти себя от отцовского гнева, нашептывали, что отец хочет извести

его, дабы очистить путь к престолу своему новорожденному сыну. И царевич Алексей не выдержал.

А тут еще пришло грозное повеление от Петра явиться к нему в Данию, и он решил бежать. В начале октября 1716 года Алексей Петрович уже был на пути к границе. Под Либавой он встретил тетку, царевну Марью Алексеевну, всегда к нему расположенную, и заявил ей:

— Еду к батюшке!

— Доброе дело, что отца помнишь! — ответила царевна. — Куда тебе от отца уйти? Везде найдут. А вот забыл ты мать, не пишешь ей ничего...

— Я писать опасаюсь...

— А что? — возразила царевна. — Хотя бы тебе и пострадать, так и то ничего было бы: ведь за мать, не за кого иного.

Алексей Петрович заплакал.

— Жива ли матушка, или нет? — спросил он.

— Жива, — сказала Марья Алексеевна. — И ей самой, и иным было откровение, что отец твой возьмет ее к себе и дети будут. Говорят

святые люди: отец твой будет болен и поедет он в Троицкий монастырь на сергиеву память, и отец исцелится от болезни и возьмет царицу к себе, и великое в народе смятение утишится. Петербург же не устоит, быть ему пусту! Многие о сем говорят.

— А как же царица нынешняя? — спросил царевич.

— У нас, — сказала царевна, — осуждают твоего отца. Что он мясо ест в посты — это еще ничего; но пуще, что он твою мать покинул.

Алексей Петрович начал было хвалить свою мачеху Екатерину.

— Чего ты хвалишь-то? — укорила его царевна. — Ведь она — не родная тебе мать. Где ей тебе добра желать? У нее свой сын есть.

Тяжело подействовали эти разговоры на перепуганного царевича. К концу года он был уже в Вене, у императора австрийского, в надежде, что тот по-родственному окажет ему помощь. Но ошибочны были надежды. В Вене боялись царя Петра, и царевич Алексей должен был перебраться в Неаполь. Здесь его заставили дать согласие вернуться в Россию, и

31 января 1718 года он уже был в Москве.

Страшные дни настали для выдавшей всякие виды столицы. Преображенский приказ работал так, как не работал он с соковнинского заговора. В руках у Петра оказался донос и на его первую жену, и по этому делу произведен был кровавый розыск. Царица Евдокия собственноручно записала свое покаяние: «Я с ним, с Глебовым, блудно жила в то время, как он был у рекрутского набора».

Под пытку в приказе был и Степан Глебов, но не обмолвился ни на кого ни единым словом. Царевича судили, и судьи признали его достойным смерти. Приговор был представлен царю. Осужденный царевич был перевезен в Петербург, и 28 июня его не стало. Все те, кто держал его сторону, погибли или в застенках, или на плахе. Но страшнее всех была участь Глебова: он в Москве посажен был на кол. Современница этих ужасов, знатная иностранка, рассказывает, что во время казни к несчастному подошел огромного роста человек, весь закутанный в плащ, и начал издеваться над ним. Глебов собрал все свои силы и дважды плюнул ему в лицо.

## XXXIV

### При дворе преобразователя

**П**етров «Парадиз» разрастался с поразительной быстротой. Новому городу уже стало тесно на затопляемых, сырых берегах правого невского берега, и он потянулся по Кононову — самому большому острову левого берега Невы.

Лучшим украшением здесь был Летний сад, остаток шведского владычества в Приневском крае. Прежний его владелец, шведский майор Конау, усердно заботился об этом уголке, который был охотничьим парком при его мызе.

Царю Петру понравилось обилие росших здесь лип, и он избрал Летний сад местом своего постоянного жительства в новом городе. Старый тесный домик на Березовом острове, у крепости, где жил сперва Петр, был им оставлен — сюда царь заходил, только когда принимал наезжих шкиперов; взамен же этого обиталища появился довольно большой просторный каменный дом на берегу Фонтан-

ной с видом на Неву. Здесь Петр жил, и здесь помещался его двор.

Никогда не было роскоши в личной жизни этого могучего человека. К последним годам жизни он, и прежде-то расчетливый, стал более чем скуповат и экономил на всем, лишь время от времени устраивая праздники, в которых то венчали шутов с шутихами, то организовывали шутовские процессии.

В последнее десятилетие своей жизни Петр порядочно огрубел и оставался верен только прежним вечерним попойкам да заведенным им ассамблеям, которые устраивались у него лишь изредка, большею же частью происходили у кого-либо из приближенных. Свою скупость Петр любил подчеркивать при каждом удобном случае.

— Я ведь — царь, — говаривал он, — государство обкрадывать мне не приходится, а потому и живу я на то, что у меня есть. Вот государские воры, так те роскошествуют.

После казни старшего сына Петр становился страшен даже для близких людей. В нем развилась подозрительность, он видел во всем злоумышление, часто даже там, где ни-

чего не было.

Тайная канцелярия — это страшное учреждение, явившееся тем же, чем был Преображенский приказ в Москве — делала свое ужасное дело. По всякому поводу — из-за неосторожного взгляда, из-за пьяных речей — хватали людей и тащили их в мрачные застенки, где три царских инквизитора — Петр Андреевич Толстой, Андрей Иванович Ушаков и Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев, страшная «кнутобойная троица», — действовали, не зная устали. Батоги, кнутобойство, дыба в застенках никогда не оставались без дела, заплечные мастера не сидели без работы; на обычном месте казней — у Троицкого собора на Березовом острове по целым месяцам стояли эшафоты.

Но так уж бывает, что люди редко видят то, что находится близко от них, и, завершая важные розыскные дела, царь не видал того, что делается в его семье.

Крепко-накрепко залегло в сердце царя воспоминание о пережитых им счастливых днях с прелестницей Кукуя Анной Монс. Годы

прошли, а память осталась.

И жил при петербургском дворе Виллим Иванович Монс, брат той Анхен, которую Петр любил на заре своей жизни. Красавец, щеголь, прекрасный музыкант, талантливый поэт, Монс являлся украшением царского двора и выгодно выделялся из среды грубых, пьяных царских денщиков. Там, где появлялся Монс, вспыхивало веселье, раздавались смех, шутки и звуки мандолины, с которой почти не расставался Виллим Иванович. Сам он жил без всякой заботы, безалаберно, легкомысленно; богачом он никогда не был, а деньги у него частенько бывали большие.

При нем неотступно находилась и его старшая сестра Матрена Ивановна Балк, которая вела его хозяйство в Петербурге.

Кроме Виллима Ивановича памятью счастливых дней юности была одна из «верхних девок», т. е. фрейлин его супруги. Незатейлив был ближний двор русской царицы. При нем не было родовитых женщин и девушек; самую родовитую среди них была «князь-игуменья» Евдокия Чернышева, разбитная пожилая бой-баба, которую иногда одаривал своим

мимолетным расположением «протодьякон всепьянейшего собора» царь Петр Алексеевич.

Наиболее видной из «девок вверху» была Мария Даниловна Гамильтон, та самая сиротка, которая своими детским ручками поднесла царю Петру букет на празднике, устроенном тогда прелестницей Кукуя. Мария стала роскошной красивой женщиной, которую Петр увидел однажды и сразу узнал.

— А я тебя помню! — сказал радостно. — Я тебя сразу узнал. Вот ты какая, Машенька!

И пропала Машенька...

«Сильное и здоровое тело Петра Алексеевича, что бы он там ни говорил о своей старости, — рассказывает историк, — любило, хотя и временные, но частые «отмены» супружеской верности. Петр вскоре заметил красавицу Гамильтон и сделал для нее отмену, вероятно усмотря в ней такие дарования, на которые не мог не воззреть с вожделением».

## Постоянно в страхе

Понятно, что такое милостивое внимание привлекло к Марии Даниловне, как называли Гамильтон при царском дворе, всеобщее внимание. За ней стали ухаживать, ей стали льстить, примечая в то же время, что Екатерина Алексеевна не выказывает по отношению к своей фрейлине никаких признаков ревности. Впрочем, и до Гамильтон это бывало нередко, и такие случаи никого особенно не удивляли.

Но при Петре уже много лет был человек, который более ревниво, чем влюбленная женщина, следил за каждым увлечением царя. Это, конечно же, Александр Данилович Меншиков, как и прежде, страшившийся за свое положение. Кочет был при нем неотступно, он в эти годы стал доверенным лицом Меншикова и его правой рукой.

Как-то князь Ижорский призвал его к себе для тайной беседы. Кочет уже знал, что это означает: могучему князю снова понадоби-

лась верная служба его холопа, и в таком деле, какое никому иному поручить было нельзя.

— Что повелеть изволишь, светлейший? — спросил Кочет, явясь на зов господина.

Александр Данилович испытующе посмотрел на него, а затем воскликнул:

— Чего спрашиваешь-то? По пустякам звать тебя не стал бы.

— Ведомо это мне, ваша светлость, — льстиво ответил Кочет, — милуешь ты меня не в пример.

— Милую потому, что твою службу помню. Вот и теперь она мне сильно понадобилась...

— Приказать изволь; приказа не исполню, только ежели умру.

— Так вот что! Есть у царицы наверху девушка Марья Гамильтова, для ее величества услуг приставленная... Видал, поди, ее?

— Как же, светлейший, приходилось. Через твою честь в Летний сад доступ имею, так и видывал эту Гамильтову.

— Так вот сдается мне, что блудно она жить начала, и хочу я до истины дознаться. Плохо дело, ежели такая нечисть при высо-

чайшем дворе заведется.

Кочет нагло ухмыльнулся.

— Ты чего? — вспыхнул Александр Данилович.

— Прости, милостивец! Вспомнилось мне, что немало всякой там этакой-то нечисти. На Москве по этой части было дело худое, а в Питере куда всякого худа больше...

— Как ты смеешь? — в раздражении затопал на него ногами Александр Данилович. — Не твоего ума дело!

— Вестимо, не моего, — быстро поправился стрелец. — Рад послужить тебе, приказывай только! Видывал я эту Гамильтову! Частенько она с Монсовым по саду гуляет...

— Как? Разве она с ним путается?

— Ну, нет, — опять ухмыльнулся Кочет, — у Гамильтовой с Монсом никакой любви нет. Да что тебе, ваша светлость, говорить-то? Поди, сам ты знаешь, кто из них по какому зверю охотится.

В этих наглых словах скрывался такой намек, что даже сам Александр Данилович смутился.

— Ну-ну, что я знаю, то при мне и остается,

а ты вот разузнай-ка все подробно. Машка Гамильтова чего-то хворает, сидит в своих комнатах запершись и даже на ассамблеи не показывается; это неспроста...

— Ладно, узнаю, — согласился Кочет, — раз тебе тогда с польским графом послужил и теперь послужу, а за наградой ты не постоишь...

— Не бойся, доволен будешь! — сказал Меншиков и махнул Кочету рукой, приказывая ему этим удалиться.

Оставшись один, Александр Данилович на мгновение дал волю своим чувствам. Каким могуществом он ни пользовался, но в то же время постоянно чувствовал себя одиноким и должен был опасаться всего.

— Да, да, — тихо проговорил он, рассуждая сам с собой, — вот так жизнь! У зайца на мене больше покоя, чем у меня. Один я, один, а следи за всем! Враги везде и всюду, и все подкапываются, все стараются свалить, и чудо, что это еще не удается им. Теперь с двух сторон на меня гроза надвигается... Большую силу забрал Монсов! Умеет немчин ждать, и ежели только теперь не свалить его, так потом от него не отделаешься — так вот на шею

и сядет. Да хорошо, если только сядет! Ведь он не задумается и голову от шеи отделит... Ох, немчины-немчины! Не так уж много осталось, а только, где они заведутся, там нам, русским, плохо... Вот и Машка эта самая тоже своего добивается, и тоже от нее баламут может выйти. Только не дам я им укрепиться, потягаемся! Сперва Машку нужно убрать, а потом и с Монсом легко справиться будет... Я не я буду, если и на этот раз по-моему не выйдет. Берегитесь, вы! Вздумали на моей дороге встать, так или вам несдобровать, или мне.

Итак, над головой Марии Даниловны Гамильтон собиралась гроза. Однако она, упоенная своей близостью к царю, вовсе не замечала тех облачков, из которых скоро составила грозная туча.

## На первых следах

Кочет за годы, проведенные в близости к светлейшему князю Меншикову, научился интриговать, да так, что, пожалуй, и самому ловкому придворному не угнаться было бы за ним. У Кочета было большое знакомство с челядью придворных, и все дворцовые сплетни были известны ему. Узнать то, что поручил ему Александр Данилович, было не особенно трудно.

Как раз в это время в Петербурге шли потешные торжества по случаю спуска новых кораблей. Народ допускали всюду, и Кочет затесался в Летний сад, пробираясь к тому дому, где жили придворные фрейлины. Он вспомнил, что одна из прислужниц Марьи Даниловны, Варвара Дмитриева, когда-то относилась к нему снисходительно, и теперь вздумал повидать ее.

Как говорится, на ловца и зверь бежит. Едва войдя в сад, Кочет столкнулся с Варваркой, опрометью бежавшей к выходу.

— Варварушка, сударушка, — преградил он дорогу девушке, — куда в такую рань собралась да еще спешишь?

Варвара на мгновение остановилась и сейчас же узнала Кочета.

— А, мощи явленные! — воскликнула она не то шутливо, не то сердито. — Пусти!.. Не до тебя мне!..

— Это как же не до меня? Что возгордилась так? Я здесь без дела брожу, хочешь, с тобой вместе пойду? Теперь на наших улицах всякого народа много. Далеко ли идешь?

— К лекарю за снадобьем.

Кочет уже шел рядом с Варварой, решив не отставать от нее, пока та не скажет ему чего-нибудь такого, что могло его навести на более ясные следы.

— За снадобьем? — стал выспрашивать он. — Не ты ли, лапушка, заболела? Этого как будто и совсем незаметно.

— Не во мне дело, — отозвалась Варвара, — сама наша хворает.

— Это кто? Уж не Марья ли Даниловна?

— Она, она! — было ответом. — Сколько времени никуда не выходит, даже вот есть ей

ношу из придворной кухни... так она разнедужилась.

Так говорила Варвара, а между тем на ее лице играла веселая улыбка.

— Чем больна-то сама? — насторожился Кочет. — Кажись, она у вас крепкая.

— Все мы до поры до времени крепки, — ответила Варвара. — Да отстань ты! Чего привязался? Уж не Богу ли вздумал за Марью молиться?

— Стой, Варварка! — раздался грубый мужской голос.

Увлечшись своим разговором, Варвара и Кочет не заметили, как они почти натолкнулись на высокого красивого молодого офицера-гвардейца, в котором Кочет сейчас же узнал одного из царских денщиков, Ивана Михайловича Орлова.

— Куда? — спросил Орлов у Варвары. — Этак только за попом да к лекарю бегают, как ты бежишь!

Варвара, увидев Орлова, заметно смутилась. Кочет, следивший за ее лицом, видел, как затряслись ее губы и побледнели щеки.

«Ого, — начал смеяться он, — тут что-то да

есть. Иначе чего ради Варваре Ивана Михайловича бояться? Хорошо, что я вздумал сегодня в Летний сад забраться!»

Он, скорчив смиренную физиономию, отошел несколько в сторону, но так, что каждое слово разговора между Варварой и Орловым доносилось до его слуха.

— Не держи меня ты, батюшка Иван Михайлович, — жалобно заговорила Варвара, — разнедужилась Марья Даниловна... меня к лекарю за снадобьем послала.

Какая-то тень легла на лицо молодого денщика.

— Что-то она больно часто хворает, — подозрительно сказал он, — и подолгу как! Чего это царица только смотрит? Жалованье платит да своих ближних девок содержит, а они только и знают, что хворать. Ну, что ж поделать, держать я тебя не буду! Отбей за меня поклон Марье Даниловне, скажи, что соскучился я по ней, повидать хотелось бы.

После этого Орлов как-то странно улыбнулся и, перестав обращать внимание на Варвару, пошел ко входу в сад.

— Ну, — с облегчением вздохнула та, —

пронесло грозу!

— А что, — сейчас же очутился около нее Кочет, — испугалась?

— Отстань! — махнула рукой Варвара, — И так из-за вас обоих опозднилась! — и она пустилась было вперед.

Однако Кочет схватил ее за руку и воскликнул:

— Слушай, Варвара! Кто о ком, а я по тебе соскучился. Как бы нам с тобой о разных делах поговорить?

— О каких еще там?

— Мало ли там о каких? Найдется! Как справишь ты свое дело, приходи-ка ты к почтовому двору; там гулянье будет, я сластей тебе куплю. Придешь?

— Кто знает? Может, и приду.

— Зачем кому знать? Ты сама скажи!.. Не пожалеешь, если придешь. Есть у меня тут для тебя новость одна.

— Ладно, ладно, — согласилась Варвара, — приду. Сейчас только не держи.

— Да уж иди, Бог с тобой! Вижу, что торопишься.

Они разошлись. Кочет долго еще смотрел

вслед своей собеседнице и покачивал головой. Для него было ясно, что Варвара Дмитриевна знает о своей госпоже какую-то тайну, которая имеет какое-то отношение к поручению, возложенному на него его господином.

— Эким ведь словом стрекоза обмолвилась, — сказал он сам себе, — «все мы до поры до времени крепки!»! «Мы» — то ведь про баб сказано, а уж кому-кому не известно, какой болезнью чаще всего бабы да девки болеют... Нет ли и тут чего-нибудь такого? Ведь про Марью-то Даниловну уже давно слух идет, что она двух ребят, не доносив, сбросила. Кто там знает? Может, и третий завелся. Ишь ведь царский денщик зверем смотрел, как о здоровье спрашивал.

Сам того не зная, Кочет был очень близок к истине.

## Муки ревнивца

Недолго продолжалось царское увлечение красивой фрейлиной. Много таких увлечений было у царя Петра. Кроме Анны Монс, похаживал государь к Матрене Балк, Авдотье Чернышевой, Анне Крамер, княгине Кантемир. Но все эти связи не имели серьезного значения: удовлетворенная страсть не обращалась в привычку, и только одна любовь к Екатерине Алексеевне, всеми средствами поддерживаемая Меншиковым, стала таковою.

Когда Марья Даниловна Гамильтон заметила, что царь Петр стал охладевать к ней, она с чисто женским лукавством вздумала снова разжечь чувство в царе, возбуждив в его сердце ревность, и обратила внимание на денщика Петра Ивана Михайловича Орлова.

Это была игра с огнем, но Марья Даниловна и чувствовала, и знала, что ее молодость быстро уходит, красота исчезает, а стало быть, нужно во что бы то ни стало пользоваться последним временем и, рискуя голо-

вой, создать себе более прочное положение.

Иван Михайлович Орлов был одним из самых молодых денщиков царя Петра. Он был взят ко двору из дворянских недорослей, очень недолго побыл за границей и еще не совсем освободился от своей деревенской наивности. Поэтому такой опытной придворной красавице, как Марья Даниловна, совсем нетрудно было вскружить ему голову. Однако она не рассчитала только того, что такие молодые люди, как Орлов, как бы ни были охвачены страстью, поддаются только мимолетному впечатлению и прочного чувства у них нет и в помине.

Когда Орлов услышал, что его возлюбленная больна, то целый рой подозрений охватил его. Он знал, что такое эти придворные болезни и прежде всего заподозрил измену.

«Ой, — думал он, — неладно что-то! Из чего-то Марья вывертывается, и я не я буду, если не дознаюсь всего».

Бешенство всецело охватило его, и он стал раздумывать, как бы ему немедленно увидаться с Гамильтон.

Если человек чего-нибудь серьезно жела-

ет, то он скоро находит возможность исполнить желаемое. Орлов вспомнил, что у него в кармане лежит крошечная записка — приглашение на ассамблею, и решил воспользоваться ею, чтобы проникнуть в покои любимой женщины.

Его свободно допустили на ту половину, которую занимали фрейлины государыни, и только здесь он встретил первое препятствие: приняла его не Марья Даниловна, а Анна Крамер — ее казначейша.

Крамер была хитрая женщина; внимание государя, хотя и совершенно случайное и мимолетное, заставило ее возомнить о себе очень много, и она занялась придворными интригами гораздо более, чем ее госпожа.

Увидев Орлова, она сперва вскрикнула как бы от испуга, потом сделала вид, что оправилась от своего смущения.

— Мне бы Марью Даниловну повидать, — довольно неуверенно сказал Иван Михайлович, — хотя бы всего только на одну малую минуту!

— Вот редкий гость! — воскликнула рижанка, не обращая внимания на просьбу го-

стя. — Вас совсем не видно у нас.

— Да я все царевыми делами занят, — буркнул Орлов. — Так как же, Аннушка, допустишь ты меня до Марьи Даниловны?

— Ой-ой, не смею. Совсем больна голубушка моя, такая ее немочь одолела, что никого она видеть не может. Лежит в постели слабешенькой, хоть за попом посылай.

— Уж будто и за попом? — усмехнулся Иван Михайлович, — что-то не слышно, чтобы она так-то больна была.

Вдруг он насторожился. До его чуткого уха донесся звук, который он менее всего мог услышать здесь: ему показалось, что он слышит слабый плач младенца. Лицо молодого человека побледнело.

— Что же это такое? — растерянно пролепетал он.

— А что? — воскликнула Крамер, бледнея сама.

— Младенец пищит.

Анна Крамер принужденно рассмеялась.

— Полно тебе, господин денщик! — воскликнула она, но ее голос заметно дрожал. — Младенец? Откуда ему тут взяться? Кошка

там окотилась, так, может, ты прослышал, как котята пищат... А то младенец!.. Не след бы тебе такой поклеп на всех нас взводить. Вот возьму да расскажу фрейлинам, так они на тебя великому государю нажалуются; будешь тогда слышать то, чего нет!

Теперь настал черед испугаться и Орлову: если такая жалоба будет на него, то царь не замедлит приказать произвести расследование в Тайной канцелярии, и тогда ему не миновать беспощадного розыска.

— Не знаю, Аннушка, — пробормотал он, — может быть, и показалось мне... Кто там ведает? Своих детей-то у меня еще не было, так немудрено, если и ослышался.

— Вот то-то и дело! — уже раздраженно напустилась на него Анна Крамер. — Все-то вы так: чуть что — сейчас поклеп вам возвести ничего не стоит, а потом и в кусты — дескать, знать ничего не знаю и ведать не ведаю. Эй, вы, мужская братия! Уходите, господин денщик, от греха скорей; кажись, ты не шумный, и понятия не потерял.

Смущенному Орлову не оставалось ничего более делать, как уйти, далее и не увидавши

своей возлюбленной.

«Эх, — думал он, выходя из домика фрейлины Гамильтон, — совсем не чистое тут дело. Ишь ты, как Анна засуматошилась! Но пусть пройдет малое время — и я все досконально разузнаю; а теперь у меня другое цареве дело есть».

Он нащупал у себя в кармане сложенный вчетверо лист бумаги, крупно исписанный затейливым тогдашним почерком.

Государевы денщики того времени поступали ко двору из дворян большею частью не знатного происхождения. На их обязанности между прочим лежало не только дежурство при царе, но и разведка по царскому поручению о различных поступках должностных лиц; кроме того им нередко приходилось исполнять даже обязанности палачей, в особенности в тех случаях, когда казнь не была публичною.

Иван Михайлович как раз в описываемое время исполнял одно из таких царских поручений, и в его руках был следственный донос о тайном сходбище, что по тому времени считалось весьма тяжким преступлением. Он

должен был передать этот донос самому царю, но случилось так, что государя он в этот день не видел и следственное дело осталось у него в кармане.

## XXXVIII

### Страшное дело

**А** в спальне царицыной камер-фрейлины Марии Даниловны Гамильтон разыгрывалась в это время страшная сцена. Слух не обманул Ивана Михайловича: он действительно слышал крик младенца. Этот ребенок был рожден в эти мгновенья камер-фрейлиной Марьей Даниловной, стойко, без стонов перенесшей родовые муки и с ужасом услышавшей первый крик новорожденного. Она услышала также доносившийся из передних комнат густой бас Ивана Михайловича Орлова, и в ее душе вдруг вспыхнул такой ужас, что вряд ли она и сама понимала, что делала. Это был животный ужас, не допускающий никаких рассуждений, охватывающий все существо человека, заставляющий его поступать как в бреду, не думая о последствиях, как бы

ужасны они ни были.

Когда не на шутку встревоженная Анна Крамер, кое-как выпроводив Орлова, вбежала в спальню Гамильтон, то в ужасе увидала, что мать держит в руках младенца, зажимая ему рукою нос и рот. Около Марьи Даниловны была уже ее третья прислужница, Екатерина Семенова.

— Марья Даниловна! — в ужасе воскликнула Анна. — Что ты делаешь?!

Она кинулась к фрейлине, стараясь поймать ее руки. Но было уже поздно: новорожденный был без дыхания.

— Марья Даниловна, Марья Даниловна! — лепетали в страшном испуге обе служанки Гамильтон.

— Молчите, — хрипло вырвалось из уст несчастной матери. — Так нужно было; что сделано, того не воротишь. — Она положила мертвого младенца на кресло. Ее лицо было бледно и покрыто потом, волосы растрепались, взор дико блуждал. — Возьми, Катерина, — сказала она Семеновой, — отнеси куда-нибудь и брось!

— Марья Даниловна, да разве осмелюсь

я? — залепетала та. — Ведь что мне за это может быть!..

— А! а! — хрипло вырвалось из груди несчастной женщины, — я вас, как нищих, всем взыскала, а вы мне в такой час послужить не можете?..

Тут силы оставили ее. Пережитое было так ужасно и физически, и духовно, что несчастная без чувств упала на кровать.

— Ахти, горе какое! — запричитала Семёнова. — Что же делать-то нам теперь?

Анна Крамер более владела собой и более отдавала себе отчет в последствиях.

— Вот что, Катерина, — торжественно сказала она, — Марья Даниловна всегда была добра к нам, так неужто мы ее теперь бросим и из страшной беды не вызволим?

— Да что же делать-то, что делать-то? — спрашивала обезумевшая от страха женщина.

— Прежде всего нужно убрать младенца, — покосилась Анна на маленький трупик.

— А застенок-то?

— Брось о нем думать! Если дознаются, то все равно виски и кнута нам не миновать.

Ведь знали мы, что Марья Даниловна в положении, знали и не донесли куда нужно, так вот и рассуди сама, что нам за это быть должно. А тут, быть может, и пронесет грозу.

Катерина молчала. Она соображала, что Анна, может быть, и права.

А Крамер продолжала:

— Возьми-ка ты кулечек, в коем с кухни сухую провизию носим, да положи в него мертвенького и вынеси его в свое жилье (Семенова, как замужняя, жила отдельно), а от туда уже сама знаешь, куда бросить: и Фонтанная, и Нева не за горами.

— А Варвара-то? — вспомнила Катерина.

— А что она? Разве она здесь была, разве видела она что-либо? Нет, нет! Ну, так ей ничего и неведомо. Делай, как я говорю, а я около Марьи Даниловны похожу; нельзя же ее без помощи оставить... Несчастливая страдалница! — тихо прошептала она, подойдя к Гамильтон, все еще находившейся без сознания, и чуть слышно прикоснулась губами ко лбу Марьи Даниловны.

Та слегка застонала. Анна отпрянула от нее, испугавшись, что этот стон будет услы-

шан за стенами, оглянулась. Семеновой уже в покое не было, не было и трупика несчастного младенца.

— Аннушка, Аннушка, — услышала Крамер болезненный шепот Марьи Даниловны. — Поди ко мне! Не бросайте вы меня!.. Ох, тяжело мне, тяжело... Ведь своими руками, своими!.. Что мне будет на том свете?

Анна Крамер была лютеранка и к «тому свету» относилась сравнительно равнодушно.

— Что там-то будет — этого мы не знаем, — тихо проговорила она, — теперь нам об этом свете заботиться нужно. Ни я, ни Катерина не выдадим тебя, а Варвара ничего не знает.

— Спасибо, спасибо вам! — тихо пролепетала больная. — Ничего бы не было, если бы Ваня не пришел... с испуга я себя не помнила.

— Так что же, Марья Даниловна, — совсем к ее уху склонилась Анна Крамер, — да разве денщик Орлов выдал бы тебя? Ведь это его дитя-то было...

— Нет, нет, не Ваня — отец, — раздался тихий лепет, и Анна скорее угадала, чем услышала то имя, которое произнесла Марья Даниловна Гамильтон.

Анна смотрела на нее, и слезы струились по ее щекам. Марья Даниловна всех-то несчастнее!

На другой день с утра на «царицыном верху», т. е. в помещении фрейлин, а отсюда с быстротою молнии и по всей придворной челяди пронеслась весть о том, что в Летнем саду у фонтана нашли мертвого подкидыша.

Такие случаи были нередки. Несчастные матери бросали прижитых вне брака детей в таком количестве, что заботы о них должно было принять на себя духовенство. Еще патриарх Иов — может быть, по настояниям царицы-правительницы Софьи устроил нечто подобное воспитательным домам.

Царь Петр относился довольно снисходительно к такого рода преступлениям, но в конце концов был вынужден принять против них меры: ведь более всего страдали не виновные родители, а ни в чем не повинные дети. Для этих «зазорных людей» царь Петр, после смерти своей любимой сестры Наталии, основал большой госпиталь, в котором старухи должны были принимать младенцев, даже

не спрашивая имени матери...

Стремление к «непотребному житию» и «ззорному деторождению» не было подавлено суровым законом; но грешные матери, зная, что ждет их детей в жизни, предпочитали не оставлять их живыми и убивали тотчас же после появления на свет. Таким образом, преступление Марии Гамильтон вовсе не было исключительным, хотя и существовал закон, по которому виновные в детоубийстве подлежали смертной казни.

Вероятно, находка трупа в царском Летнем саду так и прошла бы незамеченной, но, видимо, судьба заранее преопределила несчастной Гамильтон ее участь.

## XXXIX

### Ассамблея

На другой день, пред сумерками, к почтовому двору у Невской пристани стали съезжаться и сходиться разного звания особы «без чинов» на царскую ассамблею.

Царь охотно устраивал такие праздники — собственно говоря, даже не праздники, а просто вечеринки, обыкновенно заканчивавшиеся гомерическими попойками. Личной жизни у Петра было немного, и на таких ассамблеях он несколько позабывал и придворных дураков, и доносчиков, и палачей.

Почтовый двор был его излюбленным местом, помещение здесь было довольно просторное. Собственно говоря, это вовсе не была почтовая станция, а маленький царский дворец, хотя бы уже потому, что государь любил бывать и отдыхать здесь. Почтовый двор был поставлен приблизительно на месте нынешнего Мраморного дворца; около него были обширные бассейны. В одну сторону от него раскидывалась начинавшая застраиваться Луго-

вая, ныне Милльонная, улица, доходившая до дома Апраксина, на месте которого ныне находится Зимний дворец, а с другой стороны раскидывался Царицын луг и за ним царский Летний сад.

Из окон почтового двора открывался чудный вид на острова правого берега; влево был виден Лосиный остров с Васильевой батареей, на стрелке прямо лежал Березовый остров (ныне Петербургская Сторона) с нынешней игрушечной, но в то время могущественной крепостью; вправо видны были еще не застроенные берега Невки, с кавалерийским лагерем на том месте, где ныне находится военно-клинический госпиталь. Все это было покрыто густой зеленью; из-за нее почти не было видно небольших одноэтажных домиков, но зато на ее фоне рельефно выделялись золоченые главы Троицкого собора.

Царь Петр, выбрав минуту отдыха, любил сидеть в прохладных комнатах почтового двора, покуривая крепкий кнастер, и любоваться открывавшимся из окон видом. Отсюда он видел большую пристань, от которой была переправа на противоположный берег,

здесь же собрались и все приезжие, даже и не подозревавшие, что сам царь смотрит на них из окон. В этом-то доме, а не в Летнем дворце, и была устроена царская ассамблея.

Государь, занятый какими-то неотложными делами (он в ту пору только что вернулся из Либавы), запоздал и прибыл одним из последних. Как всегда было принято, собравшиеся приветствовали его так же, как приветствовали бы самого заурядного гостя.

Остановившись на мгновение у порога, царь окинул орлиным взором открывавшуюся перед ним картину веселья и, видимо, остался доволен. Все вокруг него было именно так, как он желал. В невысоких комнатах носились облака едкого табачного дыма и чувствовался запах хмеля; несколько музыкантов играли на рогах что-то веселое, несколько пар придворных щеголей и щеголих неуклюже кружились в модном танце. Издали доносились возбужденные голоса: во внутренних комнатах собрались игроки в кости, в шахматы.

Довольный царь быстро прошел через приемный зал; но когда он вступил в следующую

щую комнату, то легкая тень на мгновение омрачила его лицо. Он увидел свою супругу, «сердешненького друга» Екатерину Алексеевну, игравшую в шахматы с Виллимом Монсом.

Екатерина Алексеевна сейчас же заметила супруга.

— Иди-ка ты сюда, батюшка! — воскликнула она, подзывая к себе Петра. — Помоги ты мне, а то вот обыгрывает меня злодей наш придворный, — кивнула она на Монса.

Петр скользнул взглядом по красивому ка-мергеру, потом взглянул на шахматную доску и, порывисто взяв одну из фигур, сделал ход.

— Ну вот, государь, — весело воскликнул Монс, — ты меня совсем погубить хочешь.

— А что же, жалеть я, что ли, буду вашего брата? — грубо возразил ему государь, — в деле не жалею, а в игре и подавно.

В тоне его голоса было что-то грозное.

Екатерина Алексеевна с тревогой взглянула на него, не лицо царя не предвещало близкой бури, и она успокоилась.

— Ну, ходи, что ли! — заговорил Петр. — За Катеринушку я доиграю.

— Ой, государь, — опять воскликнул Виллим Иванович, — мне ли с тобой тягаться?

— Знаю, знаю, что ты — бабий кавалер, — довольно весело засмеялся его венценосный партнер. — А правду ли говорят, — быстро переставляя фигуры, обратился он к супруге, — что у нас, в Летнем, опять младенчика убитого нашли?

— Нашли, батюшка, нашли, — отозвалась Екатерина Алексеевна. — Так блудливы стали девки, что и ума не приложу, как их от этого отвадить.

— А не дознано, чей младенец? — опять спросил Петр.

— Где ж, государь, так скоро дознаешь, — раздался около царя голос Александра Даниловича Меншикова. — Те, кто на такое дело идут, следов не оставляют.

## Коварная просьба

**П**етр слегка нахмурился.

— Все-таки сие есть преступление закона, — сказал он, — и виновный должен понести заслуженное наказание. Ты, Данилыч, побудь тут, мне тебе надобно слово молвить; вот доиграю, так пойдем в сторону и поговорим. — Мастерским ходом он докончил партию и поднялся со скамейки, говоря супруге и Монсу — Ну, ежели хотите, играйте еще, а я вот тут с Данилычем поговорю.

Царь положил руку на плечо Меншикова и не повел, а почти потащил его в один из соседних покоев, где было совсем мало народа.

— Ты мне сказать чего не имеешь ли? — обратился он к Александру Даниловичу, тяжело опускаясь на скамейку. — Знаю я, что просто-запросто ты ко мне сунуться не осмелился бы.

— Нет, государь, что же я беспокоить тебя буду докладами здесь, когда ты веселиться пожаловал? Небось, тебе ими и твоя кнута-

бойная тройца достаточно надоела... Так вот, пустячок маленький есть у меня, до меня касающийся; да и это — не дело, а просьбишка к тебе, и не как к царю, а как к частной персоне.

— Что еще такое? — спросил Петр, раскуривая трубку.

— Да вот что: попристрасти ты малость своего денщика Ваньку Орлова, как отец, пристрасти! Пьянствует он да над чужими людьми озорует в пьяном виде.

— Уж не тебя ли, Алексашка, он поколотил? — улыбнулся царь.

— Ну, меня-то поколотить руки коротки, — смело ответил Меншиков, — даже и твои старые денщики не скоро дотянутся, а о молодых и говорить нечего. Нет, просто так, жалею парня. Обопьется он еще или в шумном виде взболтнет несурязицу какую, а теперь ведь такой народ пошел, что по всякому пустяку «слово и дело» кричит.

— Знаю я твою жалость! — отозвался Петр. — Как будто сытому волку баранов-то жалеть не приходится. В чем дело-то у вас?

— Вот ты всегда, государь, так! Ведь я не

худое говорю и не со злом к тебе пришел! А что вышло? Так тоже пустое! Есть у меня доверенный приживальщик: холоп — не холоп, а человек верный по службе...

— Знаю его, видал. С ним, что ли, Ванька набуянил?

— Его, государь, Орлов побил. Сошлись они в остерии, Ванюшка шумен был и надерзил... Только не к тому речь веду, чтобы наказывать парня... Бог с ним! А только, ежели ты ему хороший отеческий совет дашь, так это ему впрок пойдет.

Во все время, пока Меншиков говорил, царь смотрел на него испытующим взглядом, как будто старался проникнуть в его сокровенные мысли. Однако лицо фаворита было совсем спокойно, и его взгляд не отражал никакой задней думы, так что царь на этот раз поверил его искренности.

— Ну ладно, поговорю с Ванькой. Кстати, — хватился он за карман, — тут его один донос лежит. Ежели по ходу дела что замечу, так и дубинкой не замедлю наградить, а теперь вот такое у меня до тебя, Алексашка, дело.

— Слушаю, государь, приказывай!

— Суть не в приказе, а в том, чтобы правду знать. Знаешь ведь, поди, какое это отродье — все Монсовы?

— Еще бы мне не знать! — усмехнулся Александр Данилович. — Недаром же я около тебя с дней младости нахожусь.

— Ну, так вот что: дошло до моего ведома, что Вилька Монсов и сестра его Балкша больно немилосердно дерут, так лихоимствуют, что я боюсь, как бы мне жалобы не пришлось разбирать.

— Ну, что ж тут такого? — равнодушно проговорил Меншиков. — Все мы — люди, все — человеки, все последнюю шкуру готовы содрать, если случай подвернется. Ты только один у нас не лихоимствуешь, да и потому, что лихоимствовать тебе нечего: у своего добра стоишь... А из нас этим делом все грешны.

— Знаю! — проговорил царь. — Вот как только ты приходишь ко мне да заводишь речь, я сейчас и думаю: «А сколько же Алексашка за это дело содрал?» У Монса же так выходит: драть он дерет, а просить меня ни о

чем не просит. Народ же к нему так валом и валит, и все с большими гостинцами; и к Балкше тоже. Так за что же им дают? Ведь даром кланяться не будут. Вот я и хочу узнать, что за причина, что для своих приносителей Монсов делает... Что это ты глазами заблестел? — вдруг подозрительно уставился Петр на Меншикова, заметив, что в глазах Данилыча заблестели какие-то огоньки.

— Не знаю, — спокойно отозвался Александр Данилович, — может быть, слеза прошибла... Только ты меня, батюшка, от такого дела уволь.

— Это отчего?

— Да оттого что, если я возьмусь за него, все подумают — а ты первым будешь из всего, — что я Монсову завидую, а посему и топлю его. Вот и выйдет неладное, ты опять разгневаешься и мне же беда будет. Повели об этом кому-нибудь другому, а своего сердца царского лучше всего не беспокой. Поверь, батюшка, если за Монсовым что-либо раскроется; теперь же дело это заводить не стоит, только себя напрасно растревожишь. Пойдем-ка лучше, батюшка, да посмотрим, как

твои красавицы-фрейлины пляшут; ведь кой-то вечер ты себе для веселости избрал, а сам дела придумываешь.

## ХЛІ

### Тяжелое испытание

**П**етр ни слова не сказал своему фавориту и, поднявшись с места, пошел вслед за ним к дверям зала, где были танцы.

Меншиков, окинув рысьим взглядом зал с порога, на мгновение остановил взор на сидевшей у стены Марье Даниловне Гамильтон и, приподымаясь на цыпочках, чтобы быть поближе к уху царя, тихо спросил:

— Что же это Машенька Гамильтова сидит и не танцует?

Царь тоже взглянул на фрейлину. Та была чрезвычайно бледна и, видимо, сидела через силу.

— Сказывали мне, что больна она, — ответил он Меншикову.

— А жаль! — проговорил тот. — Ведь она у нас — почитай лучшая танцорка. Ох, уж это бабье!.. Всякие-то у них болести водятся. Не

узнали еще, чей ребеночек у фонтана подобран?

Петр сверкнул глазами. Какое-то страшное подозрение вдруг запало в его душу, и, повинаясь внезапному порыву, он крепко сжал плечо бессменного фаворита.

— Ты в самом деле, Алексашка, сожалеешь, что Машенька не танцует? — тихо сказал он ему на ухо.

— Еще бы, государь, — ответил тот, — ведь сказывают, что лучшей танцоркой она почитается.

— Так вот вижу я, что кавалера у нее не находится, так поди потанцуй с ней.

— Я, государь? — воскликнул Александр Данилович.

— Да, ты! А то кто же? — ответил ему Петр, и его голос прозвучал так глухо, что Меншиков не осмелился послушаться этого приказа и тотчас же, расталкивая попадавших ему навстречу, отправился через зал к сидевшей в уголке фрейлине.

Марья Даниловна сидела в углу и действительно перемогалась. Ее лицо было бледно, без кровинки, глаза впали, нос заострился.

— Машенька, — церемонно кланяясь ей, сказал Меншиков, — что ты такая? Ведь в гроб кладут краше!

— Ой, Александр Данилович, — ответила фрейлина, — неможется что-то мне, не первый день уже я в недуге.

— То-то я и вижу. А все-таки пойдем-ка, потанцуем.

Марья Даниловна вскинула на него изумленный взор.

— Говорю, неможется мне, — чуть слышно ответила она.

— Нельзя, Машенька, — так же тихо возразил ей фаворит. — Превозмоги себя, пойдем!.. Ведь это не я выдумал... он приказывает.

— Кто? — испугалась фрейлина.

— Царь! Он меня к тебе послал. Пойдем... Как-нибудь... нельзя отказаться... хуже может выйти. Ты прямо против него сидишь; взгляни на него: наверное, на нас смотрит.

Гамильтон подняла голову и взглянула. Петр стоял в дверях и в упор смотрел на нее. Она поняла, что на этот раз Меншиков говорит полную правду и что царь в самом деле желает, чтобы она танцевала, и потому, пре-

возмогая себя, встала и, подавая Александру Даниловичу руку, тихо шепнула:

— Пойдем, но не губи ты меня, Александр Данилович! Никогда я тебе зла не желала.

— Полно, полно, успокойся! — ответил тот. — Какое там зло? Мне самому тебя жаль.

Они вступили в круг танцующих.

Раздались далеко не стройные звуки музыки, начались танцы. Марья Даниловна действительно прекрасно владела собою и на этом вечере, последнем в своей жизни, танцевала лучше, чем кто-либо из ее подруг.

— Вот, ваше царское величество, — произнес Меншиков, подводя свою даму к Петру, — навеселились мы вдоволь, так навеселились, что просто до упаду!

— Видел, видел, — ответил Петр. — Ты, Марья, отличилась! Не напрасно про тебя говорят, что ты у нас — первая танцорка: плывешь, как пава. Хвалю и благодарю.

Он слегка кивнул фрейлине, давая этим знать, что дальше разговаривать с нею не желает, и отвернулся в сторону.

Меншиков церемонно по-придворному поклонился ему и повел свою даму к ее месту,

говоря:

— Молодец, Марьюшка, молодец! Выдержала себя... Бедная ты, голубушка, жаль мне тебя! Только ты не виновать меня, не по своей воле тебя я мучил... Но что это, что с тобой?

Марья Даниловна приостановилась на середине танцевального зала и схватилась рукой за грудь, как будто чувствуя недостаток воздуха. Ее лицо совсем побледнело и стало мелочным, веки вдруг тяжело сомкнулись и, внезапно лишившись чувств, она упала бы, если бы Меншиков не успел подхватить ее.

Произошло вполне понятное смятение; всякое «веселье» разом оборвалось, танцующие толпились около бесчувственной фрейлины.

И вдруг, заглушая говор, раздался громкий смех, мало походивший на смех человека. Это смеялся Петр, глядя на бесчувственную фрейлину своего двора...

— Вот так печальный случай для нашего веселья! — воскликнул он. — И впрямь Марья больна. Катеринушка, матка, ты бы свою девушку домой отправила. Где здоровые веселиться

собрались, там больным не место. Пусть отлеживается... Ведь бабье живуче! Ничего ей не сделается... А чтобы нашей фрейлине поправиться скорее, так мы за ее здоровье выпьем. Эй, кто там есть, холопы! Ладьте кубки и чаши! Объявляю вечернее всепьянейшее действо.

Все уже было приготовлено для попойки во внутренних покоях почтового двора. Через несколько минут Петр, подымая огромную чашу, громко возгласил:

— Веселие Руси — пити, нельзя без того быти. Это так еще наш незабвенный предок говорил, и не нам, потомкам, против его завета идти! — и царь приставил кубок к губам.

В это же самое время выступивший Монс, желая избавиться от лишней чары, ударил по струнам мандолины и звучно запел:

*Пей, пей чару до конца,  
Пусть ни капельки винца  
Не останется.  
Пили предки наши встарь,  
И теперь пьет русский царь,  
Пьет и не туманится.*

*Пей же с ним и весь народ  
Без устанки круглый год,  
Будут пусть все шумными.  
И пусть громко в шумстве том.  
Похваляются царем,  
От вина став умными.*

*Пусть все помнят на Руси,  
Что, кому ни подноси,  
Всякий выпьет хмельного  
И, весельем возгоря,  
Будет славить вновь царя.*

Впрочем, на этот раз вечерняя попойка как-то не особенно клеилась. Царь, явившийся на ассамблею веселым, вдруг закручинился. Он пил и не хмелел, и его громкие оклики то и дело раздавались, покрывая голоса. Для всех, кто более или менее близко знал Петра, ясно было, что он не в духе, но никто не мог определить, какая причина так разбередила его.

Царица Екатерина, предвидя возможность грозы, а с нею и великого «шумства», под первым удобным предлогом уехала во дворец, а царь еще оставался. Но затем и он ушел, однако слишком рано для подобного рода вечери-

НОК.

Возвратившись в свой Летний дом, Петр отправился не на половину супруги, а в свою комнату, и первый, кто попался ему на глаза, был его денщик Иван Михайлович Орлов.

## XLII

### Налетевшая буря

Орлов был на дежурстве при царе в эту ночь. Он не ждал так рано своего господина и распорядился своим временем тоже по-своему. Дежурные и другие свободные денщики устроили для себя пирушку, и появление царя прервало ее. Товарищи Орлова разбежались, успев однако сообщить ему, где они намерены докончить свое веселье. Петр, возвратившись, при первом же взгляде заметил, что Орлов хмелен, но не сказал ни слова. Он махнул ему рукой и начал с его помощью раздеваться. Окончив раздеванье, государь отпустил денщика, но в постель не лег, а достал из кармана своего камзола поданное Орловым донесение и, сев к столу, довольно внимательно прочел его.

Донесение не показалось ему важным. Орлов сообщал о каком-то сборище «заговорщиков», а так как таких донесений в руках Петра была масса, то он оставил резолюцию на него до утра и, сложив бумагу вчетверо, опустил на прежнее место в карман камзола. Карман между тем от ветхости подкладки подпоролся, и бумага упала между сукном и подкладкой, однако Петр не заметил этого. Он аккуратно развесил камзол на спинку стула у кровати, лег и скоро захрапел, заснув богатырским сном.

Услышав храпение государя, Орлов, находившийся в соседнем дежурном покое, не преминул воспользоваться этим. Как ни грозен и ни взыскателен был государь, а его денщики были народ довольно распущенный, и Петр нередко должен был принимать крутые меры, чтобы предупредить их исчезновение с дежурства. Не говоря уже о том, что он не раз порядочно-таки охаживал виновных дубинкой, он даже завел в дежурных покоях шкафы, в которых на ночь запирали дежурных денщиков. Но и это не помогало: денщики ухитрялись исчезать из-под замка.

Иван Орлов был не хуже и не лучше других, притом же он был молод, а стало быть, и способен на всякие проделки. Едва услышав, что царь захрапел, и зная по опыту, что он не проснется до следующего утра, Орлов преспокойно ускользнул из дежурного покоя и отправился к покинувшим его товарищам. Там он и прогулял с ними до утра.

Между тем государь проснулся несколько раньше обыкновенного. Очевидно, он находился во власти какой-то идеи; выпитое вино совсем не подействовало на него. Его голова была свежа, соображение работало, и первой его мыслью было прочесть еще раз поданный Орловым донос. Он протянул руку к стулу у кровати и сунул ее в карман камзола. Доноса там не оказалось.

«Кто-то здесь был, — промелькнула в голове у государя мысль, — донесение выкрадено».

По всем покоям государевой половины пронесся зычный, гневный окрик царя. Разом, несмотря на раннюю пору, переполошился весь Летний дворец.

— Денщика Ваньку ко мне! — кричал

Петр. — Он раздевал меня.

Увы, Орлова нигде не оказывалось.

Государь гневался все более и более. Он приказал немедленно разыскать гуляку-денщика, и тут ему вспомнились жалобы Меншикова, о которых он совсем было позабыл.

«Пристрастить, пристрастить негодника надо, — все более и более приходя в гнев, думал царь. — От рук отбивается народ, даже царские покои ни во что не ставят. Последние времена пришли, ежели так!»

Орлова разыскали довольно скоро. Он был сильно нетрезв, и когда ему рассказали, что царь в страшном гневе, то пришел в ужас. Но причину царского гнева сообщить ему никто не мог: ведь о затерявшейся бумаге знал только государь. Поэтому, пока Орлов вместе с провожатыми добирался до дворца, шли всякие догадки о причинах царского гнева. Между прочим Ивану Михайловичу рассказали о том, что произошло накануне на ассамблее и как царь заставил Марью Даниловну ни с того ни с сего танцевать с Меншиковым.

«О, Господи! — промелькнула ужасная мысль в нетрезвом мозгу царского денщика,

хорошо знавшего о внимании, которое оказал в свое время красавице-фрейлине грозный государь. — Видно, все узнал его величество, узнал и оскорбился, что я по его стопам пойти осмелился. Быть мне, как Степке Глебову, на колу! Ой, да что же мне делать-то? Как мне свою голову злосчастную спасти?»

Орлов трясся как в лихорадке. Пред ним была страшная опасность, и не находилось выхода. Разные мысли рождались, но ни одна из них не казалась ему удачной. Вдруг словно что-то осенило его.

«Государь правду любит, — пронеслось в его мозгу, — а если так, то нужно мне припасть к его стопам и во всем содеянном повиниться. Что ему Марья? Он уже больше не любит ее... Марья для него — все равно, что истоптанный лапоть. Припаду к августейшим стопам и, не дожидаясь опроса, сам во всем повинюсь».

Когда он предстал пред грозным царем, то сразу же понял, что буря разыгралась вовсю. Петра так всего и дергало, его глаза сверкали, на искривленных конвульсиями губах была видна пена.

— Негодник, такой-сякой!.. — закричал на дрожавшего денщика государь. — Как ты только осмелиться мог помыслить на такое дело? Что я для вас здесь — не царь, не помазанник Божий? Ты, сквернавец, молокосос, сомной себя наравне поставить осмелился?

Выкрикивая все это, Петр имел в виду похищенный у него из кармана донос, перетрусивший же до последней степени Орлов понимал все эти царские выкрики по-своему.

— Батюшка, царь всемилостивейший! — кинулся он к ногам Петра. — Солнце одно на Божьем свете, и ты у нас один отец на земле. Смилосердуйся, не вели казнить!.. Люблю я Марьюшку.

— Что? — так и отступил в изумлении государь. — Любишь Марьюшку? Какую?

— Гамильтову, Марью Даниловну. И она ко мне ласкова всегда была. Думали мы оба, что позабыл ты о ней.

Он лепетал свои фразы, стараясь в то же время схватить царя за ноги, и не видел, какая страшная мука отразилась в эти мгновения на лице Петра, совершенно сменив недавний яростный гнев. Петр из этого совер-

шенно неожиданного признания ясно понял, что Орлов не крал своего доноса и даже не имеет ни малейшего понятия о случившемся. Нет, другое ударило тут по сердцу могучего человека. Он снова почувствовал то же самое, что пережил когда-то, просматривая бумаги утонувшего Кенигсека. Но тогда Петр еще был молод, в его жилах ключом кипела кровь, больше чувствовались уколы самолюбия, а теперь уже не гнев, а невыносимая скорбь овладела им.

Слегка оттолкнув Орлова, он подошел к своей кровати, взял камзол, еще раз опустил руку в карман и тут только убедился, что бумага цела и находится за подкладкою. Это успокоило его. Он оставил камзол и взглянул на все еще стоявшего на коленях Орлова.

— Давно ли ты любишь ее? — спросил он, сдерживая гнев.

Орлов почувствовал новые нотки в голосе царя и понял, что Петр уже не так гневен, как при его появлении. Однако, не соображая того, что происходит, он подумал, что царь даже доволен его любовной связью с фрейлиной, а стало быть, и говорить ему нужно

именно в этом направлении.

«Быть может, его величество желает честно разделаться с Марьей, — мелькали у Ивана Михайловича мысли, — и благословит нас на супружество. Надо непременно уверить его в том, что у нас любовь не пустяшная, а истинная».

— Ну что же, спрашиваю я, — возвысил Петр голос, — давно ли любовь промеж вас?

— Ваше царское величество! — завопил денщик. — Не будь на нас гневен, помилосердуй! Третий год уже любимся.

— Что? — проговорил тот. — Третий год?

— Так точно, ваше величество. Как отцу говорю.

Он осмелился поднять голову и взглянуть на государя.

Теперь лицо Петра было почти темное. Страшная обида всколыхнулась в его сердце, в нем заговорило самолюбие обманутого мужчины. Однако он сдерживался. Новые мысли зароились в его голове.

— Так, — воскликнул он, — так! Что же, и беременна она была?

Опять проклятое соображение о том, что

неприменно нужно уверить государя в долгой любовной связи между ним и фрейлиной, заставило Ивана Орлова ответить на этот вопрос утвердительно.

— Стало быть, она и рожала?

— Все мертвых, царь батюшка, мертвых!

— А! — вырвался стон из груди Петра. — Алексашка, Алексашка, — застонал он, — вот куда твои переговоры вели! — вспомнил он о намеках Меншикова. — Демон ты мой злой! Злодей вековечный! Раздавил бы я тебя, скверную гадину, если бы тебя кем-либо заметить смог. — И вдруг, словно повинувшись одной какой-то мысли, Петр так застучал кулаком по столу, что разом вбежали явившиеся на дневальство денщики. — Взять его, взять, негодника! — указывал царь на Орлова. — Запереть в крепость и держать, пока я о нем не повелю!

— Государь, помилосердуй! — завопил было Орлов.

Но его вопль тотчас же прервался: его схватили и выволокли из опочивальни.

Вне себя от страшного гнева бегал из угла в угол Петр, и гнев так и клокотал в его душе.

— Эй, кто там! — снова крикнул он. — Привести сюда с царицына верха девку Машку Гамильтону!.. Нет, не нужно!.. Видеть мерзкую не желаю... не желаю. Нарядить уголовный суд над нею... взять ее за приставы! Сам я на суде свидетельствовать стану! Невинно пролитая кровь младенческая вопиет о мщении. Не оставлю я убийства неповинного существа ненаказанным.

Голос царя, перешедший уже в сплошной вопль, то и дело срывался. Лицо стало совсем черное, пена клубилась у рта. В бессилии он опустился на скамью, душевная мука надорвала богатырские силы, хриплые звуки, только издали походившие на истерический хохот, рвались из груди.

Разом было потревожено все население дворца. Прибежала разбуженная царица. Она было кинулась к супругу, но тот отшвырнул ее прочь, дико выкрикивая:

— Не подходи, не скверни! И ты такая же, как и все!..

Тут он не выдержал, сознание оставило его.

## XLIII

### Во имя «справедливости»

Гамильтон была взята не сразу. Когда прошел гнев и вернулась способность соображать, Петр ощутил жалость к несчастной женщине, которая была к нему близка, и решил было ограничиться домашним судом. Он уже отдал приказание двум дворцовым гренадерам выдрать батогами Марью Даниловну Гамильтон, и на этом, вероятно, покончилось бы все это дело, но вдруг все разом перевернулось — вмешался опять Александр Данилович Меншиков.

Царский приказ еще не был исполнен, когда он явился прямо к Петру, делая вид, будто решительно ничего не знает о происшедшем в злополучное утро. Даже не взглянул на своего бессменного фаворита Петр Алексеевич. Сразу же сообразил он, что неспроста явился к нему этот спутник всей его жизни. Но Меншиков прекрасно изучил царя и знал, что наглость лучше всего действует на него.

— Прибыл к вашему величеству со сроч-

ным докладом, — заговорил он, — благоволите выслушать меня неотложно...

— Что еще там у тебя, Алексашка? — взглянул на него налитыми кровью глазами Петр. — Опять ты душу мою бередить пришел?

— Ничего, государь, не поделаешь! — твердо ответил Меншиков. — По своей обязанности ближнего к вам человека не осмеливаюсь я замалчивать пред вами правду, так как ведомо мне, что вы, всемилостивейший государь, горой всегда стоите за нее.

— Говори же, говори скорей! — закричал Петр. — Каждое твое мерзкое слово, ядовитое, как жало змеи, впивается мне в сердце. Что у тебя еще такое?

— Неладные слухи, государь, по городу пошли. Боюсь, что много людей из-за них придется вам же нещадно наказывать. Тот задуманный младенец, которого нашли у фонтана, был обернут в дворцовое утиральное полотенце с вашей царской короной...

— Ну, знаю. Что ж из того? — холодно ответил царь.

Но Меншиков не смутился.

— А то, государь, — продолжал он свой доклад, — слух прошел такой: будто сей несчастный младенец, своей родимой матерью убитый, — не простой, а высочайшей во всем нашем государстве крови.

Страшный женский крик донесся из внутренних покоев. Петр сейчас же узнал голос своей супруги и, забывая о Меншикове, кинулся туда, откуда доносился шум. В покоях царицы он увидел сцену, которая в другое время — вероятнее всего только насмешила бы его: его «друг сердешненькой — матка Катеринушка», охватив своей мощной дланью несчастную Гамильтон за волосы, другой рукой осыпала ее градом пощечин.

— Говори, негодница, с кем ты путалась? — кричала рассвирепевшая царица, даже не заметившая появления супруга. — От кого у тебя щенок был, которого ты задушила? Не отстану, пока не скажешь.

Петр, должно быть, почувствовал себя не совсем ловко. Он знал, чем в яростном гневе становилась его супруга, эта женщина-атлет. Но, конечно, не это смутило его. Он ожидал, что скажет Мария Гамильтон, несчастная

женщина, не осмелившаяся даже спрятать лицо от града тяжелых ударов. Но она, эта жертва многих бурных страстей, увидела, кто смотрит на нее с порога царицыной комнаты, и вдруг словно просияла вся.

— Орлова я любила, — внятно и отчетливо проговорила она, глядя на смущенного царя, — им повинна я...

— Им? Врешь! — не унималась царица. — Жилы из тебя, подлой, вымотаю, а всю правду узнаю. Я тебе покажу, как на чужих мужей глаза пялить! Ишь ты какая!.. Орлов Ванька? Врешь... Куда поболее того себе кус захватила...

— Катерина, оставь! — очутился около нее супруг. — Оставь, я тебе говорю! — повелительно закричал он, схватывая супругу за плечо. — Суд я учинил над преступной матерью, и никто, кроме судей, даже сам я, допрашивать ее не смеет.

Появление супруга было неожиданностью для Екатерины Алексеевны. Она отпустила несчастную фрейлину и, горько зарыдав, приникла к Петру.

— Батюшка, Петр Алексеевич! — заголоси-

ла она. — Ведь подумай только — она наш честный дом опаскудила. Мало того, что с твоими денщиками шашни она вела, так еще всем рассказывала, будто я воск от угрей ем. Сам-то ты, поди, знаешь, нешто я такая уж прыщавая, чтобы воск есть? А потом мало того, эта девка обокрала меня, червонцы и вещи крала... разве это — не обида? А ты еще за нее заступаться вздумал!

— Молчи, Катерина, — последовал ответ. — Судьи до всего дознаются, и все ее вины по доказательству с нее будут взысканы. Возьмите же ее! — подтвердил царь свой утренний приказ, — и чтобы о розыске ею правды мне немедленно докладываемо было.

Тотчас же к Марье Даниловне бросились придворные слуги, а за дверьми покоя уже побрякивали коваными прикладами гренადеры. Однако виновная фрейлина жестом руки отстранила от себя челядь и сама пошла к выходу. На пороге она остановилась и умоляюще взглянула на государя. Тот же, увидев этот взгляд, потупился и отвернулся.

## Неудачное покушение

Невская столица в этот год много веселилась. Но, несмотря на всю внешнюю беззаботность столичной жизни, Тайная канцелярия и ее застенки работали не переставая. Дважды водили на кровавый розыск несчастную фрейлину Гамильтон, подвешивали ее на дыбу, шпарили горячими вениками, били кнутами, доискивались, кто был отцом ее последнего ребенка. Но она упорно молчала, и никакие муки не в состоянии были вырвать у нее то признание, которого усердно добивались ее мучители. 27 ноября тысяча семьсот восемнадцатого года состоялся приговор: казнить девку Марью Гамонтову смертью, но за отсутствием государя в Петербурге исполнение приговора было отложено.

Шли дни, а Мария Гамильтон все еще оставалась жива, и это наконец не на шутку начало беспокоить Меншикова. Знал он о совершенно новом обстоятельстве, до некоторой степени обращавшем все его планы в ничто:

вдруг ни с того, ни с сего у несчастной фрейлины очутился могучий заступник — царица Екатерина Алексеевна.

«С чего это она? — старался проникнуть в глубь соображений царицы бессменный фаворит. — Ведь какое она зло на Машку держала, а тут вдруг — на-кося — жалость почуяла и, меня не спросив, действует! Что такое может это значить? И что если теперь ночная кукушка дневную перекуковывает».

Меншиков ревниво берег свое влияние на царицу, но вместе с тем в последнее время ему все чаще и чаще приходилось сталкиваться с другим влиянием, с другой волей, и временщик невольно чувствовал опасность для себя. Он знал, что могучий с виду царь был уже недолговечен. Единственный, кто мог бы быть ему вполне законным наследником, был уничтожен. После Петра оставался его малолеток-внук, и, конечно, вся власть должна была перейти к царице Екатерине Алексеевне, как ни призрачны были ее права на это. Вот именно такое положение в будущем и предусматривал Александр Данилович, страшась за всякое умаление своего вли-

нения на царицу.

«Посмотрим, — злобно думал он, вспоминая красавца камергера Виллима Монса, — потягаемся... Я-то — матерый волк, не давать же мне дорогу всякому щенку. Вот как его Екатерина жалует... Умрет Петр, так Монсов на его место при ней в открытую станет... Мне тогда в Березове только и будет место».

Вскоре его злобное чувство было еще более подогрето: он узнал, что Екатерина Алексеевна хлопочет о своей несчастной фрейлине, уговариваемая к этому именно сострадательным Монсом. И вот, едва узнав это, Меншиков решил приступить к решительным мерам.

Однажды вечером у государя в Летнем дворце собрались на совет его министры. В это время, пользуясь темнотою и невниманием денщиков, в переднюю прокрался какой-то незнакомец, за пазухой у которого виднелась киса, сшитая из разных лоскутков. Она была вроде тех, в каких секретари и писцы того времени приносили к рассмотрению или подписи своим начальникам различные дела. Никто из денщиков и слуг, бывших в то

время во дворце, не обратил внимания на незнакомца: вероятно, они приняли его за подьячего или писца из какой-нибудь коллегии, явившегося к государю с делами; незнакомец тем более не обращал на себя внимания служителей, что стоял совершенно равнодушно и спокойно и в течение нескольких часов с кисой под мышкой терпеливо ждал выхода государя.

Наконец совет кончился. Царь Петр по обыкновению пошел проводить своих министров в прихожую. В это мгновение незнакомец обернулся к стене и незаметно вынул из кисы что-то...

Между тем государь повернулся и пошел было уже назад к себе в комнаты. Тогда незнакомец так смело и решительно последовал за ним, что окружающие могли подумать, будто сам государь приказал ему идти за собой. Однако так как подобного приказания никто не слышал, то один из служителей побежал за незнакомцем и в дверях передней загородил ему дорогу. Когда же тот стал напирать, служитель толкнул его и спросил:

— Кто ты такой, и что тебе надобно?

Тот, не отвечая, продолжал проталкиваться вслед за государем. Петр услышал шум и, обернувшись, спросил:

— Что там?

Должно быть, могучий голос и грозный вид Петра испугали злодея: у него выпала из-за пазухи киса, а из-под нее выскочил «превеликий нож». Преступник пал на колена и признался в своем умысле.

Государь сам схватил его и спросил:

— Что ты хотел ножом делать?

— Тебя зарезать, — ответил преступник.

— За что? — продолжал спрашивать Петр совершенно спокойным духом — Разве я чем-либо обидел тебя?

— Нет, — ответил злодей, оказавшийся раскольником, — мне ты никакого зла не сделал, но сделал нашей братии и нашей вере...

— Хорошо, — продолжал Петр, — рассмотрим это.

Государь велел взять преступника под караул и ничего с ним не делать, пока он сам завтра обстоятельно не расспросит его.

О том, что случилось далее с этим злоумышленником, нет никаких сведений ни в

рассказах современников, ни в делах Тайной канцелярии. Но на другой день после этого случая Александр Данилович явился к государю и долго беседовал с ним о каких-то тайных делах. Грозный царь сильно гневался и кричал на своего бессменного фаворита, но тот ушел от него необыкновенно веселый и без всяких признаков какой бы то ни было опалы.

В тот же вечер его любимец Кочет с выданным светлейшим князем паспортом провожал за заставу какого-то человека.

— Ну, прощай, друг, — сказал он, расставаясь с отъезжавшим у Глазова кабака на реке Лиге, где была почтовая станция и проверялись паспорта отъезжающих. — Все я для тебя сделал... Иди же с миром к своим старцам и, ежели когда услышишь обо мне, не поминай лихом.

А на следующее утро царь Петр утвердил смертный приговор фрейлине Гамильтон.

## Кровавый конец любви царя

В туманный мартовский день тысяча семьсот девятнадцатого года на Троицкую площадь близ крепости толпами сходились всякого звания люди. Они собирались довольно равнодушно и особенного интереса не проявляли: казни в то время в Петербурге совершались чуть ли не ежедневно. На возведенном посреди площади эшафоте, на столбах, еще висели полусгнившие головы нескольких заговорщиков по делу царевича Алексея, казненных за три месяца до этого. В собиравшейся публике пробуждало некоторый интерес к казни лишь то обстоятельство, что у эшафота должен был быть сам великий государь Петр Алексеевич. Впрочем, и это не было новинкой петербургской публике — государь часто бывал при казнях.

А неподалеку, через площадь, в каземате крепости, словно невеста к венцу, собиралась на эшафот несчастная фрейлина, Марья Даниловна Гамильтон. К ней вообще после пыток

относились снисходительно и незадолго до казни ей возвратили даже некоторые ее платья. Теперь, в последнее утро своей жизни, Марья Даниловна, еще задолго до рассвета, тщательно причесала и убрала свои роскошные волосы.

Странно! Ни страха, ни смущения не было заметно на ее хотя и поблекшем, но все-таки красивом лице.

— Чего ты? — удивлялся непонятной ее веселости видавший всякие виды часовой. — Ишь как убираешься! Многие отсюда на Трицкую площадь отправлялись, так больше все плакали и сокрушались, а ты вона — поешь!

— Ты — грубый, дерзкий солдат, — ответила ему Марья Даниловна, — и ничего не понимаешь. Сегодня день моего освобождения...

— Ну да! — возразил солдат. — Как же! Освободят!..

Бедная женщина только засмеялась ему в ответ.

— Слушай и запомни, что я скажу тебе, — быстро заговорила она, — тот, который все может, вот здесь, в этих стенах, сказал мне,

что рука палача не коснется меня.

Солдат был смущен. Он понимал, про кого говорит осужденная, и боялся даже сказать что-либо. Ведь он знал, что великий государь бывал в каземате этой пленницы, тайно разговаривал с ней, а ее веселость уверяла его в том, что эта женщина будет в последний момент помилована.

Марья Даниловна нарядилась для казни в белое шелковое платье, украсила еще лентами этот свой наряд и весело пошла за конвоем из каземата. Свежий весенний воздух пахнул ей в лицо, когда она очутилась на крепостном дворе. Душно было в каземате, и вот, наконец, пред нею снова были Божье небо, родная земля! Еще немного — и все будет кончено, все, что было до этого, останется страшным сном, а впереди — жизнь, счастье!.. Ведь он, великий, всемогущий, еще любит ее, еще помнит о ней! Так думала эта бедная женщина, переходя площадь к роковому эшафоту.

Вот и эшафот. За ним, сверкая позолоченными главами в лучах весеннего солнца, виднелся храм Всевидящего Бога, Бога любви и всепрощения — Троицкий собор. На помосте

люди, но палача не видно... Вот стоят секретари Тайной канцелярии, вон Екатерина Семенова, вынесшая убитого ребенка, тут же кругом группа придворных. Вдруг радость и счастье переполнили душу шедшей на смерть женщины: она увидела царя Петра. Да, да, еще несколько минут — и вся эта комедия будет кончена; если не свобода, то жизнь будет сохранена!

Сама, без посторонней помощи, взбежала Марья Даниловна по ступенькам эшафота и тут только заметила, что вместо обычного палача у плахи стоит обер-кнутмейстер, то есть чиновник Тайной канцелярии. Это еще более ободрило ее, еще более усилило в ней уверенность, что после прочтения приговора она будет помилована.

Не будучи в силах сдержать охватившего ее радостного чувства, она взглянула на государя и улыбнулась. Петр заметил эту улыбку. Его лицо вовсе не было ни гневно, ни грозно; он непринужденно-весело разговаривал с окружающими.

— Девка Марья Гамильтон да баба Катерина, — воскликнул секретарь Триполянский,

начиная чтение смертного приговора, — Петр Алексеевич, всея великия и малыя, и белыя России самодержец, указав за твоя, Марья, вины, что ты жила блудно и была оттого брюхата трижды, и двух ребенков лекарством из себя вытравила, а третьего родила и удавила, и отбросила, в чем ты во всем с розысков повинилась: за такое твое душегубство — казнить смертью. А тебе, бабе Катерине, что ты о последнем ее ребенке, как она, Марья, родила и удавила, видела и, по ее прошению, онаго ребенка с мужем своим мертвого отбросила, а о том не доносила, в чем учинилась ты с нею сообщница же, — вместо смертной казни, учинить наказание: бить кнутом и сослать на прядильный двор на десять лет.

Марья Даниловна равнодушно выслушала чтение приговора; ее думы были далеко, и она встрепенулась только тогда, когда увидела около себя Петра, с нежностью во взоре наклонившегося к ней.

— Ну, прощай, Марьюшка, — громко и внятно проговорил государь, — видно, так Бог тебе судил и Его на то святая воля. Без нарушения божественных и государственных за-

конов не могу я спасти тебя от смерти... Итак, прими казнь. Верь, что Всемилостивый Бог простит тебе в грехах твоих; помолись только Ему с раскаянием и верою.

Он обнял и поцеловал осужденную.

Словно какая-то сила метнула несчастную на колена.

— Великий государь, прости, помилуй! — завопила она.

Петр склонился к уху обер-кнутмейстера и что-то шепнул ему.

— Всемилостивейшее прощение, — прошептал среди толпившихся на эшафоте людей, — счастливица, помилована!

— Государь! — вопила Марья. — Ты знаешь все. Ведь я тебя...

Она не договорила. Сверкнул топор, и разом отрубленная голова несчастной покати-лась по эшафоту. Царь сдержал свое слово. К тому телу, которое он обнимал, целовал, любил, не прикоснулась рука палача: обер-кнут-мейстер нанес столь ловкий удар, что сразу снес голову, даже не положенную на плаху.

Все смолкло, все молчали, а царь Петр, спо-койно наклонившись, поднял голову несчаст-

ной красавицы и поцеловал ее в открытые губы, а потом, повернув ее так, что видно было то место, по которому прошел топор, громко, ровно, без малейшего признака волнения, произнес так, что слышали все:

— Вот сия жила есть сонная артерия, а в сем месте соединение позвонков спинного мозга.

Затем он еще раз поцеловал мертвую голову, опустил ее на землю, перекрестился и уехал с места казни.

Только тут выступил настоящий заправский кат и стал жестоко сечь кнутом «бабу Катерину».

Так завершилась кровавым концом последняя любовь могучего царя.

Но своему сопернику в этой любви, Ивану Орлову, государь и не подумал мстить. Спустя некоторое время Орлов был приведен на одну из ассамблей.

— Ежели ты и виновен, — сказал ему государь, — то как нет точных тому доказательств, то да судит тебя Бог, а я жалую тебя поручиком гвардии.

С этих пор он начал делать свою блестя-

щую карьеру.

## XLVI

### Нежданный гость

Любовь Марьи Даниловны Гамильтон была последней в жизни могучего человека, направлявшего жизнь целых народов по своему желанию, и в то же время клонившего голову пред тем маленьким крылатым божком, которому древние эллины дали имя Купидона. Сильна была власть божка: он творил с могучим человеком удивительные вещи, заводил его в такие дебри страданий, откуда выходом чаще всего была только одна смерть.

Да, в этой жизни, в жизни могучего человека, любовь действительно была сплошным страданием.

В самом расцвете жизни, в труднейшие мгновения ожесточенной борьбы и за жизнь, и за трон, впервые загорелась в пылком московском царе-юноше звезда любви. Его воображение впервые поразила женщина, первая красавица московской Кукуевской слободы Анна Ивановна Монс.

В конце жизни для Петра засияла другая звезда, необыкновенно красивая, духовно более совершенная, но преступная и уже искусившаяся в любви Марья Даниловна Гамильтон; она попробовала было занять такое же место, какое занимала в жизни царя Анна Монс, но это уже не удалось ей, ее расчеты не оправдались — и она кончила свою жизнь на эшафоте.

Среди этих двух женщин в жизни Петра слишком определенное место заняла третья женщина — Марта Скавронская, простая крестьянка, вдова Рабе, мариенбургская пленница, ставшая затем женой могучего царя и русской императрицей Екатериной Алексеевной. Она выиграла более всех своих соперниц, может быть, потому, что к любви не стремилась и была вполне довольна созданным своим положением.

Но никогда Екатерина не была для Петра тем, что были и Анна, и Мария. Вокруг нее была атмосфера не любви, а привычки, и только. Она была нужна царю Петру только потому, что умела создавать ему известный комфорт, но никогда не была любимой им

женщиной. Вот поэтому-то самому она и достигла того, чего не могли достигнуть две другие, игравшие в жизни Петра столь заметную роль, женщины. И она не только достигла всего, но сумела сохранить за собой положение, силу, власть, тогда как Мария Гамильтон, в сущности говоря, ничем не виноватая пред Петром, умерла под топором.

Страшная смерть Марии Гамильтон как будто упрочила положение Екатерины Алексеевны. Теперь она осталась одна; около Петра Первого других женщин не было, или они уже не привлекали внимания все более и более старевшего и перестававшего искать любовных утех царя.

Сохраняя могучую внешность, Петр в начале шестого десятка своей жизни был уже дряхлым стариком, для его же супруги только еще наступал жизненный расцвет.

А тут на долю царя выпал новый труд: персидский поход. Петр полубольным отправился в прикаспийские и казикакумыкские степи; трудности пути, смена климата — все это плохо влияло на него, а когда он возвратился до-

мой, то ничего уже не радовало его. Царь почувствовал, что разрушается его семейный очаг: единственное, чем он дорожил в своей многострадальной жизни. Доказательств к тому у царя Петра не было, но он чувствовал, что ему готовился удар.

Однажды, когда государь отдыхал в одной из комнат почтового двора, к крыльцу подкатила подвода, из которой вышел порядочно пожилой приезжий в немецком — но не в военном, а в гражданском платье. За ним из подводы вышла женщина, довольно стройная, довольно молодая и красивая собою.

Заслышав стук колес, Петр выглянул в окно, и на его лице отразилось не то удивление, не то любопытство.

— Черты сих лиц как будто знакомы мне, — сказал он в раздумье, обращаясь к дежурившему при нем в то время денщику Павлу Ивановичу Ягужинскому. — Вот только не могу припомнить, где я видывал эту персону.

— Прикажешь, государь, узнать, кто такие? — весело спросил его Ягужинский и направился к двери.

— Постой! — остановил его Петр. —

Узнать-то не хитро, да не того мне хочется. Неужели же я так ослаблен памятью, что припомнить не могу своего знакомца? Нет, я уж не так стар, чтобы забывать! — Петр на мгновение закрыл глаза и взялся рукою за лоб. — Ай, вспомнил-вспомнил! — воскликнул он. — Зови его сюда. Скажи просто: знакомый-де здесь на постоялом и видеться с тобою желает.

Ягужинский быстро вышел за двери.

— Ведь сколько лет пронеслось! — тихо проговорил государь, медленно прохаживаясь по обширному покою. — Дни юности снова восстали предо мною. Из тех, кто был со мною тогда, уже немногие остались, да и кто остался? Старики, развалины, а этого я почти три десятка лет не видал. И вот он снова предо мною, мой противник ярый, мною смиренный, обласканный, прирученный волчонок. О нем я не слыхал, что было с ним — не знаю, и вот нежданно встречаю его! Он в мой Парадиз приехал. Интересно, каков-то он? По-прежнему ли он злобится на меня, или до конца смирился?

Дверь осторожно отворилась. В сопровож-

дении Ягужинского в покой вошел приезжий. Он остановился у порога и пристально посмотрел на государя. Тот, при его появлении находившийся у окна, повернулся, взглянул на него, но не грозно, а скорее ласково, и, слегка улыбаясь, сказал:

— Ну, здравствуй, свет Михайло! Давно мы не видались! Привел Бог встретиться... Что же ты молчишь? Не узнаешь?

— Царь! — воскликнул тот. — Петр Алексеевич.

— Да, это я. Едва ты подкатил к крыльцу, я угадал знакомца. Ты — Михайло Родионов, сын Каренин. Видишь, помню я, а лет прошло много... Ну, что же ты? По-прежнему гневаешься, воображая, что любушку я отбил у тебя?

— Государь! — дрожащим голосом воскликнул приезжий. — Зачем ты вспоминаешь прошлые ошибки? Из глуши непроходимой стремился я в твой Питер, чтобы поклониться тебе. Позволь же мне челом тебе ударить!

Каренин склонился было, кланяясь государю земным поклоном, но Петр быстро удержался.

жал его.

— Оставь, Михайло! Не нужно мне этих поклонов здесь. Я здесь не царь, я — Петр Михайлов, так ты и запомни и говори со мной без лишних церемоний.

Он отошел и присел к столу, взяв в руки трубку.

Ягужинский сейчас же высек огня и поспешил подать раскурить.

— Ну, Михайло, расскажи недлинно, как ты живешь? Что твой брат Павел? Когда я был в Париже, так он встречал меня. Не захотел он тогда со мной на Русь вернуться, а после я о нем как будто и не слышал...

— Государь! Умер Павел.

— Умер? Царство ему небесное! — притуманился Петр. — Какая же болезнь свела его в могилу?

— Не от болезни преставился он, государь. Когда уехал ты, один придворный щеголь над тобою вздумал посмеяться...

— Ага! Ну и что же?

— А то, что брат, завет московский помня и не стерпев обиды государю своему, приколотил его, всего искровянил, а тот, по своему

обычаю, его на поединок вызвал и шпагой за-  
колол.

На лице царя Петра появился оттенок гру-  
сти.

— Да, жаль его, — сказал он, — был верный  
слуга и друг. Не много у меня таких! Остались  
у него дети?

— Нет, никого, государь: он одинокий был.

— А ты?

Облако смущения появилось на лице Ми-  
хаила Каренина.

— Ну, вижу, вижу, что ты не бобылем  
жизнь скоротал, — усмехнулся государь. — С  
тобою там, я видел, женская персона. Жена  
или дочь?

— Не знаю, как тебе сказать, государь. При-  
емная она мне сестра как будто, и, помнится,  
ты малость знаешь ее...

— Да разве? Кто же она такая?

— Припомни, государь, в Немецкой слобо-  
де немчинку Фогель, что мне с братом за мать  
была.

— Фогель? — нахмурился Петр. — Ее, что  
ли, дочь?

— Она, она! Большие ей испытания посла-

ла судьба. Привез я ее из-за рубежа сюда, туда же она ненароком попала. Вишь ты, государь, хотелось ей на родине отца побывать, вот за одним из твоих посольств она и увязалась, да бедствовала там; я пожалел сиротку и, как возвращался на Русь, с собою ее привез. В глушь я завез ее, и жила она при мне женой. Теперь я вдовцом остался. Зазорно стало мне жить с нею в одном доме, и вот надумал я тебе ее представить.

Государь засмеялся.

— Ох, Михайло! Стары-то мы с тобой стали, но все же седина у нас в бороду, а бес в ребро... Ох, греховодник ты этакий!

— Думай, государь, как хочешь, — засмеялся и Каренин, — а только склонись на мою просьбу.

— Ладно, посмотрю, что там. Сам-то я тут из далекого похода вернулся. Вишь ты, дербентские кумыки заворошились, а их земля издревле достоянием русского престола была, так туда было нужно. Ах, дело-дело! Везде-то и всюду самому быть надобно: людей вокруг многое множество, а положиться не на кого...

— Ау, государь, таково уж дело хозяйское!

Свой глаз везде и всюду алмаз.

— Верно! Чужой — стеклышко... Да в том-то и беда, что годы-то уже немалые становятся, тут бы на отдых пора, а вон тащись за тридевять земель, в тридесятое государство. Так приходи, Михайло, ко мне в Летний дом и свою девицу приведи с собой. Я и теперь на нее поглядел бы, старину вспоминая, да вот, — кивнул он на окно, — мою ладью к пристани подали, ехать нужно по делам в крепость. Иди, отдохнешь с пути! Только смотри: русский царь вместе с солнцем встает; чем раньше явитесь, тем больше времени останется для беседы.

## XLVII

### Старые знакомцы

На другое утро Михаил Каренин и та, которую он называл своей «приемной дочерью», входили за ограду Летнего сада.

Хорош был Летний сад: разбитый по проекту знаменитого архитектора Леблона, он считался лучшим из садов европейских столиц. Да так и должно было быть. Липы — главное его украшение — росли здесь еще до прихода русских к устью Невы, и эта липовая роща так нравилась Петру Алексеевичу. Царю Петру оставалось только подправить да подчистить то, что было запущено во время борьбы со шведами за Петербург, и уже только поддерживать в полном порядке замечательный сад.

Стража у входа в сад, очевидно, была предупреждена о появлении новых людей, и Каренина с его спутницей пропустила беспрепятственно.

Мария Фогель к этому времени из ребенка превратилась в красивую пышную женщину.

В ней было именно то, что всегда нравилось Петру: высокий рост, пышная грудь, смелый взгляд, румяные щеки. Все в ней было привлекательно; это была уже женщина вполне опытная, вполне искусившаяся в любви и умевшая сулить взглядами рай на земле.

— Государь в беседке на Фонтанной, — предупредил дежурный у ворот начальник стражи. — Идите все прямо, потом свернете по аллее направо и выйдете к самой беседке.

Каренину не повезло в это утро. Когда он и Мария дошли до царской беседки на берегу Фонтанной, то увидели, как царский катер в этот момент отвалил от небольшой пристани. Они опоздали. Как раз в этот день на Косом канале был назначен смотр новых галер и царь спешил туда. Однако, увидав своих гостей с лодки, он приветливо махнул им рукой, и этого было вполне достаточно, чтобы оставшиеся на берегу обратили внимание на Каренина и Марию.

— Узнай, кто такие и откуда, — шепнул своему верному Кочету Александр Данилович Меншиков, спешивший к своему катеру, чтобы отправиться на смотр вместе с царем, — а

потом все подробно доложишь мне.

Кочету было достаточно взгляда, чтобы узнать в приезжем старике когда-то молодого боярина Каренина, из-за которого он в дни своей юности попал в застенок. Воспоминания разом ожили в его сердце, и он, недолго думая, подошел к приезжему.

— Боярину Михаилу Родионовичу поклон! — склонился он пред Карениным. — Поди, ведь не узнал знаконца?

— Нет, не признаю что-то, — ответил тот, пристально вглядываясь в Кочета, — и совсем не припомню, где мы видались.

— Было дело, боярин, давно было! У тебя, боярин, тогда не только седины не было, даже и усов-то с бородой не заводилось.

— Ой-ой-ой, какое время вспомнил, молодец, как величать, не знаю! — засмеялся Каренин.

— Давнее, боярин, давнее, Кукуй-слободу припомни! Но забыл, поди, как там царь Петр со смертью разговаривал, а ты нас, стрельцов, сбивал антихристу-оборотню кузькину мать показывать...

— Ой! — воскликнул Каренин. — Да не Ко-

чет ли ты?

— Он самый и есть. Только Кочет-то стрельцом был, а я при светлейшем князе Александре Даниловиче Меншикове в ближних людях состою. Припоминаешь уговор старинный?

— Так, так!.. Вот уже не чаял встретиться!.. А знаешь что? Ежели ты — Кочет, так Телепня помнишь?

— Еще бы такого друга сердечного не помнить!

— Так вот я тебе и скажу, и порадую, может быть: оный Телепень со мной к вам в Питер прибыл и все тебя, своего друга, вспоминает. Ну да об этом речь потом... Скажи — человек я здесь новый, — как мне быть? Царь-то приказал явиться, да, видно, я опоздал; что и делать теперь, не знаю.

— Царь приказал, — раздумчиво проговорил Кочет, — да вот, видишь, нет его. Теперь ежели и вернется он со смотра, так не ближе, как за полдень. Все галеры, кои спущены, на Неву пойдут, а как царь этим делом займется, так скоро его и не жди. Вот как выходит! Сидеть тебе здесь в саду придется, пока царь не

вернется. А то, может быть, вот что я тебе устрою. Хочешь за ним вдогонку идти? Видишь, лодки одна за другой отчаливают? Так я, пожалуй, на какую-нибудь из них тебя пристрою...

— А как же вот она-то? — указал Каренин на свою спутницу.

— А твоя дама пусть уж здесь подождет, пусть погуляет. Сад здешний больно хорош, тени много. Вернешься ты с Невы, вот и встретитесь. Тут всяких кавалеров много, скучать она не будет.

Каренину такое предложение пришлось по сердцу, и он изъявил свое согласие. Его спутница тоже была не прочь остаться в саду, где она видела столько придворной знати.

Лодок у царской пристани было порядочно. Кочета все знали, и он в самом деле без труда устроил Каренина на одно из отплывавших суденышек, Мария Фогель осталась одна. Но это одиночество нисколько не пугало ее; напротив того — она держала себя без малейшего смущения и смело отвечала на довольно-таки откровенные взгляды такими же ответными взглядами.

## XLVIII

### Друзья детства

Однако Марии Фогель недолго пришлось побыть в одиночестве. Виллиму Монсу сразу бросилась в глаза красавица, и он смело подошел к ней.

— Я вижу, что вы, прекрасная госпожа, недавно прибыли сюда, и от души радуюсь этому. Скажите откровенно, не могу ли я быть чем-либо полезен вам? Я по себе знаю: новоприезжему тяжело быть в незнакомом городе.

Почтительно склонившись, он ожидал ответа.

— Господин Монс, — ответила по-немецки Мария Фогель, ласково улыбаясь, — вы много одолжили меня, сделав мне честь своим разговором.

— Как? — изумленно воскликнул Виллим Иванович. — Вы знаете мое имя?

— О, да. Конечно, лета весьма значительно изменили вас, но дни детства никогда не изглаживаются из памяти. И разве можно поза-

быть того, с кем за невинными детскими играми проведены многие часы в далекую пору?

Монс был не на шутку смущен.

— Ради Бога, прекрасная госпожа! — воскликнул он. — Дайте мне еще несколько намеков, чтобы я мог припомнить те дни, о которых вы сказали.

Он с поклоном предложил Марии свою руку. Та приняла ее, и они пошли по тенистой аллее.

— Охотно готова помочь вашей памяти, — заговорила Фогель. — Кукуй-слобода под Москвой, ваша милая сестра Анхен; вы — самый бойкий, веселый мальчик Вилли, и около вас почти всегда ваша маленькая подруга Марихен Фогель.

— Как? — воскликнул Монс. — Вы — та самая Марихен, милая сиротка? О, небо, какая встреча! Что я вижу? Сон наяву? Скажите же, умоляю вас: вы — Мария Фогель?

— Да, да, это — я. Судьба послала мне многие испытания, но нашелся добрый человек, который не оставил меня в дни невзгод, и вот я теперь явилась сюда в надежде, что, быть

может, царь Петр припомнит далекие дни своей юности и в память их окажет мне свое покровительство.

Разговаривая так, они вышли почти к самой Неве.

— Я все еще не могу прийти в себя! — воскликнул Виллим Иванович. — Такой день, такая встреча! Нет, как хотите, это — сон. Прошло столько лет, и мы, друзья детства, опять вместе. Жаль, что нет со мной моей мандолины: я чувствую присутствие Аполлона и готов воспеть этот блаженный миг.

— Я рада, — тихо ответила Мария, — что на первых порах встречаю друга, и надеюсь, что наше знакомство не ограничится только одной встречей... Но что там такое кричат на реке? Вы слышите?

— Ах, пусть их там! Эти русские не могут обойтись без крика, — ответил Монс, но тем не менее взглянул по тому направлению, откуда слышались крики. — Э, да там действительно что-то случилось. Кажется, опрокинулась какая-то лодка...

\* \* \*

Между тем с Невы, гонимая могучими уда-

рами весел, неслась одна из галер; на ее корме стоял сам царь. Он быстро причалил к своей пристани и большими шагами направился к своему летнему дому. Вид у него был расстроенный, ноздри раздувались, лоб был нахмурен. Как раз на полупути его встретила царица, привлеченная доносившимися с реки криками.

— Дурное предзнаменование, Катеринушка, — проговорил государь, — не суеверен я, но все-таки думается, что нам грозят какие-то напасти.

— Что, что случилось?

— Да вот какое дело вышло. Позвал к себе я гостя. Да вот во время галерного маневра опрокинулся челнок с сим наезжим, и он очутился в воде.

— Вытащили? — торопливо спросила царица, зная, что подобные несчастные происшествия во время парадов всегда производили весьма удручающее впечатление на ее супруга.

— Вытащили, — ответил царь.

— И жив?

— Жив-то жив, да плох. Года сказались. Вот

пообедаем, пойду проведать...

Однако только к вечеру удалось государю навестить Михаила Каренина.

Его устроили в домике одного из дворцовых служителей, в отдельном покойчике. Он был весьма слаб, но сознание не оставляло его. Когда государь, стибаясь в три погибели — покой был слишком низок для такого рослого человека, как он, — вошел к Каренину, тот улыбнулся. Эта улыбка несказанно удивила царя Петра. В ней было что-то особенное.

— Спасибо, Петр Алексеевич, что пришел проведать меня, — слабо, чуть слышно проговорил старик. — Вот посылает Господь по мою душу...

— Полно! — сказал Петр. — Поживем еще, не затем же ты в мой Парадиз приехал, чтобы помирать?

— Ох, не затем, угадал ты царь! Не затем я к тебе мчался, только знал я, что смерти-то мне здесь все равно не избежать, и живому мне из твоего логовища не уйти.

— Да ну? — удивленно спросил царь. — Или что-либо худое на меня помыслил?

Каренин ответил не сразу. Прошло несколько мгновений, пока он сказал:

— Выглянь-ка за дверцу, государь, не подслушивает ли кто, а потом присядь ко мне поближе, да поговорим. Хочу я тебе сказку одну рассказать.

Иронический тон голоса и какое-то особенное выражение на лице старика подсказывали царю Петру, что его ожидает необыкновенное признание. В нем было затронуто любопытство, да вместе с тем он понял, что Каренин говорит неспроста.

— Ну, вот я и сел около тебя, — сказал он. — Говори, а я слушать буду.

— Слушай-ка, — тихо заговорил Каренин. — Помнишь, у твоих отцов-царей и у дедов обычай был: ежели кто кого обидит, так выдавать обидчика обиженному головой для бесчестья. Так вот я тебе скажу. Мал я человек, а Бог-то за меня заступился и тебя, царя, ныне мне головою выдает...

Царь вскинул на него выразительный взгляд.

— А что же я тебе сделал? — спросил он. — Какую такую обиду я тебе причинил?

— Аленушку помнишь?

— Это еще какую? — наморщил лоб царь.

— Твоей Анки Монсовой любимую подругу. Помнишь, еще у немчинского попа жила, а к тому попу ты вхож был?

— Ну, помню? Что ж из того?

— А ты ее не отнял у меня? Ты меня за рубеж не отослал? Ты ее за немилого мужа не отдал... в могилу не свел? Так вот Бог-то за меня и посчитался с тобою. Велик ты и могущественен, нет предела твоей власти... Ты сечешь головы людские, и земные короли пред тобою дрожат, а вот нет для тебя на земле счастья радостного. Каждому простолюдину, каждому смерду послано от Господа Бога счастье, и радуется он в семье своей, а ты, царь великий, владыка сверх меры могущественный, где у тебя счастье-то твое? Вот ты уже и к гробу близок, а как только ты кого-либо полюбишь да душу свою каменную захочешь кому-нибудь отдать, так вместо того не радость, а горе для тебя выходит... В Анке Монсовой ты души не чаял, а что ж, разве она не посмеялась над тобою, над твоей любовью царской не издевалась с хахалями разными?

Вот ты Марью Гамильтон полюбил, а к чему любовь привела? Разве твое сердце на части не разрывалось, когда ты ее на плаху отправил? Ты вот жену себе завел. А какая она жена? Ведь и она над тобой посмеялась, первого встречного майоришку в дружки себе взяла. Вот какая твоя участь!..

— Молчи, молчи! — закричал царь.

Его глаза сверкали, грудь вздымалась, кулак уже поднялся, чтобы ударить несчастного. Каренин только засмеялся, ни малейшего испуга не было заметно на его лице.

— Не пугай, — произнес он, — теперь ты, царь, не страшен для меня; ведь уже сочтены мои минуты... я умру, прежде чем ты меня в застенки отправить успеешь, но, прежде чем умереть, скажу я тебе последнее свое слово, и будет то мое слово тебе таким ударом в твое сердце, какого еще и не бывало... Эх, ты, великий! Провидец, а под своим носом не замечаешь, что Вилька Монсов творит. Ведь он в России царствует, а не ты, антихристово порождение; ты у него на послугах. А еще думаешь: «Я-де Карла Шведского победил!» Всякий глупый немец как хочет тобой вертит, и ты

выплясываешь под любую немецкую дудку, а своим слугам головы рубишь... Эх ты, великий!..

Громкий рев, вырвавшийся из груди Петра, заглушил едва слышный лепет Каренина. Лицо царя почернело, на искривившихся губах за клубилась пена, и он, весь сведенный судорогой, упал без чувств на пол.

Сбежались люди. Каренин лежал без движения, а на грязном полу бился в страшном припадке один из могущественных людей того времени.

## XLIX

### Отмщение

Прошло несколько дней, и весь знатный Петербург был поражен совершенно неожиданною вестью.

Один из инквизиторов петровской кнутабойной троицы, Андрей Иванович Ушаков, самый свирепый и самый изобретательный из присяжных истязателей Тайной канцелярии, арестовал любимца петербургских красавиц, постоянного щеголя и придворного

стихотворца Виллима Ивановича Монса.

Это было 5 ноября 1724 года. Что именно случилось, какие вины оказались за Монсом, об этом пока еще не знали, но вскоре после этого заговорили, что и государыня царица Екатерина Алексеевна вдруг стала очень немощна и перестала выходить из своих комнат. Говорили о каком-то доносе, поданном прямо в руки государю, но о том, чтобы учинен был розыск над Виллимом Монсовым, т. е. пытке, ничего не было слышно.

Потом вдруг стали хватать по монсову делу разных людей: взяли его сестру генеральшу Матрену Ивановну Балк, ее сына, придворного щеголя Петра; заодно был схвачен и любимый царский шут Балакирев, но в чем было дело, какие обвинения были взведены на задержанных, об этом никто ничего не знал.

13 ноября 1724 года по улицам и площадям молодого Петербурга с полудня ходил странный кортеж. Взвод солдат сопровождал несколько барабанщиков, которые барабанным боем вызывали из домов жителей, и когда толпа собиралась, то вперед выходил се-

натский чиновник и читал бумагу о том, что камергер Виллим Монс и его сестра Матрена Балк брали взятки и за то арестованы; если же кто-нибудь из обывателей знает что-либо по этому поводу, то обязан под страхом тяжелого наказания за сокрытие непременно заявить о себе.

Такие же объявления к вечеру оказались развешанными почти по всем улицам Петербурга, и из этих объявлений стало известно, что на 14 ноября в Зимнем дворце назначен вышний суд для вершения монсова дела.

Итак, все было сведено только к взяточничеству, иных обвинений красавцу-камергеру не было предъявлено; но всем было известно, что при допросах неизменно присутствовал сам государь.

15 ноября вышним судом был вынесен приговор, которым Монс был приговорен к смертной казни, а его сестра Балк — к битью плетьюми и ссылке в Тобольск. Казнь была назначена на утро 16 ноября.

Долго-долго читал сенатский секретарь приговор. Монс слушал его равнодушно, и ко-

гда чтение было кончено, то с любезной улыбкой поблагодарил читавшего. Потом он принял напутствие от пастора, вынул из кармана камзола золотые часы с портретом Екатерины, поцеловал этот портрет и, передавая пастору, просил принять их в подарок на память... После этого он одним движением скинул камзол, расстегнул ворот рубашки и сам лег на плаху.

Палач был мастер своего дела: сверкнул топор — и голова Монса покатила по помосту эшафота. Через несколько минут эта голова мертвыми очами смотрела на народ с высокого шеста, на который она была воткнута. Кровь сочилась из-под нее и засыхала на шесте.

\* \* \*

А в этот же день по бурным валам Финского залива, по направлению к Дубкам (близ нынешнего Сестрорецка), неслась против ветра большая галера, и на ее корме, отдавая всего себя налетающим шквалам, стоял огромного роста человек с искаженным от тяжелого душевного страдания лицом. Это был царь Петр Алексеевич. Буря клочотала в его истер-

занной душе. Он ясно видел, что все величайшее дело, которое он совершил почти один, теперь пропадало, рушилось.

Он знал, что народ, не понимавший его, зовут царя антихристом или кикиморой. Он видел теперь, что и дело то, которому он отдавал всего себя, все свои помыслы, от которого он ждал только добра для целого своего народа, для всего своего государства, обращалось во зло, и ему невольно вспомнились слова такой же, как и он, могучей женщины, его сестры Софьи, предсказавшей ему, что из его скорспелых новшеств не выйдет ничего путного и что свой народ он поставит не во главе, а в хвосте других народов.

Петр видел, что и в личной жизни его преследовали одни только болезненные удары. Его сподвижники, которым он верил, которых любил, шли против него — ведь следственный розыск о кикинском заговоре в пользу его сына, царевича Алексея, был выучен им чуть не наизусть, а там в первых рядах заговорщиков красовались такие имена, как Апраксин, Шереметьев. И кто же оказывался в выигрыше? Только проходимцы, вро-

де Меншикова, вытащенного им из грязи, государевы воры, грабившие государство.

И при одной мысли о том, что великое царство, огромный народ покидается им, царем, на руки этих хищников, страшный, ни с чем не сравнимый ужас охватывал душу этого могучего человека.

Он уже чувствовал, что его смертный час не за горами. Внутренний огонь жег его, и в то же время невыносимый холод охватывал его сердце.

Да, смерть поджидала могучего царя: ведь он только на три месяца с днями переживет Виллима Монса, каждое напоминание о котором, как ножом, резало его сердце.

***Конец.***